А. К. Толстой

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

том 2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1969

Собрание сочинений выходит
под редакцией
И. Ямпольского.

Иллюстрации художника
И. Глазунова

Художественная проза

УПЫРЬ

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верно, кого-нибудь ищете,— сказал он,— а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

— Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу *упырей!*

— Упырей? — повторил Руневский,— как упырей?

— Упырей,— отвечал очень хладнокровно незнакомец.— Вы их, бог знает почему, называете *вампирами*, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: *упырь*; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира. Вампир, вампир!* — повторил он с презрением,— это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения — *фантом* или *ревенант!*

— Но однако,— спросил Руневский,— каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

— Знаете ли вы эту старуху? — спросил он Руневского.

— Это бригадирша Сугробина,— отвечал тот.— Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

— Вы сомневаетесь? — продолжал тот.— Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

— И это упырь? — спросил Руневский.

— Без сомнения,— отвечал незнакомец.— Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

— С донником, мой батюшка? — спросила она.

— С донником, сударыня,— отвечал сладким голосом Теляев.

— Слышите? — сказал незнакомец Руневскому.— Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

— Скажите мне,— спросил Руневский,— каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

— Это совсем не мудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его vis-à-vis [1]. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на место его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она

[1] Сидящий или стоящий напротив *(франц.)*.— *Ред.*

смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противуположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского,— но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

— Вы много смеялись с моей кузиной,— сказала она ему.— Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

— Мы мало говорили о присутствующих,— отвечал Руневский.— Разговор наш более касался Французского театра.

— Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки; это в полном

смысле слова — бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся?

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадриль.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру,— говорила она Руневскому.— Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

— Смотри ж, мой батюшка,— сказала ему ласково старуха,— к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и всё почти новички, а ихних-то тьма-тьмущая.

Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дискать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатию Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дискать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцева.

— Вот приехал бы ты ко мне на дачу,— сказала она ему под конец,— я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович,— прибавила она, указывая на Теляева,— меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

— Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна,— сказал он сладким голосом бригадирше,— и даже... если бы... в случае... то есть...— Тут Семен Семено-

вич щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие краи! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку.— Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатья Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать об ней невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени

она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностию, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю,— говорила она,— что они меня не любят и что я им в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как и при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, и только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда приедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

Чрез несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

— Мне самой стыдно за сестрицу,— сказала она,— но это такой ребенок, что малейшая безделица может привесть ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастию, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что́ она об нем думает.

Таким образом, Софья Карповна, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении.

— Вам, вероятно, показалось странным,— сказала ему на другой день Даша,— что я от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж девять лет, как она скончалась; я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда

была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

— Вскоре потом,— продолжала она,— маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменилось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

— Позвольте мне быть вашим другом,— вскричал он,— положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

— Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности.

— Даша, любезная Даша! — вскричал Руневский,— еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

— Можете ли вы в этом сомневаться? — отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов?

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор италиянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

— Спасибо тебе, мой батюшка,— сказала она,— что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да вы-

пей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

— Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю; этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

— Покорно благодарю,— отвечал Руневский,— я табаку не нюхаю

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины италиянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентинского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты,— все это, вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

— Давайте гадать,— сказала Даша.— Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть

наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

— Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

— *Пусть бабушка внучкину высосет кровь.*

— Ах, боже мой! — вскричали девушки, смеясь,— что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

Как филин поймал летучую мышь,
  Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
  К соседу сбирается в гости.
Хоть много цепей и замков у ворот,
Ворота хозяйка гостям отопрет.

«Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик?
  Зачем ты так побледнела?
Под замком кипит и клубится Дунай,
  Ночь скроет кровавое дело.
Не бойся, из гроба мертвец не встает,
Что будет, то будет,— веди нас вперед!»

Под замком бежит и клубится Дунай,
  Бегут облака полосою;
Уж кончено дело, зарезан старик,
  Амвросий пирует с толпою.
В кровавые воды глядится луна,
С Амвросьем пирует злодейка-жена.

Под замком бежит и клубится Дунай,
  Над замком пламя пожара.
Амвросий своим удальцам говорит:
  «Всех резать от мала до стара!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей!
Сама ж ты впустила веселых гостей!»

Сверкая, клубясь, отражает Дунай
Весь замок, пожаром объятый;
Амвросий своим удальцам говорит:
«Пора уж домой нам, ребята!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»

Над Марфой проклятие мужа гремит,
Он проклял ее, умирая:
«Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род,
Сто раз я тебя проклинаю!
Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,
Пусть бабушка внучкину высосет кровь!

И род твой проклятье мое да гнетет,
И места ему да не станет
Доколь, пока замуж портрет не пойдет,
Невеста из гроба не встанет,
И, череп разбивши, не ляжет в крови
Последняя жертва преступной любви!»

Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу нахлынули в гости.
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил:

— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

— Бабушка,— отвечала Даша,— я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкап, и она упала с самого верху.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

— Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазия!..

— То-то, фантазия! — проворчала старуха.— В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! — продолжала она с недовольным видом.— Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию — всё поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что соответственность читанных им стихов с словами г. Рыбаренки не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слыхали другие. Его мучила неизвестность; он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от нее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом посматривая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

— В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса.

— Разумеется, в зеленых! — отвечала Клеопатра Платоновна.— Разве ты забыл, что в других нет места?

— Да, да,— проворчал лакей,— в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый но-

чью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.

Вообще когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.

— Впрочем, мне все равно,— продолжал лакей,— в зеленых так в зеленых!

— Ну, ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж.

Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

— А что это за комнаты? — спросил Руневский.

— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна,— сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху,— дай господь ей царство небесное...

— После, после расскажешь! — сказал Руневский,— прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непремен-

но принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

— Чей это портрет? — спросил он лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

— Прасковья Андреевна,— отвечал тот,— была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним! Он-то, изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь, их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень распо-

ложен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

— Вот тут,— говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана,— есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынесть из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

— Чувствительнейше благодарим,— отвечал лакей,— желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце.

«Вот,— подумал он,— картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости!» Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его внезапно пробудил. Он от-

крыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

— Вы ли это? — вскричал Руневский,— об эту пору, в этом наряде!

— Мой друг,— отвечала она,— если я вам мешаю, я уйду прочь.

— Останьтесь, останьтесь! — возразил он.— Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.

— Ах,— сказала она,— мне немного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустилась на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

— Где жарко? откуда вы пришли? — спросил Руневский.

— Не спрашивайте меня,— отвечала она, вздрогнув при его вопросе,— не говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу,— прибавила она с улыбкой.— Вы долго здесь пробудете?

— Как можно дольше!

— И всегда будете здесь ночевать?

— Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Для того чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

— Это не мудрено, я только сегодня приехал.

— Руневский,— сказала она, помолчав,— окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

— Боже мой! — воскликнул Руневский,— чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

— Ради бога,— закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания,— ради бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

— Даша, Даша! — закричал он в исступлении,— что это значит?

— Я не Даша,— отвечало насмешливым голосом привидение,— отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок; но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.

— Чего изволите, сударь? — спросил он.

— Я тебя не звал.

— Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренно сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им— один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют cauchemar. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностию.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

— Что с тобой случилось? — спросил Руневский.

— Воля ваша,— отвечал он,— я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

— Да говори же, что в твоей комнате?

— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

— Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась, да, к счастию, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

— Александр Андреевич,— сказал он дрожащим голосом,— здесь что-то не хорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

— Мы было поговорили с Яковом Антипычем да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорят: ваш барин звонит! Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору; теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука ее была костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять

за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

— Позвольте мне ночевать поближе к вам,— сказал лакей,— оно все-таки лучше; да и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила:

— И не мудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского. так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы

его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

— А что касается до Даши,— прибавила она,— то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учители-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатья Савельича по воле отцовской вышла, а уж полюбила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь — хорошо! не ворочусь — так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит

к Дашиной тетушке. Между тем сон его убегал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги, или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьею, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.

— У нас, видно, одни вкусы,—сказал он, улыбаясь.— Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание.

— Признайтесь,— сказал он,— что, когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего?

— Не могу скрыть от вас,— отвечал Руневский,—что вы мне показались очень странными. Ваши слова, ваши замечания...

— Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

— Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

— На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко.— Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

— Она теперь у нее, я видел ее недавно.

— Как, и она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слыхал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

— Странно,— сказал он наконец,— упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?

— Там.

— Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

— Воля ваша,— отвечал Руневский,— я никак не могу думать, чтоб вы говорили сериозно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

— Как,— возразил Рыбаренко,— вы в них ничего не приметили необыкновенного? Вы не слыхали, как Семен Семенович щелкает?

— Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом ме-

сте. К тому ж характер и приемы бригадирши, столь противуположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы заметили архитектуру ее дома? — сказал он — Прекрасный фасад! совершенно в италиянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте,— продолжал он, схватив руку Руневского,— будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

— Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием *чертова дома* (la casa del diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья borgo Vico, где была

моя квартира, в albergo[1] del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность *чертова дома?*

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

— Могу вас уверить, синьор,— сказал он, обращаясь ко мне,— что вы напрасно так беспокоитесь и что *чертов дом* нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

— Помилуйте,— возразил я,— зачем бы хозяину кле-

---

[1] Постоялый двор, гостиница (*итал.*) — *Ред.*

пать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?

— На это есть более причин, чем вы думаете,— отвечал аббат.

— Как,— спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна,— неужели он делает фальшивую монету?

— Нет,— возразил аббат,— дон Пьетро — большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.

— Кто такой Титта Каннелли? — спросил я.

— Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

— Скажите же, ради бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про *чертов дом?*

— Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину *чертова дома* с лишком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил,— продолжал аббат,— что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что

синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что не много сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах; но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, il cattivo.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с кабалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от villa d'Este. В одно утро приор монастыря св. Себастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему

сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постеле и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро, вскоре по возвращении своем из России, пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину al fresco [1], которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте; ее опять закрасили; но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники не долго останавливались под окнами.

— Вы видите, синьор,— продолжал аббат,— что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому, на берегу озера, недалеко от villa d'Este, по ту сторону Capriccio, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

— Скажите мне,— спросил я,— что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

— Не знаю,— отвечал аббат.— Но если это вас интересует,— прибавил он с улыбкой,— то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

---

[1] Фреску *(итал.)*.— *Ред.*

Этого-то мне и хотелось.

— Но как туда войти? — спросил я.— Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

— Правда,— сказал он наконец.— Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущей вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo[1], которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце.

— Вот вилла дон Пьетро,— сказал аббат,— вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбудившую мое любопытство.

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других италиянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько *цванцигеров*.

Вечером было собрание в villa Sallazar. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или италиянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

---

[1] Дворцом *(итал.).— Ред.*

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальною, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

— Позвольте, господа,— сказал я,— если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков; но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой италиянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был, по окончании лечения, ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком — я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что

мне нравилась противуположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодною прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастие послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смерклось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах!

— Подождем,— сказал Антонио,— теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною; она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: «O dio! poverino! maladetta strada!» [1] — омыла ему лицо.

— Это дурной знак! — сказал, улыбаясь, Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

---

[1] О боже! бедняжка! проклятая дорога! (*итал.*).— *Ред.*

— Да,— отвечал я,— не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

— О нет, нет! — возразил он,— это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русских!

Мы пошли далее. Минут через десять нас догнала та самая девушка, которая из villa Remondi вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила вполголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез.

— Что она тебе сказала? — спросил его Владимир, когда девушка удалилась.

— Бедная Пепина,— отвечал Антонио,— просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома.

— А кто ее брат? — спросил я.

— Какой-то контрабандист, по имени Титта.

— А как фамилия этой девушки?

— Каннелли. Но что тебе до этого?

— Титта Каннелли! — воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины, и я бы непременно воротился, если б мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слыхал о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампады. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Urgina.

Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной

зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебели обтянуты шелковою тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев; в одном из них увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные, непонятные знаки.

— Это должна быть спальня старого дон Пьетро,— сказал Антонио, приблизив свечу к стене.— Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

— Как она похожа на Пепину,— сказал Владимир,— я бы это принял за ее портрет!

— Да,— отвечал Антонио,— черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать; знаешь ли что, мне, при взгляде на нее, делается страшно!

Я ничего не говорил, но вполне разделял чувство Антонио.

Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелины представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова «Orlando». Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов.

Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и когда я нечаянно поднял голову, то мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фантастические формы их отде-

ляются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.

— Я думаю, мы теперь можем лечь спать,— сказал Владимир,— но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ляжем в трех разных комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжение ночи.

Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

— Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

— Нисколько,— отвечал Руневский,— вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

— Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать, под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

— Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

— Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

— Что с тобой! — сказал я, засмеявшись,— с которых пор ты веришь предчувствиям?

— Обними меня! — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

— Поди, поди, Владимир,— сказал я, скрывая свое удивление,— дай бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется; но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения; но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину-фреск, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другою трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пепину.

— Пощадите меня, синьор,— кричала бедная девушка,— я ничего не хотела у вас украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет?

— Ах,— отвечала Пепина,— после того как я догнала синьора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, верно, слыхали. Я из любопытства вошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сер-

дитесь на меня; любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг синьора Антонио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам клянусь всем, что дорого моему сердцу, он давно хочет сделаться честным человеком; но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда! О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаяньем, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

— С кем ты там, Пепина? —сказал кто-то, отворяя дверь.

— Ах, это мой брат! — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, вглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

— А, это вы, signor Russo! [1] — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать.— Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

— Я вас нарочно,— сказал он,— зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим целый ящик колец, оже-

[1] Синьор русский *(итал.)*.— *Ред.*

релий, серег и браслет. За всё я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов.— Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими каменьями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пепинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

— Благодарю вас,— сказал он,— вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что, если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пепина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещицами нашел я одну склянку *рококо*, величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пепину и женщину-фреск, и часто, среди самых приятных картин моего воображения, я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Ког-

да я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

— Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера прекраснейшая из богинь? Парис человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьею в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне!

Я употреблял все силы, чтобы привесть его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

— Как,— вскричал он радостно, увидев Антонио,— он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио; но раны нигде не было видно.

— Вот видишь,— сказал Антонио,— я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

— Слава богу, я его не убил, это был только дурной сон!

— Друзья мои,— говорил я,— ради бога, объяснитесь, я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

— Вошедши в свою комнату,— сказал Владимир,— я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baradello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озе-

ро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, вглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру.

«Кто там?» — закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и, как будто на невидимых колесах, приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир! что ты делаешь? я Антонио!» Я бросился его подымать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

«Владимир,— сказал он слабым голосом,— я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!»

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонио в его комнату.

— Что ты говоришь? — прервал я Владимира,— я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постеле и ничего не знаю про Антонио. К тому ж ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне!

— Ты сам говоришь во сне! — отвечал с досадою Владимир,— никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонио встал со стула и к нам подошел.

— О чем вы спорите? — сказал он.— Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал стращать Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рас-

судил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и повертывал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонио; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию».

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля,— сказал он,— имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке».— «А как же мне ехать?» — спросил я. «Не иначе, как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам и наконец прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!» — сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладо́ном. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел

аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» — спросил я у грифона. «Это бог Пан»,— отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?» — спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым».— «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» — «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается».— «А для чего у него за поясом пистолеты?» — «Ох,— отвечал с досадою грифон,— вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем!» Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?»—спросил я у грифона. Грифон очевидно смешался. «Это так, кто-нибудь! — отвечал он, поправляя носом свои перья,— не обращайте на него внимания!» Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дуррак, дуррак! ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы.

«Парис! — сказал ему Юпитер или дон Пьетро д'Урджина (как называл его грифон),— Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами!» — «О могущий громовержец! — отвечал Парис,— клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвесть следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами!» — «Хорошо! — сказал Юпитер,— быть по-твоему!»

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его средины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: «О Сиринга! о дочь моя!»

Я совсем забылся, но грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил

намерение. Венера, сложив небрежно руки и приклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пепина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пепина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь!» — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком: «Да здра-

вствует наш император, великий Антонио-Фу-Цинг-Танг!» — бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень сериозно:

— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку *рококо*. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

— Это ты купил у твоего контрабандиста? — спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

— Ах, боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидел, что смотрю из окна *чертова дома*.

— Как мы сюда попали? — спросил я, обращаясь к Антонио.

Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз по-

целовался; но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

— Господа! — кричал он снаружи,— отворите ворота; вы арестованы от имени правительства!

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы?

— За то,— отвечал он,— что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивший мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту (известного археолога R.....i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привесть аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой in folio [1] и прочитал следующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Giorambatista Cannelli, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник».

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважение и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открыл мне, что *чертов дом* построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвя-

[1] Книга большого формата — в лист, согнутый пополам (*лат.*).— *Ред.*

щенный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с тартаром. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими *упырями*, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

— Что ж,— спросил его Руневский,— и вы не делали никаких розысканий о вашем приключении?

— Делал,— отвечал Рыбаренко.— Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

— И что ж вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondi на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondi и виллою d'Este, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Чрез месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я и теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого воспоминания! Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой

рассудок, и бывают минуты, что я готов лишить себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради бога, берегитесь, любезный друг, а особливо не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полнозвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику.

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовию смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

— Пойдем,— сказал он наконец Руневскому,— вам нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой.

Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большою приветливостию. Но обхождение матери тотчас с ним переменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал.

— Как,— вскричала она,— что это значит? а Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы

над нею смеяться? Позвольте вам сказать: после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведенье это мне кажется чрезвычайно странным! Как, милостивый государь? обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь на другой и просите ее руки — у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти как гром поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила как на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику. Пока еще она питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества, она старалась отгадывать и предупреждать все его желания; но теперь, при неожиданном требовании, она решилась прибегнуть к последнему средству и чрез трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастию своему, она ошиблась в расчете, ибо Руневский весьма почтительно и холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика.

— Боже мой, боже мой,— кричала она,— что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара, лучше тысячу раз умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!

— Вот в какое положение вы привели бедную Софью,— сказала ему Зорина.— Но это не может так остаться!

Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жалко.

Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как попытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удовлетворительный ответ.

Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить.

Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны; но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видал и не имел об нем никакого понятия.

— Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих,— сказал Зорин, учтиво поклонившись.

— Прошу садиться,— сказал Руневский.

— Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрою, начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи,— прервал его Руневский,— но могу вас уверить, что не я был тому причиной.

— Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположения. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились...

— Никогда! — воскликнул Руневский.

Глаза молодого Зорина засверкали от негодования.

— Послушайте, милостивый государь,—вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться,— вам, верно, неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне об вас писала; от нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма!

— Если Софья Карповна в них это говорит,— отвечал Руневский, не дотрогиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол,—то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю!

— Итак, вы не намерены на ней жениться?

— Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы.

— Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству.

— Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокров-

ном размышлении, вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству.

Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского.

— Завтра в пять часов я вас ожидаю на Владимирской дороге, на двадцатой версте от Москвы,— сказал он сухо.

Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него мало было знакомых в Москве; к тому ж почти все были на дачах; итак, не удивительно, что выбор его пал на Рыбаренку.

На другой день, в три часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом.

Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку.

— Владимир,— сказал он, сжав ее крепко,— ты не прав в этом деле: помирись с Руневским!

Зорин отвернулся.

— Владимир,— продолжал Рыбаренко,— не шути с судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братец,— сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки,— теперь не время говорить о пустяках!

Они углубились в кустарник.

Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил беспрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым; но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился.

— Друзья мои,— сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому,— помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что один из вас не воротится домой!

Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке.

— Позвольте объяснить,—сказал он, уставив на него большие красные глаза,— здесь оскорбление нестерпимое-с... примирение невозможно-с... здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с... я до прими-

рения не допущу-с... а если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!

Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков.

Фрышкин не переставал горячиться; он был красен как рак.

— Да,— кричал он,— я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!

Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленною грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; он был лишен чувств.

— Это твое видение в вилле Урджина! — сказал Рыбаренко на ухо Владимиру.— Ты убил друга.

Руневского перенесли в коляску, и так как дом бригадирши был самый ближний и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки.

Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин.

Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарство.

Таким образом прошло несколько дней, в продолжение коих он никого не видал, кроме доктора и Якова.

С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне; но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны.

— Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна,— говорила Клеопатра Платоновна,— подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя,— отвечала Сугробина.— Да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла?

— Вы не хотите? — вскричала Клеопатра Платоновна,— вы не хотите один раз отказаться от...

— Рыцарь Амвросий! — закричала Сугробина.

Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре.

Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном.

— Чего тебе надобно, Марфа? — спросил он грубым голосом.

— Пора, мой батюшка! — прошептала старуха.

Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета, с вышитою на груди большою черною летучею мышью. На латах Теляева изо-

бражен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске, при виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле дон Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел.

— Ты уж здесь? — сказала, дрожа, бригадирша.

— Пора! — отвечал незнакомец.

— Подожди хоть один день, подожди хоть до утра! Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель!

Старуха упала на колени; лицо ее стало страшным образом кривляться.

— Не хочу ждать! — отвечал незнакомец.

— Еще хоть часочек! — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты! — отвечал тот.— Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма!

Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, с связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал; в ушах его страшно шумело; он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом.

— Хотите жениться на моем портрете? — сказало оно.— Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишенный чувств.

Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаянье блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши; и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое исступление, что Яков боялся к нему подойти.

Однажды, страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаяньем, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице,— говорил Рыбаренко,— я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но лестнице не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, как сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться»,— говорил Руневский; но Рыбаренко дал ему заметить, что, по мере того как они подвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться,— говорил он,— надобно идти далее!» И они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большою медною дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю; один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы; но Теляева не было с нею; вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох!—вздыхала она,— скучно стало с этой чучелой! Когда-то к нам будет Семен Семенович!» — и длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было; он находился один посре-

ди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский,— сказала она,— зачем вы сюда пришли? Если *они* узнают, кто вы, то вам будет беда!» Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. «Следуйте за мной,— продолжала Даша,— я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте,— сказала она,— я вам покажу наш оркестр!» Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты!» Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завыли: «К нам! ступай к нам!» — «Прочь, прочь!» — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где он? где он? — блеяли голоса,— ловите его, ловите его!» — «За мной, за мной!» — кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены!» — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся.

Возле его постели стояли Даша и Владимир.

— Я рад,— сказал Владимир, пожав ему руку,— что вы проснулись; вас тяготил неприятный сон, но мы боялись вас разбудить, чтоб вы не испугались. Доктор говорит, что ваша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не простил, если б вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный друг! — сказала Даша, улыбаясь,— не сердись на Владимира; он предобрый человек, только немножко вспыльчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься!

Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним, он слышал ее голос, и в первый раз она ему говорила *ты*. С тех пор как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал:

— С тех пор как вы лежите в постеле, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск; старая бригадирша... но я вам слишком много рассказываю; когда вам будет лучше, вы всё узнаете!

— Нет, нет,— сказала Даша,— ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надобно знать все. Бабушка,— продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому,— уже два месяца, как скончалась!

— Сама Даша,— прибавил Владимир,— была опасно больна и поправилась только после смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорей выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное,— сказала она,— мы и забыли ему сказать: тетушка согласна на наш брак и меня благословляет!

Услыша эти слова, Руневский схватил Дашину руку, покрыл ее поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались?

— Я бы не думал,— отвечал, смеясь, Владимир,— что вы можете в этом сомневаться.

— Но за что ж мы дрались? — спросил Руневский.

— Признаюсь вам, я и сам не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фрышкину, как вы над ним смеялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали в постеле с простреленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочем, бог с нею! Желаю, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела!

— Как тебе не стыдно, Владимир,— сказала Даша,— ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра! — прервал ее Владимир,— хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастною тебя, которую люблю, уж верно, больше Софьи.

Еще месяца три протекли после этого утра. Руневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша, в красивом утреннем платье и в чепчике, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны.

— До какой степени,— сказал он,— воображение может овладеть человеческим рассудком! Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом.

— История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного,— сказал Владимир.— Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть!

Клеопатра Платоновна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного.

— Если бы,— сказала она,— смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женитьба Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения.

Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце пятнадцатого столетия под именем Ostroviczy. Герб ее был: черная летучая мышь в красном поле. Говорят,

что бароны Ostroviczy хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались Tellara и, чтоб показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Tellara от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина.

Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою, и война эта долго бы не кончилась, если б измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Ostroviczy, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскою славой Амвросия Tellara, прозванного *Амвросием с широким мечом.* В одну ночь она впустила его в замок и с его помощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Ostroviczy в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Ostroviczy, которая находится здесь в библиотеке.

Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу; но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственною смертью, другие сошли с ума, а наконец, тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите пред собою портрет, будучи невестою ломбардского дворянина Пьетро д'Урджина...

— Пьетро д'Урджина? — прервали Клеопатру Платоновну в один голос Руневский и Владимир.

— Да,— отвечала она,— жених Прасковьи Андреевны назывался дон Пьетро д'Урджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Он был человек уже не молодой и к тому ж вдовец; но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет двадцати. Прасковья Андреевна была молодая девушка, и учтивые приемы ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась. Мать ее не имела

той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, может быть, лишь для того так часто обнаруживала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное происхождение. Она желала выдать дочь за дон Пьетро, ибо он был богат, приехал с большою свитой и жил как владетельный князь. К тому же он обещался навсегда поселиться в России и уступить ломбардские свои имения сыну, находившемуся тогда в городе Комо.

Дон Пьетро привез с собою множество отличных художников. Архитекторы его выстроили этот дом, живописцы и ваятели украсили его с истинно италиянским вкусом. Но, несмотря на необыкновенную роскошь дон Пьетро, многие замечали в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он проигрывал в карты, лицо его видимо изменялось, он бледнел и дрожал; когда же он был в выигрыше, жадная улыбка показывалась на его устах и он с судорожным движением пальцев загребал добытое золото. Низкий его нрав, казалось, должен был переменить к нему расположение Прасковьи Андреевны и ее матери, но он так хорошо умел притворяться перед ними обеими, что ни та, ни другая ничего не приметили, и день свадьбы был торжественно объявлен.

Накануне он дал в своей новой даче блистательный ужин, и никогда его любезность не показывалась с таким блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его занимал все собрание, и все были в самом веселом расположении духа, как хозяину дома подали письмо с иностранным клеймом. Прочитав содержание, он поспешно встал из-за стола и извинился перед обществом, говоря, что неожиданные дела непременно требуют его присутствия. В ту же ночь он уехал, и никто не знал, куда он скрылся.

Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной уловке, чтобы отделаться от брака с ее дочерью, тем более что дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить Прасковью Андреев-

ну о причине и назначении неожиданного своего путешествия.

Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и так похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила из Комо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Письмо было от сына умершего. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день, когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в Комо, он, родственник, сбираясь влезть на Везувий, видел в корчме местечка Torre del Greco двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой: человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера и что на другой день праздник св. Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки? и ему отвечали, что один из них дон Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия, и из странности никогда не снимающий с себя маски. Встреча эта, заключал родственник, ясно доказывает, что дон Пьетро не умер, а только отлучился на время из Комо в Неаполь.

К несчастию, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении дон Пьетро, и божились, что сами видели, как гроб его опущен был в землю. Итак, не осталось сомнения в участи жениха Прасковьи Андреевны.

Сын дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила Березовую Рощу за бесценок.

Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было — припоминать малейшие подробности своего знакомства с дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса.

В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она себя отравила, и, со всем почтением к памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы.

— Но,— сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны,— можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?

— Ах,— отвечала Клеопатра Платоновна,— в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава всевышнему, теперь желание ее исполнилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое дон Пьетро подарил своей невесте; а разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна! — сказал Руневский после некоторого молчания,— вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Ostroviczy, от которой, как вы

говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семен Семенович Теляев. Мне самому стыдно,— продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением,— мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности.

— Что ж вы видели? — спросила Клеопатра Платоновна с беспокойством.

— Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал дон Пьетро д'Урджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывал Рыбаренко.

— Рыбаренко! — вскричал, смеясь, Владимир,— твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в Комо, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову.

— Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в *чертовом доме?*

— Так точно, и все трое мы видели бог знает что во сне, с тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему, надобно отдать справедливость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде нежели пошли в *чертов дом,* он бы мне дорого заплатил за эту шутку.

— Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш.

— Оттого что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо

у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте.

— Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости?

— Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнию.

— А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник?

— Не прогневайся, любезный Руневский,— но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в Комо со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и, сверх того, уверил себя в ее истине.

Руневский не довольствовался этим истолкованием.

— Отчего же,— сказал он,— история этого дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историею Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается.

Владимир пожал плечами.

— Все, что я тут вижу,— сказал он,— заключается в том, что дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда.

— Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино, Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обманывать?

— На это я тебе скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человек, вовсе между собою не согласившись. Это все равно, что плащ, карета, дерево или дом — предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино; но обстоятельства, в которых оно является у каждого из них, ничего не имеют между собою схожего. Что ж касается до твоего собствен-

ного видения, то воображение твое просто воссоздало лицо, уже знакомое тебе по рассказам Рыбаренки.

— Но я ничего не знал ни о фамилии Ostroviczy, ни о фамилии Tellara, а между тем ясно видел на Сугробиной красное платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина.

— А пророчество? — сказала Даша.— Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Амвросии, о филине и о летучей мыши. Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с филином или с рыцарем Амвросием!

— Эту балладу,— прибавила Клеопатра Платоновна,— извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись.

— И после этого вы полагаете,— продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше,— что она была не упырь?

— Как не упырь?

— Что она не вампир?

— Что ты, помилуй! — отчего бабушке быть вампиром?

— И Теляев не упырь?

— Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами?

— Отчего ж он щелкает?

Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и наконец Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему ни казалось некстати, сам не мог удержаться от смеха. Одна Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальною.

Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если б не вошел Яков и не произнес громогласно: «Семен Семенович Теляев!»

— Просить, просить! — сказала радостно Даша.— Упырь! — повторяла она, помирая со смеху,— Семен Семенович упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!

В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза.

— Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтение, Александр Андреевич! — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руневскому.— Душевно сожалею, что не мог ранее поздравить молодых супругов, но отлучка... семейные обстоятельства...

Он начал неприятным образом щелкать, всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая:

— С донником... настоящий русский... покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли...

— Посмотри,— шепнула Даша Руневскому,— вот откуда ты взял, что он рыцарь Амвросий!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневский увидел, что на ее крышке изображен ушастый филин.

Приметив, что он смотрит на это изображение, Семен Семенович странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая головою:

— Гм! Это так-с, фантазия... аллегория... говорят, что филин означает мудрость...

Он опустился в кресла и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой:

— Много нового-с! Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто известный вам бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор Рыбаренко...

— Как, Рыбаренко бросился с колокольни?

— Как изволите говорить... вчера в пять часов...

— И убился до смерти?

— Как изволите говорить...

— Но что его к этому побудило?

— Не могу доложить... причины неизвестны... Но смею сказать, что напрасно... коллежский асессор!.. далеко ли до коллежского советника... там статский советник... действительный...

Семен Семенович впал в щелканье, и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слыхал.

— Бедный, бедный Рыбаренко! — сказал он, когда ушел Теляев.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

— Итак,— сказала она,— пророчество исполнилось вполне. Проклятие не будет более тяготить этот род!

— Что вы говорите? — спросили Руневский и Владимир.

— Рыбаренко,— отвечала она,— был незаконнорожденный сын бригадирши!

— Рыбаренко? сын бригадирши?

— Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка; оно в самом деле существовало в фамилии Ostroviczy.

Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления.

— О чем ты думаешь, мой друг? — сказала наконец Даша, прерывая общее молчание.

— Я думаю о Рыбаренке,— отвечал Руневский,— и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред!

Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этот шрам? — спросил он.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью. Это маленькое приключение было причиною, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да,— сказал он,— теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили

каменную доску... такую ж доску, какая была у дон Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами.

— Но нет,— сказал он,— я ошибаюсь, не будем более об этом говорить! Я уверен, что это был бред!

Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы с своих бледных ланит.

— Ну, что ж мы все четверо повесили головы? — сказал Владимир.— Жаль бедного Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю: не правда ли, Теляев славный упырь?

Никто не засмеялся, а Руневский дернул за снурок колокольчик и сказал вошедшему Якову:

— Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-с! — отвечал Яков.

С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.

<1841>

СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА

Неизданный отрывок из записок неизвестного

В 1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот — Конгресс окончился.

Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно водвориться в своих замках, русские воины — вернуться к покинутым очагам, а несколько недовольных поляков — искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости, уготованной для них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом Нессельроде.

Как это бывает к концу шумного бала, от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые, все не утратив вкуса к развлечениям и очарованные прелестью австрийских дам, еще не торопились домой и откладывали свой отъезд.

Это веселое общество, к которому принадлежал и я, собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини Шварценберг в нескольких милях от города за местечком Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в гостях.

Утро у нас бывало занято прогулкой; обедали мы все вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестно-

стях, а вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории. Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях.

Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать и мы находились в том несколько возбужденном состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз д'Юрфе, старик эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту особую остроту, которую он придавал рассказам о былых своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия и сказал:

— Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно — подлинности, ибо — насколько я уловил — никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность.

Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал:

— Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастию, я был и свидетелем и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною — если только дамы ничего не будут иметь против.

Слушать захотели все. Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету, но тут же кружок наш сомкнулся теснее и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин д'Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал:

— Прежде всего, милостивые государыни, попрошу у вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне о них нельзя не упоминать. К тому же старости

простительно забываться, и право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, я чуть ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак, начну прямо с того, что в тысяча семьсот пятьдесят девятом году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и глубокой и долговечной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью, а герцогиня, как это часто нравится хорошеньким женщинам, еще усиливала это терзание своим кокетством. И вот, в минуту крайнего отчаяния, я в конце концов решил просить о дипломатическом поручении к господарю молдавскому, ведшему тогда переговоры с версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же скучно, сколь и бесполезно, и назначение я получил. Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала:

— Д'Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном — возьмите вот этот крестик как залог моей дружбы и носите его, пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы очень дорожим.

С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался.

Не стану утомлять вас, милостивые государыни, ни подробностями моего путешествия, ни моими впечатлениями от венгерцев и от сербов — этого бедного и непросвещенного, но мужественного и честного народа, который, даже и под турецким ярмом, не забыл ни о своем достоинстве, ни о былой независимости. Скажу вам только, что, научившись немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются — и это вам, наверно, известно — не чем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским.

Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в состоянии объясниться, когда мне однажды случилось

попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, у которого я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье,— день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью, забавляясь пляской, стрельбой из пищали, борьбой и т. п. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться, но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет тридцати, роста высокого и вида внушительного.

— Входи,— сказал он,— входи, чужеземец, и пусть не пугает тебя наша печаль; ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину.

И он мне рассказал, что старик отец его, по имени Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пищаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого — Петром:

— Дети,— молвил он им,— я иду в горы, хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека (так звали разбойника-турка, разорявшего последнее время весь тот край). Ждите меня десять дней, а коли на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души — значит, убили меня. Но ежели,— прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий,— ежели (да не попустит этого бог) я вернусь поздней, ради вашего спасения, не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам — забудьте, что я вам был отец, и вбейте мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни делал,— значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь.

Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыни, что *вурдалаки*, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более опасными. *Вурдалаки*, милостивые государыни, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами, так что со слов

очевидцев даже говорят, будто в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в *вурдалаков*. В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры. Императоры германские не раз назначали комиссии для расследования случаев вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью.

После всего этого вам легко будет вообразить себе, какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он позволил им отправиться вместо него, но тот, ничего не ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь, повторяя припев старинной песни. День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный Горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей.

То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его Петра, красивого восемнадцатилетнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила младшая сестра, Зденка, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во всех отношениях бесспорной, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное — была у нее та особенная складочка над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз, как она с неодолимой силой привлекала вас к себе.

То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки, но стоило мне две минуты погово-

рить с нею — и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться в той деревне.

Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и молоко в кринках. Зденка пряла; ее невестка готовила ужин для детей, игравших тут же в песке; Петр с наигранной беззаботностью что-то насвистывал, занятый чисткой *ятагана* — длинного турецкого ножа; Георгий, облокотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и все время молчал.

Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом.

Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворной иконой богоматери, которую, по преданию, принесли ангелы и оставили ее на ветвях дуба. Но в начале минувшего века в те края вторглись турки, они перерезали монахов и разорили монастырь. Оставались только стены и часовня, где службу совершал некий отшельник. Он водил посетителей по развалинам и давал приют богомольцам, которые по пути от одной святыни к другой охотно останавливались в монастыре «божьей матери дубравной». Все это, как я уже упомянул, мне стало известно лишь впоследствии, а в тот вечер занимала меня уж никак не археология Сербии. Как это нередко бывает, если только дашь волю своему воображению, я стал вспоминать прошлое, светлые дни детства, мою прекрасную Францию, которую я покинул ради далекой и дикой страны. Я думал о герцогине де Грамон и — не буду этого скрывать — думал также о некоторых современницах ваших бабушек, чьи образы невольно проскользнули в мое сердце вслед за образом прелестной герцогини.

Вскоре я позабыл и о моих хозяевах, и о предмете их тревоги.

Георгий вдруг нарушил молчание:

— Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?

— В восемь часов,— ответила жена,— я слышала, как в монастыре ударили в колокол.

— Хорошо,— проговорил Георгий,— сейчас половина восьмого, не позднее.

И он замолчал, опять устремив глаза на большую дорогу, которая исчезала в лесу.

Я забыл вам сказать, милостивые государыни, что когда сербы подозревают в ком-нибудь вампира, то избегают называть его по имени или упоминать о нем прямо, ибо думают, что так его можно вызвать из могилы. Вот почему Георгий, когда говорил об отце, уже некоторое время называл его не иначе, как «старик».

Молчание продолжалось еще несколько минут. Вдруг один из мальчиков, дернув Зденку за передник, спросил:

— Тетя, а когда дедушка придет домой?

В ответ на столь неуместный вопрос Георгий дал ребенку пощечину.

Мальчик заплакал, а его младший брат, и удивленный и испуганный, спросил:

— А почему нам нельзя говорить о дедушке?

Новая пощечина — и он тоже примолк. Оба мальчика заревели, а взрослые перекрестились.

Но вот часы в монастыре медленно пробили восемь. Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую фигуру, появившуюся из лесу и направившуюся в нашу сторону.

— Он! — воскликнули в один голос Зденка, Петр и их невестка.— Слава тебе господи!

— Господи, сохрани и помилуй нас! — торжественно проговорил Георгий.— Как знать, прошло ли уже или не прошло десять дней?

Все в ужасе посмотрели на него. Человек между тем все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом, опираясь на палку. По мере того как он приближался, Георгий становился все мрачней. Подойдя к нам, старик остановился и обвел свою семью взглядом как будто невидящих глаз — до того они были у него тусклые и впалые.

— Что ж это,— сказал он,— никто не встает, никто не встречает меня? Что вы все молчите? Иль не видите, что я ранен?

Тут я заметил, что у старика левый бок весь в крови.

— Да поддержи отца,— сказал я Георгию,— а ты, Зденка, напоила бы его чем-нибудь, ведь он, того гляди, упадет.

— Отец,— промолвил Георгий, подойдя к Горче,— покажи свою рану, я в этом знаю толк, перевяжу тебя...

Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок:

— Оставь, коли не умеешь, больно мне!

— Так ты в сердце ранен! — вскричал Георгий и весь побледнел.— Скорей, скорей раздевайся, так надо— слышишь!

Старик вдруг выпрямился во весь рост.

— Берегись,— сказал он глухо,— дотронешься до меня — прокляну!

Петр встал между отцом и Георгием.

— Оставь его,— сказал он,— ты же видишь, больно ему.

— Не перечь,— проговорила жена,— знаешь ведь, он этого никогда не терпел.

В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший стадо, не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но едва только он завидел Горчу, как остановился, ощетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось.

— Что с этим псом? — спросил старик, серчая все более.— Что все это значит? За десять дней, что меня не было, неужто я так переменился, что и собственный пес меня не узнаёт?

— Слышишь? — сказал своей жене Георгий.

— А что?

— Сам говорит, что десять дней прошло!

— Да нет же, ведь он в срок воротился!

— Ладно, ладно, я уж знаю, что делать.

Пес не переставая выл.

— Застрелить его! — крикнул Горча.— Это я приказываю — слышите!

Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах встал, взял отцовскую пищаль и выстрелил в пса — тот покатился в пыли.

— А был он мой любимец,— проговорил он совсем тихо.— С чего это отец велел его застрелить?

— Он того заслужил,— ответил Горча.— Ну, стало свежо, в дом пора!

Тем временем Зденка приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий, и уселся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное.

Потрескивали сосновые дрова, и дрожащие отблески огня падали на его лицо, такое бледное, такое изможденное, что, если бы не это освещение, его вполне можно было принять за лицо покойника. Зденка к нему подсела и сказала:

— Ты, отец, ни есть не хочешь, ни спать не ложишься. Может, расскажешь, как ты охотился в горах.

Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую чувствительную струну, так как он любил поговорить о боях и сражениях. И в самом деле, на его бескровных губах появилось что-то вроде улыбки, хотя глаза смотрели безучастно, и он ответил, гладя ее по чудесным белокурым волосам:

— Ладно, дочка, ладно, Зденка, я тебе расскажу, что со мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз, а то сегодня я устал. Одно скажу — нет в живых Алибека, и убил его я. А ежели кто сомневается,— прибавил старик, окидывая взглядом свою семью,— есть чем доказать!

И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его собственное лицо могло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи! Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее Петру и сказал:

— На, прицепи над нашей дверью — пусть знает всякий, кто пройдет мимо дома, что Алибек убит и никто больше не разбойничает на дороге, кроме разве султанских янычар!

Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано.

— Теперь понимаю,— сказал он,— бедный пес выл оттого, что почуял мертвечину!

— Да, почуял мертвечину,— мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся: в руке он держал какой-то предмет,

который тут же поставил в угол — как мне показалось, это был кол.

— Георгий,— вполголоса сказала ему жена,— да неужто ты...

— Брат, что ты затеял? — заговорила и сестра.— Да нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?

— Не мешайте,— ответил Георгий,— я знаю, что мне делать, и что надо — то сделаю.

Тем временем настала ночь, и семья ушла спать в ту часть дома, которую от моей комнаты отделяла лишь тонкая стенка. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Свеча уже не горела, а в маленькое низенькое окошко возле самой моей постели вовсю светила луна, так что на пол и на стены ложились белые пятна вроде тех, что падают сейчас здесь, в гостиной, где мы с вами сидим, милостивые государыни. Я хотел заснуть, но не мог. Свою бессонницу я приписал влиянию лунного света и стал искать, чем бы завесить окно, но ничего не нашел. Тут за перегородкой глухо послышались голоса, и я прислушался.

— Ложись, жена,— сказал Георгий,— и ты, Петр, ложись, и ты, Зденка. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу за вас.

— Да нет, Георгий,— отвечала жена,— уж скорее мне сидеть, ты прошлую ночь работал,— наверно, устал. Да и так мне надо приглядеть за старшим мальчиком,— ты же знаешь, ему со вчерашнего нездоровится!

— Будь спокойна и ложись,— говорил Георгий,— я посижу и за тебя!

— Да послушай, брат,— промолвила теперь нежным, тихим голосом Зденка,— по мне, так нечего и сидеть. Отец уже уснул, и смотри, как мирно и спокойно он спит.

— Ничего-то вы обе не понимаете,— возразил Георгий тоном, не допускающим противоречия.— Говорю вам — ложитесь, а я спать не буду.

Тут воцарилась полная тишина. Вскоре же я почувствовал, как отяжелели мои веки, и сон меня одолел.

Но вдруг дверь в комнату как будто медленно отворилась, и на пороге встал Горча. Я, впрочем, скорее догадывался об этом, чем видел его, потому что там, откуда он вышел, было совершенно темно. Его погасшие гла-

за,— так мне чудилось,— старались проникнуть в мои мысли и следили за тем, как подымается и опускается моя грудь. Потом он сделал шаг, еще — другой, затем, с чрезвычайной осторожностью, неслышно ступая, стал подходить ко мне. Вот одним прыжком он очутился у моей кровати. Я испытывал невыразимое чувство гнета, но неодолимая сила сковывала меня. Старик приблизил ко мне свое мертвенно-бледное лицо и так низко наклонился надо мною, что я словно ощущал его трупное дыхание. Тогда я сделал сверхъестественное усилие и проснулся весь в поту. В комнате не было никого, но, бросив взгляд на окно, я ясно увидел старика Горчу, который снаружи прильнул лицом к стеклу и не сводил с меня своих страшных глаз. У меня хватило силы, чтобы не закричать, и самообладания, чтобы не подняться с постели, как если бы я ничего и не видел. Старик, однако, приходил, по-видимому, лишь удостовериться, что я сплю, по крайней мере, он и не пытался войти ко мне и, внимательно на меня поглядев, отошел от окна, но я услышал, как он ходит в соседней комнате. Георгий заснул и храпел так, что стены чуть не сотрясались. В эту минуту кашлянул ребенок, и я различил голос Горчи, он спрашивал:

— Ты, малый, не спишь?

— Нет, дедушка,— отвечал мальчик,— мне бы с тобой поговорить.

— А, поговорить со мной? А о чем поговорить?

— Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками — я бы тоже пошел воевать с турками!

— Я, милый, так и думал и принес тебе маленький ятаган — завтра дам.

— Ты, дедушка, лучше дай сейчас — ведь ты не спишь.

— А почему ты, малый, раньше не говорил, пока светло было?

— Отец не позволил.

— Бережет тебя отец. А тебе, значит, скорее хочется ятаганчик?

— Хочется, да только не здесь, а то вдруг отец проснется!

— Так где же?

— А давай выйдем, я буду умный, шуметь не стану.

Мне словно послышался отрывистый глухой смех старика, а ребенок начал, кажется, вставать. В вампиров я не верил, но после кошмара, только что посетившего меня, нервы у меня были напряжены, и я, чтобы ни в чем не упрекать себя позднее, поднялся и ударил кулаком в стену. Этим ударом можно было бы, кажется, разбудить всех семерых спящих, но хозяева, очевидно, и не услыхали моего стука. С твердой решимостью спасти ребенка я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи, и замки не поддавались моим усилиям. Пока я еще пытался высадить дверь, я увидел в окно старика, проходившего с ребенком на руках.

— Вставайте, вставайте! — кричал я что было мочи и бил кулаком в перегородку. Тут только проснулся Георгий.

— Где старик? — спросил он.

— Скорей беги,— крикнул я ему,— он унес мальчика!

Георгий ударом ноги выломал дверь, которая, так же как моя, была заперта снаружи, и побежал к лесу. Мне наконец удалось разбудить Петра, невестку его и Зденку. Мы все вышли из дому и немного погодя увидели Георгия, который возвращался уже с сыном на руках. Он нашел его в обмороке на большой дороге, но ребенок скоро пришел в себя, и хуже ему как будто не стало. На расспросы он отвечал, что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто поговорить, но на воздухе у него закружилась голова, а как это было — он не помнит. Старик же исчез.

Остаток ночи, как нетрудно себе представить, мы провели уже без сна.

Утром мне сообщили, что по Дунаю, пересекавшему дорогу в четверти мили от деревни, начал идти лед, как это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если б я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Зденку, тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государыни, не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую, примеры которой нам рисуют романы, но я полагаю, что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно. Своеобразная

прелесть Зденки, это странное сходство с герцогиней де Грамон, от которой я бежал из Парижа и которую вновь встретил здесь в таком живописном наряде, говорящую на чуждом и гармоничном наречии, эта удивительная складочка на лбу, ради которой я во Франции тридцать раз готов был поставить жизнь на карту, все это, вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно быть, на зреющее в моей душе чувство, которое при других обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и мимолетно.

Днем я услышал, как Зденка разговаривала со своим младшим братом:

— Что же ты обо всем этом думаешь,— спрашивала она,— неужто и ты подозреваешь отца?

— Подозревать не решусь,— отвечал ей Петр,— да к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого не сделал. А что нет его — так ты ведь знаешь, он всегда так уходил и отчета не давал.

— Да, знаю,— сказала Зденка,— а коли так, надо его спасти: ведь ты знаешь Георгия...

— Да, да, верно. Говорить с ним нечего, но мы спрячем кол, а другого он не найдет: в горах с нашей стороны ни одной осины нет!

— Ну да, спрячем кол, только детям об этом — ни слова, а то они еще начнут болтать при Георгии.

— Нет, ни слова им,— сказал Петр, и они расстались.

Пришла ночь, а о старике Горче ничего не было слышно. Я, как и накануне, лежал на кровати, а луна вовсю освещала мою комнату. Уже когда сон начал туманить мне голову, я вдруг словно каким-то чутьем уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо, прижавшееся к окну.

Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможным. Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился, и я слышал, как он обходил дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий и его жена. Ребенок в постели заворочался и застонал во сне. Несколько минут стояла тишина, потом я снова услышал стук в окно. Ребенок опять застонал и проснулся.

— Это ты, дедушка? — спросил он.

— Я,— ответил глухой голос,— принес тебе ятаганчик.

— Только мне уйти нельзя, отец запретил!

— Тебе и не надо уходить, открой окошко да поцелуй меня!

Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно. Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и начал стучать в стену. Мгновенье спустя Георгий уже был на ногах. Он выругался, жена его громко вскрикнула, и вот уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без сознания. Горча исчез, как и накануне. Мы общими стараниями привели мальчика в чувство, но он очень был слаб и дышал с трудом. Он, бедный, не знал, как случился с ним обморок. Мать его и Зденка объясняли это тем, что ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом. Я молчал. Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять улеглись.

Незадолго до рассвета я услыхал, как Георгий будит жену, и они заговорили шепотом. К ним пришла и Зденка, и я услышал, как она и ее невестка плачут.

Ребенок лежал мертвый.

Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако, не обвинял в случившемся старика Горчу. По крайней мере, открыто об этом не говорили.

Георгий молчал, но в выражении его лица, всегда несколько мрачном, теперь было и что-то страшное. В течение двух дней старик не появлялся. В ночь на третьи сутки (после похорон ребенка) мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос, который звал меньшого мальчика. Мне также показалось на мгновение, что старик Горча прижался лицом к окну, но я не смог решить, было ли это в действительности или то была игра воображения, потому что в ту ночь луна скрывалась за облаками. Все же я счел своим долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика, и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед, и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал сыну разбудить его, если старик покажется еще.

Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к Зденке нежность, которая все больше усиливалась.

Днем мне не привелось говорить с нею наедине. Когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъез-

де сжалось сердце. Комната Зденки была отделена от моей сенями, которые с одной стороны выходили на улицу, с другой — во двор.

Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову — пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться. Выйдя в сени, я заметил, что дверь в комнату Зденки приотворена.

Невольно я остановился. Шорох платья, такой знакомый, заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись слова песни, напеваемой вполголоса. То было прощание сербского короля со своей милой, от которой он уходил на войну:

«Молодой ты мой тополь,— говорил старый король,— я на войну ухожу, а ты забудешь меня.

Стройны и гибки деревья, что растут у подножья горы, но стройнее и гибче юный твой стан!

Красны ягоды рябины, что раскачивает ветер, но ягод рябины краснее губы твои!

А я-то — что старый дуб без листьев, и пены Дуная моя борода белей!

И ты, сердце мое, меня забудешь, и умру я с тоски, потому что враг не посмеет убить старого короля!»

И промолвила ему красавица: «Клянусь — не забуду тебя и останусь верна тебе. А коли клятву нарушу, приди ко мне из могилы и высоси кровь моего сердца».

И сказал старый король: «Пусть будет так!» И ушел на войну. И скоро красавица его забыла!..»

Тут Зденка остановилась, словно ей было боязно кончать песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос такой нежный, такой задушевный, был голос самой герцогини де Грамон... Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. Зденка только что сняла с себя нечто вроде казакина, какой в тех местах носят женщины. На ней оставалась теперь шитая золотом и красным шелком сорочка и стянутая у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена и слегка покраснела.

— Ах,— сказала она мне,— зачем ты пришел,— ведь коли нас увидят — что обо мне подумают?

— Зденка, сердце мое,— отвечал я ей,— не бойся:

лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе.

— Нет, милый, иди скорей, иди! Застанет нас мой брат — я тогда погибла.

— Нет, Зденка, я уйду только тогда, когда ты мне пообещаешь, что будешь меня любить всегда, как красавица обещала королю в той песне. Я скоро уеду, Зденка, и как знать, когда мы опять увидимся? Зденка, ты дороже мне моей души, моего спасения... И жизнь моя и кровь — твои. Неужели ты за это не подаришь мне один час?

— Всякое может случиться за один час,— задумчиво ответила Зденка, но не отняла у меня своей руки.— Не знаешь ты моего брата,— прибавила она и вздрогнула,— уж я чувствую — придет он.

— Успокойся, моя Зденка,— сказал я в ответ,— брат твой устал от бессонных ночей, его убаюкал ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, и я прошу тебя — побудь со мной час! А потом — прости... может быть, навсегда!

— Нет, нет, только не навсегда! — с жаром сказала Зденка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись своего же голоса.

— Ах, Зденка,— воскликнул я,— я вижу одну тебя, слышу одну тебя, я уже себе не господин, а покорен какой-то высшей силе — прости мне, Зденка!

И я, как безумный, прижал ее к сердцу.

— Ах нет, ты мне не друг,— проговорила она, вырвавшись из моих объятий, и забилась в дальний угол. Не знаю, что я ей ответил, так как и сам испугался своей смелости — не потому, чтобы иногда в подобных обстоятельствах она не приносила мне удачи, а потому, что мне даже и в пылу страсти чистота Зденки продолжала внушать глубокое уважение.

Вначале я, правда, вставил было несколько галантных фраз из числа тех, которые встречали невраждебный прием у красавиц минувшего времени, но, устыдившись тут же, отказался от них, видя, что девушка в простоте своей не может понять тот смысл, который вы, милостивые государыни, судя по вашим улыбкам, угадали с полуслова.

Так я и стоял перед ней и не знал, что сказать, как вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит

на окно. Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи, который, не двигаясь, следил за нами.

В тот же миг я почувствовал, как чья-то тяжелая рука опускается мне на плечо. Я обернулся. Это был Георгий.

— Ты что тут делаешь? — спросил он меня.

Озадаченный этим резким вопросом, я только показал рукой на его отца, который смотрел на нас в окно и скрылся, как только Георгий его увидал.

— Я услышал шаги старика,— сказал я,— и пошел предупредить твою сестру.

Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочитать мои сокровеннейшие мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел.

На следующий день семья сидела у дверей дома за столом, уставленным всякой молочной снедью.

— Где мальчик? — спросил Георгий.

— На дворе,— ответила мать,— играет себе один в свою любимую игру, будто воюет с турками.

Не успела она проговорить эти слова, как перед нами, к нашему величайшему удивлению, появилась высокая фигура Горчи; он, выйдя из лесу, медленно подошел к нам и сел к столу, как это уже было в день моего приезда.

— Добро пожаловать, батюшка,— еле слышно пролепетала невестка.

— Добро пожаловать,— тихо повторили Зденка и Петр.

— Отец,— голосом твердым, но меняясь в лице, произнес Георгий,— мы тебя ждем, чтоб ты прочел молитву!

Старик, нахмурив брови, отвернулся.

— Молитву, и тотчас же! — повторил Георгий,— перекрестись — не то, клянусь святым Георгием...

Зденка и невестка склонились к старику, умоляя прочитать молитву.

— Нет, нет, нет,— сказал старик,— не властен он мне приказывать, а коли потребует еще раз, прокляну!

Георгий вскочил и побежал в дом. Он сразу же и вернулся — взгляд его сверкал бешенством.

— Где кол? — крикнул он,— где вы спрятали кол?

Зденка и Петр переглянулись.

— Мертвец! — обратился тогда Георгий к старику,— что ты сделал с моим старшим? Отдай мне сына, мертвец!

И он, пока говорил, все более и более бледнел, а глаза его разгорались все ярче.

Старик смотрел на него злым взглядом и не двигался.

— Кол! где кол?—крикнул Георгий.— Кто его спрятал, тот и в ответе за все горе, что нас ждет!

В тот же миг мы услышали веселый звонкий смех меньшого мальчика, и он тут же появился верхом на огромном колу, который волочил за собой, слабеньким детским голоском испуская тот воинственный клич, с каким сербы бросаются на неприятеля.

Глаза у Георгия так и вспыхнули. Он вырвал у мальчика кол и ринулся на отца. Тот дико завыл и побежал в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста казалась сверхъестественной.

Георгий гнался за ним по полю, и мы скоро потеряли их из виду.

Уже зашло солнце, когда Георгий возвратился домой, бледный как смерть и с взъерошенными волосами. Он сел у очага, и зубы у него, кажется, стучали. Никто не решался расспросить его. Но вот настал час, когда семья обыкновенно расходилась; он теперь, по-видимому, вполне овладел собою и, отведя меня в сторону, сказал как ни в чем не бывало:

— Дорогой гость, был я на реке. Лед прошел, помехи в дороге нет, теперь ты можешь ехать. Прощаться с нашими нечего,— прибавил он, бросив взгляд на Зденку.— Дай тебе бог всякого счастия (так они велели тебе сказать), да и ты, даст бог, не помянешь нас лихом. Завтра чуть свет уж лошадь твоя будет стоять оседланная и проводник тебя будет ждать. Прощай, может, вспомнишь когда своих хозяев, и уж не сердись, коли жилось тут не так покойно, как бы надо было.

Жесткие черты лица Георгия в ту минуту выражали почти что дружелюбие. Он проводил меня в комнату и в последний раз пожал мне руку. Потом он снова вздрогнул, и зубы у него застучали, словно бы от холода.

Оставшись один, я, как вы легко можете себе представить, и не подумал ложиться спать. Меня одолевали мысли. В жизни я любил уже не раз. Знал я и порывы нежности, приступы досады и ревности, но никогда еще,

даже расставаясь с герцогиней де Грамон, я не испытывал такой скорби, какая сейчас терзала мне сердце. Не взошло и солнце, а я уже оделся по-дорожному и хотел было попытаться в последний раз увидеть Зденку. Но Георгий ждал меня в сенях. Исчезла всякая возможность даже взглянуть на нее.

Я вскочил на лошадь и пустил ее во весь опор. Я давал себе обещание на обратном пути из Ясс заехать в эту деревню, и такая надежда, пусть самая отдаленная, мало-помалу рассеяла мои заботы. Я уже с удовольствием думал о том, как вернусь, и воображение рисовало мне всякие подробности, но вдруг резким движением лошадь чуть не выбила меня из седла. Тут она стала как вкопанная, вытянула передние ноги и тревожно фыркнула, как бы давая знать о близкой опасности. Я внимательно осмотрелся кругом и в сотне шагов увидел волка, который рылся в земле. Так как я его вспугнул, он побежал, а я вонзил шпоры в бока лошади и заставил ее тронуться с места. А там, где стоял волк, я теперь увидел свежевырытую могилу. Мне также показалось, что из земли, разрытой волком, на несколько вершков выступал кол. Этого, однако, я не утверждаю с уверенностью, так как быстро проскакал мимо того места.

Маркиз замолк и взял щепотку табаку.

— И это все? — спросили дамы.

— Увы, нет! — ответил г-н д'Юрфе.— То, что осталось досказать вам,— мое мучительнейшее воспоминание, и я дорого бы дал, чтобы расстаться с ним.

Дела, по которым я приехал в Яссы, задержали меня там дольше, чем я предполагал. Я завершил их лишь через полгода. И что же? Печально сознавать, и все же нельзя не признать ту истину, что нет на свете долговечных чувств. Успех моих переговоров, одобрения, которые я получал от версальского кабинета, словом, политика, та противная политика, что так надоела нам за последнее время, в конце концов приглушила для меня воспоминание о Зденке. К тому же и супруга молдавского господаря, женщина очень красивая и в совершенстве владевшая нашим языком, с первых же дней моего приезда удостоила меня чести, оказывая мне особое предпочтение перед другими молодыми иностранцами, находив-

шимися тогда в Яссах. Меня, воспитанного в правилах французской галантности, с галльской кровью в жилах, просто возмутила бы самая мысль о том, чтобы ответить неблагодарностью на выражаемую мне благосклонность. И я со всей учтивостью принимал знаки внимания, проявляемого ко мне, а чтобы получить возможность лучше защищать права и интересы Франции, я и на все права, и на все интересы господаря начал смотреть как на свои собственные.

Когда меня отозвали в Париж, я избрал ту же дорогу, какой и прибыл в Яссы.

Я не думал уже ни о Зденке, ни о ее семье, как вдруг однажды вечером, проезжая полями, услыхал звук колокола, ударившего восемь раз. Этот звон мне был как будто знаком, и проводник сообщил мне, что звонили неподалеку в монастыре. Я спросил, как он называется, и узнал, что это — монастырь «божьей матери дубравной». Я пришпорил коня, и немного спустя мы уже стучали в монастырские ворота. Монах впустил нас и повел в помещение, отведенное для путешественников. В нем оказалось столько паломников, что у меня пропала всякая охота ночевать здесь, и я спросил, удастся ль мне найти пристанище в деревне.

— Пристанище-то найдется,— ответил с глубоким вздохом отшельник,— пустых домов там вдоволь — а все проклятый Горча!

— Как это понимать? — спросил я,— старик Горча все еще жив?

— Да нет, он-то похоронен взаправду, и в сердце— кол! Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик и вернулся ночью, плакал под дверью, ему, мол, холодно и домой хочется. У дуры-матери, хоть она сама его и хоронила, не хватило духа прогнать мальчика на кладбище,— она и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась и высосала кровь у меньшого мальчика, потом — у мужа, а потом у деверя. Всем — один конец.

— А Зденка? — спросил я.

— Ах, она от горя с ума сошла, бедняжка,— уж лучше и не говорить!

В этом ответе была какая-то неопределенность, но переспросить я не решился.

— Вурдалаки — это как зараза,— продолжал отшельник и перекрестился,— сколько уж семей в деревне пострадало, сколько их вымерло до последнего человека, и вы меня послушайтесь и переночуйте в монастыре, а не то, даже коли вас в деревне не съедят вурдалаки, вы от них все равно такого страху натерпитесь, что поседеете прежде, чем я прозвоню к заутрене. Я,— продолжал он,— всего лишь бедный монах, но путешественники сами от щедрот своих дают столько, что и я могу позаботиться о них. Есть у меня отменный сыр, изюм такой, что посмотреть на него — слюнки потекут, да несколько бутылок токайского — не хуже того, что изволит пить сам святейший патриарх.

В эту минуту на моих глазах отшельник словно превращался в трактирщика. Он, как мне подумалось, нарочно порассказал мне небылиц, чтобы дать мне случай сделать нечто угодное небесам и уподобиться щедротами тем путешественникам, *которые святому мужу столько дают, что и он может позаботиться о них.*

Да и самое слово «страх» производило на меня то же действие, что звуки трубы на боевого коня. Мне себя было бы стыдно, если бы я не отправился немедленно. Проводник мой, весь дрожа, просил позволения остаться здесь — это я охотно разрешил.

Мне потребовалось с полчаса, чтобы доехать до деревни. Она, как выяснилось, была безлюдна. Ни в одном окошке не блестел огонь, нигде не слышалась песня. В тишине проехал я мимо всех этих домов, по большей части знакомых мне, и остановился перед домом Георгия. То ли поддавшись чувствительным воспоминаниям, то ли движимый своей молодой смелостью, но я решил переночевать тут.

Я соскочил с лошади и постучал в ворота. Никто не отзывался. Я толкнул ворота, они под визг петель открылись, и я вошел во двор.

Не расседлывая лошадь, я привязал ее под навесом, где оказался достаточный для ночи запас овса, и направился прямо в дом.

Ни одна дверь не была затворена, а между тем все комнаты казались нежилыми.Только комната Зденки имела такой вид, как будто ушли из нее лишь вчера. На постели были брошены платья. На столе в лунном

свете блестело несколько драгоценных вещиц, подаренных мною, и среди них я заметил эмалевый крестик, который я купил в Пеште. Сердце у меня невольно сжалось, хотя любовь уже и прошла. Как бы то ни было, я закутался в плащ и улегся на постель. Скоро меня одолел сон. Того, что мне снилось, я не помню в подробностях, но знаю, что видел Зденку, прелестную, простодушную, любящую, как прежде. Глядя на нее, я упрекал себя в черствости и в непостоянстве. Как я мог, спрашивал я себя, как я мог бросить это милое дитя, которое меня любило, как мог я ее забыть? Вскоре мысль о ней слилась с мыслью о герцогине де Грамон, и в этих двух образах мне уже представлялась одна и та же женщина. Я пал к ногам Зденки и молил ее о прощении. Все мое существо, всю мою душу охватило невыразимое чувство грусти и любви.

Вот это мне и снилось, как вдруг меня наполовину пробудил некий гармоничный звук, подобный шелесту нивы, по которой пробегает ветерок. Мне будто слышался мелодичный звон колеблемых колосьев, и пение птиц сливалось с рокотом водопада и с шепотом листвы. Потом все эти неясные звуки мне представились не чем иным, как шорохом женского платья, и на этой догадке я остановился. Открыв глаза, я увидел Зденку около своего ложа. Луна сверкала так ярко, что теперь я до мельчайших подробностей мог во всей их прелести различить дорогие мне когда-то черты, а что они значили для меня — это впервые мне дал почувствовать мой сон. Зденка, оказывается, и похорошела и развилась. Она точно так же была полуодета, как и в прошлый раз, когда я видел ее одну,— в простой сорочке, вышитой золотом и шелком, и в юбке, туго стянутой у талии.

— Зденка! — сказал я, подымаясь с постели.— Зденка, ты ли это?

— Да, это я,— отвечала она голосом тихим и печальным,— это я, твоя Зденка, которую ты забыл. Ах, зачем ты не вернулся раньше? Теперь всему конец, тебе надо скорее уезжать; еще минута — и ты пропал! Прощай, милый, прощай навсегда!

— Зденка,— сказал я,— у тебя, мне говорили, много было горя. Иди ко мне, побеседуем — так тебе станет легче!

— Ах, милый,— промолвила она,— не всему надо верить, что про нас говорят, но только поезжай, поезжай скорей, а коли останешься — гибели не миновать.

— Да что это за беда мне угрожает, Зденка? И неужели нельзя мне пробыть и часа, одного только часа, чтобы поговорить с тобой?

Зденка вздрогнула, и какая-то странная перемена совершилась в ней.

— Да,— произнесла она,— час, один только час — верно ведь? — как в тот раз, когда я пела песню про старого короля, а ты пришел вот в эту комнату? Ты про то говоришь? Хорошо же, пускай, пробудь со мной час! Нет, нет,— опомнилась она вдруг,— уходи, уходи! Уходи скорей, слышишь, беги!.. Да беги же, пока не поздно!

Черты ее одушевляла какая-то дикая энергия.

Я не мог объяснить себе причину, которая заставляла ее так говорить, но Зденка была так хороша, что я решил, не слушаясь ее, остаться. Она же, уступив наконец моим просьбам, уселась рядом со мной, заговорила о прошлом и, краснея, призналась, что полюбила меня сразу, как увидела. Мне между тем становилась постепенно заметной огромная перемена, которая с ней произошла. Ее былая сдержанность сменилась какой-то странной вольностью в обращении. Во взгляде ее, когда-то таком застенчивом, появилось что-то дерзкое. И по тому, как она держалась со мной, я с изумлением понял, что в ней мало осталось от той скромности, которая отличала ее некогда.

«Неужели же,— думал я,— Зденка не была той чистой и невинной девушкой, какой она казалась два года тому назад? Неужели она только притворялась из страха перед братом? Неужели я так грубо был обманут добродетельной внешностью? Но тогда почему же она уговаривала меня уехать? Или это, чего доброго, какое-то утонченное кокетство? А я еще думал, что знаю ее! Но все равно! Если Зденка и не Диана, какою я воображал ее себе, то я могу сравнить ее с другой богиней, не менее очаровательной и, ей-богу же, роль Адониса я предпочту роли Актеона!»

Если эта классическая фраза, с которой я обратился к самому себе, покажется вам старомодной, милостивые государыни, то примите в соображение, что я рассказы-

ваю вам о делах, случившихся в лето господне тысяча семьсот пятьдесят девятое. Мифология занимала тогда все умы, а я не имел притязаний на то, чтобы опередить свой век. Все с тех пор изменилось, а в не столь давние времена революция, упразднив воспоминания язычества, равно как и христианскую веру, поставила на их место богиню Разума. Богиня эта, милостивые государыни, никогда не покровительствовала мне, если я находился в обществе, подобном вашему, а в то время, о котором я повествую, я был менее чем когда-либо склонен приносить ей жертвы. Я всецело отдался чувству, которое влекло меня к Зденке, а она заигрывала со мной, и я весело отвечал ей в том же духе. Прошло уже некоторое время, как мы находились в такой упоительной близости друг к другу, но вот, примерив Зденке забавы ради все ее драгоценности, я собрался надеть ей на шею эмалевый крестик, который нашел на столе. Зденка вздрогнула и отшатнулась.

— Милый, довольно ребячиться,— сказала она,— оставь эти побрякушки, поговорим лучше о тебе, о твоих делах!

Ее замешательство навело меня на всякие мысли. Внимательней приглядываясь к ней, я заметил, что на шее у нее не было, как раньше, всех тех образков, ладанок, которые сербы в великом множестве носят с детства до самой смерти.

— Зденка,— спросил я,— где образки, что ты носила на шее?

— Потеряла,— с раздражением в голосе ответила она и тотчас заговорила о другом.

Во мне заговорило какое-то темное предчувствие, я не сразу его и осознал. Я уже собрался уходить, но Зденка удерживала меня.

— Как же это,— сказала она,— ты просил меня побыть с тобой час, а уж хочешь ехать!

— Ты права была, Зденка, что уговаривала меня ехать; я как будто слышу шум, боюсь, как бы нас не застали!

— Не бойся, милый, все кругом спит, лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе!

— Нет, Зденка, нет, надо мне ехать!

— Погоди, погоди,— сказала Зденка,— ты дороже мне души моей, спасения моего, а ты говорил мне, что жизнь твоя и кровь — мои!..

— Но брат твой, Зденка, брат — чувствую я, что он придет.

— Успокойся, сердце мое, брат мой спит, его убаюкал ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, а я тебя прошу — побудь со мной час!..

Зденка, когда говорила эти слова, была так хороша, что безотчетный ужас, томивший меня, уже уступил желанью остаться с ней. Все мое существо наполнило чувство, которое невозможно изобразить,— какая-то смесь боязни и вожделения. По мере того как моя воля ослабевала, Зденка становилась все нежнее, и я наконец решился уступить, вместе с тем давая себе слово быть настороже. Однако же я, как говорил вам только что, бывал всегда благоразумен лишь наполовину, и когда Зденка, заметив мою сдержанность, предложила прогнать ночной холод несколькими стаканами благородного вина, которое, по ее словам, достала у доброго отшельника, я согласился с такой готовностью, что она даже улыбнулась. Вино произвело свое действие. Неприятное впечатление, вызванное пропажей образков и ее нежеланием надеть крестик, совершенно рассеялось уже на втором стакане. Зденка в своем небрежном наряде, с чудесными полураспущенными волосами, с драгоценностями, блестевшими при лунном свете, показалась мне неотразимой. Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял.

Тут, милостивые государыни, мне было одно из тех таинственных откровений, объяснить которые я не сумею, но в которые я поневоле уверовал — в силу жизненного опыта, хотя раньше я и не склонен был признавать их.

Зденку я обвил руками с такой силой, что от этого движения крестик, который я вам показывал и который перед моим отъездом мне дала герцогиня де Грамон, острием вонзился мне в грудь. Острая боль, которую я ощутил в этот миг, явилась для меня как бы лучом света, пронизавшего все вокруг. Я посмотрел на Зденку, и мне стало ясно, что черты ее, все еще, правда, прекрасные, искажены смертной мукой, что глаза ее не видят и что ее улыбка — лишь судорога агонии на лице трупа. В

тот же миг я почувствовал в комнате тлетворный запах — как из непритворенного склепа. Страшная истина предстала мне теперь во всем своем безобразии, и я, хоть и слишком поздно, вспомнил о предостережениях монаха. Я понял всю опасность своего положения и осознал, что все будет зависеть от моей отваги и самообладания. Я отвернулся от Зденки, чтобы не дать ей заметить ужас, написанный, должно быть, на моем лице. Тут взгляд мой упал на окно, и я увидел страшного Горчу, который опирался на окровавленный кол и, не отрываясь, смотрел на меня глазами гиены. За другим окном вырисовывалось бескровное лицо Георгия, который в эту минуту до ужаса похож был на отца. Оба они, казалось, следили за каждым моим движением, и я не сомневался, что при первой же моей попытке бежать они набросятся на меня. Поэтому я не показал вида, что их заметил, и огромным усилием воли заставил себя, милостивые государыни, да, заставил себя расточать Зденке такие же ласки, как и до этого страшного открытия. В то же время я с тоской и тревогой думал о том, как вырваться отсюда. Я заметил, что Горча и Георгий переглядываются со Зденкой и что им уже надоедает ждать. За стеной мне послышался также и голос женщины и крик детей, но такой ужасный, что его скорее можно было принять за вой диких кошек.

«Пора убираться,— подумал я,— и чем быстрей, тем лучше». Обратившись к Зденке, я сказал погромче,— так, чтобы меня услышала ее страшная родня:

— Я, дитя мое, очень устал, хочется лечь и поспать несколько часов, но сперва надо мне сходить посмотреть, не съел ли мой конь свой овес. Ты, пожалуйста, не уходи и дождись меня.

Я коснулся губами ее холодных, безжизненных губ. Лошадь моя, вся в пене, так и рвалась со своей привязи. Она и не дотронулась до овса, а от ржания, которым она меня встретила, я весь похолодел: я боялся, как бы оно не выдало мои намерения. Однако вампиры, слышавшие, наверно, мой разговор со Зденкой, еще не встревожились. Я посмотрел, открыты ли ворота, вскочил в седло и дал коню шпоры.

Выезжая из ворот, я успел заметить, что сборище вокруг дома было весьма многочисленно и что большин-

ство пришельцев прижималось глазами к стеклам окон. Кажется, мое внезапное бегство озадачило их сперва, так как некоторое время я не различал в ночном безмолвии иных звуков, кроме мерного топота моего коня. Я уже почти поздравлял себя с удачей, к которой привела моя хитрость, как вдруг услышал позади некий шум — точно рев урагана, разбушевавшегося в горах. Кричали, выли и как будто спорили друг с другом тысячи голосов. Потом все они, точно по уговору, умолкли, и слышен стал только быстрый топот ног, как если бы отряд пехотинцев приближался беглым шагом.

Я погонял своего коня, немилосердно вонзая ему в бока шпоры. В крови моей разливался лихорадочный огонь, я напрягался, делал над собой неимоверные усилия, чтобы сохранить присутствие духа, и вдруг услышал позади себя голос:

— Погоди, погоди, милый! Ты дороже мне души моей, спасения моего! Погоди, погоди! Твоя кровь — моя!

И меня сразу же коснулось холодное дыхание, и Зденка сзади меня прыгнула на лошадь.

— Сердце мое, милый мой! — говорила она,— вижу одного тебя, одного тебя хочу, я уже себе не госпожа, надо мной — высшая сила,— прости мне, милый, прости!

И, обвивая руками, она пыталась опрокинуть меня назад и укусить за горло. Между нами завязалась страшная и долгая борьба. Защищался я с трудом, но в конце концов мне удалось схватить Зденку одной рукой за пояс, другою — за косы, и, приподнявшись на стременах, я бросил ее на землю.

Тут силы оставили меня, и начался бред. Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось, и я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись, увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем переносятся через пропасти. Горча тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом, как пращой, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш

вцепился — не хуже настоящего бульдога — в шею моего коня, и я с трудом оторвал его. Другого ребенка мне таким же образом кинули вслед, но он упал прямо под копыта лошади и был раздавлен. Не помню, что произошло еще, но когда я пришел в себя, было уже вполне светло, я лежал на дороге, а рядом издыхал мой конь.

Так кончилось, милостивые государыни, любовное увлечение, которое должно было бы навсегда отбить у меня охоту продолжать в том же духе. А стал ли я впоследствии более благоразумным — об этом вам могли бы рассказать некоторые из ровесниц ваших бабушек.

Как бы то ни было, я и сейчас содрогаюсь при мысли, что если бы враги одолели меня, то и я тоже сделался бы вампиром, но небо того не допустило, и вот, милостивые государыни, я не только ничуть не жажду вашей крови, но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив пролить свою кровь за вас!

Конец 1830-х или начало 1840-х годов

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ

Мы сидели чудесной летней ночью у нашей бабушки в саду, одни — собравшись вокруг стола, на котором горела лампа, другие же — расположившись на ступенях террасы. Время от времени легкое дуновение ветерка доносило до нас волну воздуха, напоенного благоуханием цветов, или дальний отголосок деревенской песни, а потом все опять затихало, и слышно было только, как о матовый колпак лампы бьются крыльями ночные мотыльки.

— Ну, что ж, дети мои,— проговорила бабушка, —вы не раз просили меня рассказать какую-нибудь старую историю о привидениях... Если есть охота, садитесь в кружок, а я вам расскажу один случай из времен моей молодости, от которого вас всех бросит в дрожь, едва только вы останетесь одни и ляжете в постели.

Недаром эта ночь, такая тихая, напоминает мне доброе старое время, а ведь вот — можете, если угодно, смеяться надо мной — мне уже много лет кажется, что и природа стала не так хороша, как была когда-то. Нет больше тех чудесных, теплых и светлых дней, таких свежих цветов, таких сочных плодов; да, кстати, по поводу плодов,— не забыть мне никогда корзинку персиков, что прислал мне однажды маркиз д'Юрфе, молодой безумец, ухаживавший за мной потому, что на лице у меня он нашел какую-то необыкновенную черточку, от которой и потерял голову.

По правде сказать, я недурна была в то время, и тот, кто сейчас видит мои морщины и седые волосы, не

подозревает, что король Людовик Пятнадцатый прозвал меня розой Арденн,— имя, которое я вполне заслуживала, ибо вонзила немало шипов в сердце его величества.

А что до маркиза д'Юрфе, то могу вас уверить, дети мои, что, если бы он только захотел, я не имела бы удовольствия быть вашей бабушкой или, во всяком случае, вы носили бы другую фамилию. Но мужчинам совершенно недоступен смысл нашего кокетства: они либо приходят в неистовство, которым возмущают нас, либо, как дети, впадают в отчаянье и со всех ног бросаются в бегство ко двору какого-нибудь господаря Молдавии, как оно и было с этим сумасшедшим маркизом, с которым я потом встречалась много лет спустя, и он, замечу мимоходом, не сделался более благоразумным.

Возвращаясь к корзинке персиков, подаренной маркизом, скажу вам, что получила ее незадолго до его отъезда, в день святой Урсулы, то есть в мои именины, а они, как вам известно, приходятся на самую середину октября, когда раздобыть персиков почти невозможно. Этот знак внимания явился следствием того, что д'Юрфе держал пари с вашим дедом, который уже начинал ухаживать за мною и так был смущен удачей своего соперника, что на целых три дня занемог.

У этого д'Юрфе была благороднейшая внешность, какую мне вообще приходилось видеть, за исключением одного лишь короля, который, не будучи уже молодым, по праву считался самым красивым дворянином Франции. Ко всем внешним достоинствам у маркиза присоединялось еще одно преимущество, которое — могу признаться в этом теперь — имело для нас, молодых женщин, не менее притягательную силу. Он был величайший в мире шалопай, и я часто задавала себе вопрос, почему такие люди помимо нашей воли привлекают нас к себе. Единственное, по-моему, объяснение состоит в том, что чем непостояннее у человека нрав, тем нам приятнее бывает привязать его к себе. И вот с обеих сторон задето самолюбие — кто кого перехитрит. Высшее искусство в этой игре заключается, дети мои, в том, чтобы уметь вовремя остановиться и не доводить своего партнера до крайности. Это я говорю, Элен, главный образом, для вас. Если вы когонибудь любите, дитя мое, не поступайте с ним так, как я поступила с д'Юрфе: знает бог, как я оплакивала его

отъезд и как укоряла себя за свое поведение. От этого признания не должна страдать память вашего деда, женившегося на мне полгода спустя, а это, без сомнения, был достойнейший и благороднейший человек, какого только можно встретить.

В то время я вдовела после смерти моего первого мужа, господина де Грамона, которого почти и не успела узнать, а вышла я за него, только чтобы не ослушаться моего отца, единственного из людей, кого я боялась на земле. Вы легко можете догадаться, что дни моего вдовства не показались мне долгими; я была молода, хороша собой и могла делать решительно все, что хотела. Я и воспользовалась своей свободой, а как только кончился траур, очертя голову устремилась в водоворот балов и собраний, которые, замечу мимоходом, были куда веселее тогда, чем нынче.

На одном из таких собраний маркиз д'Юрфе и был мне представлен командором де Бельевром, старинным другом моего отца, никогда не покидавшего свой замок в Арденнах и поручившего меня его чисто родственным заботам. Всяким увещаниям со стороны почтенного командора просто не было конца, но, будучи с ним как можно обходительнее и ласковее, я не очень-то поддавалась его уговорам, как вы вскоре сами увидите. Мне уже много приходилось слышать о господине д'Юрфе и не терпелось узнать, окажется ли он таким неотразимым, как мне его рисовали.

Когда он с очаровательной непринужденностью подходил ко мне, я посмотрела на него так пристально, что он смутился и даже не мог окончить только что начатую фразу.

— Сударыня,— сказал он мне потом,— у вас над глазами, чуть повыше бровей, есть чуть заметная складочка, которую я не сумел бы описать, но она придает вашему взгляду необыкновенное могущество...

— Сударь,— ответила я ему,— говорят, я очень похожа на портрет моей прапрабабушки, а от одного ее взгляда, как гласит предание в наших краях, упал в ров некий самонадеянный рыцарь, затеявший ее похитить и уже перемахнувший через стену замка.

— Сударыня,— сказал с учтивым поклоном маркиз,— если у вас те же черты лица, что и у вашей прапраба-

бушки, то я охотно поверю преданию; позволю себе лишь заметить, что на месте рыцаря я не считал бы себя побежденным и, как только выбрался бы из рва, так сразу бы снова взобрался на стену.

— Неужто, сударь?

— Без сомнения, сударыня.

— Неудача не повергнет вас в отчаянье?

— Смутиться иной раз я могу, но отчаяться в успехе — никогда!

— Что ж, посмотрим, сударь!

— Что ж, сударыня, посмотрим!

С этого часа между нами началась ожесточенная война: с моей стороны то было притворное безразличие, со стороны маркиза — все усиливающаяся нежная внимательность. Кончилось тем, что эта игра привлекла к нам всеобщее внимание, и командор де Бельевр сделал мне сериозный выговор.

Своеобразная была личность этот командор де Бельевр, и пора сказать о нем несколько слов. Вообразите себе человека высокого, сухощавого и важного, весьма учтивого, весьма речистого и никогда не улыбающегося. В молодости он показал на войне чудеса храбрости, граничащей с безумством, но он никогда не знал, что такое любовь, и с женщинами был крайне робок. Когда мне случалось особенно приласкаться к нему (а это бывало всякий почтовый день, поскольку он добросовестно посылал отцу отчеты о моем поведении, как если бы я была еще маленькая девочка), у него едва разглаживались морщины на лбу, но он строил при этом такую забавную гримасу, что я тут же смеялась прямо ему в лицо, рискуя с ним поссориться. Мы оставались, однако, наилучшими друзьями, если не считать того, что сразу же вцеплялись друг в друга, как только речь заходила о маркизе.

— Герцогиня, я в отчаянии, ибо долг требует от меня, чтобы я сделал вам замечание...

— Да сделайте одолжение, милый командор.

— Вчера вечером у вас опять был маркиз д'Юрфе.

— Справедливо, милый командор, да и третьего дня тоже, и нынче вечером он тоже будет у меня, равно как завтра и послезавтра.

— Вот по поводу этих частых посещений я и хотел бы с вами поговорить. Вам небезызвестно, сударыня, что

отец ваш, а мой уважаемый друг, поручил вас моему попечению и что я за вас отвечаю перед богом, как если бы я имел счастие видеть в вас мою дочь...

— Да неужели вы, мой милый командор, опасаетесь, что маркиз выкрадет меня?

— Я полагаю, сударыня, что маркиз относится к вам с надлежащим уважением, которое удержит его от подобного намерения. И все же мой долг — предупредить вас, что внимание, проявляемое к вам маркизом, становится при дворе предметом разговоров, что я и себя упрекаю за это тем более, что именно я имел несчастье представить вам маркиза, и если вы немедленно не отдалите его от себя, то, к великому моему сожалению, я вынужден буду, как и подобает, вызвать его на дуэль!

— Но вы же шутите, милый мой командор, да и подобает ли вам такая дуэль! Вы забыли, что вы втрое старше его.

— Я никогда не шучу, сударыня, и все будет так, как я имел честь сказать.

— Да это же, сударь, просто оскорбительно! Это тиранство, которому нет имени! Если мне нравится быть в обществе господина д'Юрфе, кто имеет право запретить мне встречаться с ним? Кто может запретить ему жениться на мне, если я дам согласие?

— Сударыня,— отвечал, грустно покачивая головой, командор,—поверьте мне, не это входит в намерения маркиза. Я достаточно знаю жизнь и вижу, что господин д'Юрфе, отнюдь не собираясь связывать себя, лишь гордится и хвастается своим непостоянством. И что бы сталось с вами, бедный цветок Арденн, если бы вы дали ему насладиться медом, заключенным меж ваших лепестков, а этот красивый мотылек вдруг предательски упорхнул бы от вас?

— Ну, вот, теперь пошли оскорбительные обвинения! Знаете ли, милый мой командор, что если вы будете продолжать в этом духе, то заставите меня до безумия влюбиться в маркиза?

— Я знаю, сударыня, что отец ваш, а мой досточтимый друг, поручил вас моим попечениям и что я готов даже досаждать вам, лишь бы только оказаться достойным его доверия и вашего уважения.

Так всякий раз кончались эти споры. Я остерегалась сообщать о них д'Юрфе, чтобы не дать ему еще более возомнить о себе, но вот в один прекрасный день командор явился ко мне с известием, что получил от моего отца письмо, в котором тот просит его быть моим провожатым и ехать со мной в наши поместья в Арденнах. Командор передал и письмо, адресованное мне. Отец выражал в нем желание повидаться со мной, а чтобы меня не слишком пугала осень, которую предстояло провести в лесной глуши, он сообщал мне, что несколько семейств из нашего соседства решили устроить празднество в замке Обербуа в четырех лье от нас.

Речь шла ни более ни менее, как о большом костюмированном бале, и отец советовал поторопиться с приездом, если я хочу принять в нем участие.

Имя Обербуа воскресило во мне множество воспоминаний. То были слышанные в детстве рассказы о старинном заброшенном замке и о лесе, окружавшем его. В народе жило одно предание, от которого меня всегда мороз подирал по коже: будто бы в том лесу путешественников иногда преследовал некий человек гигантского роста, пугающе бледный и худой, на четвереньках гонявшийся за экипажами и пытавшийся ухватиться за колеса, причем он испускал вопли и умолял дать ему поесть. Последнему обстоятельству он был обязан прозвищем «голодный». Называли его также «священник из Обербуа». Не знаю почему, но образ этого изможденного существа, передвигающегося на четвереньках, превосходил в моем воображении все самое ужасное, что только можно было представить себе. Часто вечером, возвращаясь с прогулки, я невольно вскрикивала и судорожно сжимала руку моей няни: мне мерещилось в сумраке, будто по земле между деревьями ползет отвратительный священник.

Отец не раз бранил меня за эти фантазии, но я невольно поддавалась им. Вот и все, что относится к лесу. А что до замка, то его история в некотором смысле была связана с историей нашего рода. Во времена войн с англичанами он принадлежал господину Бертрану д'Обербуа, тому самому рыцарю, который, так и не добившись руки моей прапрабабушки, решил похитить ее силой и от одного ее взгляда сорвался с веревочной лестницы и сва-

лился в ров. Господин Бертран получил только то, чего заслуживал, ибо это был, как рассказывают, рыцарь безбожный и вероломный, исполненный всяческой *скверны*, которая вошла в пословицу. Тем замечательней бесстрашие, выказанное моей прапрабабушкой, и вы можете себе представить, насколько мне льстило, что во мне видят сходство с портретом госпожи Матильды. Вы, впрочем, знаете этот портрет, дети мои; он висит в большой зале прямо над портретом сенешаля Бургундского, вашего внучатного прадеда, и рядом с портретом сеньора Гюга де Монморанси, породнившегося с нами в тысяча триста десятом году.

Глядя на лицо этой девушки, такое кроткое, можно бы усумниться в правдивости предания или отказать художнику в умении улавливать сходство. Как бы то ни было, если я когда-то и напоминала ее портрет, теперь бы вы с превеликим трудом нашли в нем что-нибудь общее со мной. Да не об этом и речь сейчас. Итак, я сказала, что господин Бертран поплатился за свою дерзость, выкупавшись во рву нашего замка. Не знаю, исцелил ли его от любви подобный *афронт*, но говорят, что он пытался утешиться с шайкой греховодников, таких же распутников и нечестивцев, как и он сам. И он предавался *сластолюбию и чревоугодию* в обществе некой госпожи Жанны де Рошэгю, которая, дабы угодить ему, умертвила своего супруга.

Я вам, дети мои, пересказываю то, что сама слышала от няни, и пересказываю лишь затем, чтобы лучше дать понять, как меня всегда пугал этот гадкий замок Обербуа и какой диковинной мне показалась мысль — устроить там костюмированный бал.

Письмо отца причинило мне ужасное расстройство. Хотя мои детские страхи тут были ни при чем, но мне очень не по вкусу пришелся отъезд из Парижа — тем более что командор де Бельевр, как я догадывалась, в немалой степени был причастен к тому приказанию, которое он же мне и принес. Самая мысль о том, что со мной обращаются как с девочкой, возмущала меня; я догадалась, что господин де Бельевр, навязывая мне путешествие в Арденны, хотел только одного — помешать моим частым встречам с д'Юрфе. Я дала себе слово расстроить эти планы, и вот как я принялась за дело.

Когда ко мне явился маркиз, я повела с ним разговор в насмешливом тоне и дала ему понять, что, поскольку сама я покидаю Париж, а он моего благорасположения не завоевал, тем самым он может считать себя проигравшим игру.

— Сударыня,— отвечал мне д'Юрфе,— один из моих замков (так уж угодно случаю) расположен в одном лье от дороги, которой вам предстоит ехать. Смею ли я надеяться, что вы не откажете в утешении бедному побежденному и позволите оказать вам гостеприимство в пути?

— Сударь,— холодно возразила я,— как-никак это будет крюк, да к тому же — на что вам вновь встречаться со мной?

— Умоляю вас, сударыня, не доводите меня до отчаяния — не то, клянусь вам, я решусь на какой-нибудь безумный шаг!

— Может быть, похитите меня?

— Я и на это способен, сударыня.

Я громко расхохоталась.

— Вы отрицаете такую возможность?

— Отрицаю, сударь, и предупреждаю вас, что для такой затеи нужна смелость необыкновенная — ведь я поеду с командором де Бельевром и под очень сильной охраной!

Маркиз улыбнулся и замолчал.

Мне, само собою разумеется, было небезызвестно, что у господина д'Юрфе есть имение в сторону Арденн, и это обстоятельство я принимала в расчет. Однако, чтобы вы не составили себе слишком уж дурного мнения о вашей бабушке, прежде всего вам скажу, что мой вызов маркизу был не чем иным, как шуткой, и что я только хотела подразнить командора, давая маркизу случай увидеться со мной в дороге.

Если бы при всем том господин д'Юрфе отнесся всерьез к моим словам, в моей власти было бы рассеять его заблуждение, а по правде сказать, мысль о том, что меня будут пытаться похитить, не заключала в себе ничего особенно неприятного для молодой женщины, жаждущей сильных ощущений и кокетливой сверх всякой меры.

Когда настал день нашего отъезда, я не могла не изумиться, увидав, насколько меры предосторожности,

принятые командором, превосходили все то, что в те времена полагалось для путешествий. Кроме повозки, в которой помещалась кухня, имелась еще и другая — для моей постели и принадлежностей туалета. Два лакея на запятках вооружены были саблями, а мой камердинер, сидевший рядом с кучером, держал в руках мушкетон, дабы наводить страх на грабителей. Чтобы достойным образом подготовить для ночлега те комнаты, где мне предстояло отдыхать, был заранее послан обойщик, а впереди нас ехали верхом двое слуг, которые днем кричали встречным, чтобы они сторонились, а с наступлением темноты освещали наш путь факелами.

Щепетильнейшая учтивость не покидала командора в путешествии, как не изменяла она ему и в гостиных. Началось с того, что он задумал усесться напротив меня и без конца стал разводить церемонии — как это он расположится в карете рядом со мной на заднем сидении?

— Да что это вы, командор, неужели вы меня боитесь, что хотите устроиться спереди?

— Вы не можете сомневаться, сударыня, в том, что мне приятно было бы сидеть подле дочери моего лучшего друга, но я бы нарушил мой долг, если бы доставил хоть самое малое неудобство той, которую в эту минуту призван охранять!

К своей задаче — охранять меня — он относился до того сериозно, что не проходило и пяти минут, чтобы он не спросил меня, хорошо ли мне сидеть и не дует ли на меня.

— Да оставьте вы меня, пожалуйста, в покое, командор, — вы просто невозможны!

Тогда он испускал глубокий вздох и строго окликал кучера, наказывая ему — приложить все старания, чтобы избавить меня от тряски и толчков.

За день мы проезжали немного, и командор настаивал, чтобы я что-нибудь ела на каждой остановке. Помогая мне выйти из кареты, он всегда снимал шляпу, прежде чем подать мне руку, а ведя меня к столу, всякий раз рассыпался в извинениях, что кушанья здесь подаются совсем не такие, как в моем доме на улице Варенн.

Как-то раз, когда я имела неосторожность сказать, что люблю музыку, он велел принести себе гитару и ис-

полнил воинственную песнь мальтийских рыцарей с такими громовыми руладами и так выкатывая глаза, что делалось просто страшно. По струнам он ударял до тех пор, пока не порвал их. Тут он стал рассыпаться в учтивостях и замолчал.

Так как моих слуг с нами было столько же, сколько и слуг командора, то он всем приказал носить ливрею с моим гербом, чтобы не могло и показаться, будто я путешествую в его карете. Но вся эта внимательность не трогала меня, ибо в господине де Бельевре я видела не столько друга, сколько ментора и скучного педанта.

Заметив, что в карманах у него полно булавок, мотков шелка и прочих мелочей, которые могли бы потребоваться для моего туалета, я забавы ради спрашивала у него всякую всячину, будто бы понадобившуюся мне,— лишь бы застать его врасплох.

Мне это долго не удавалось.

Как-то раз я вскрикнула:

— Ах, меня мутит!

Командор тотчас же опустил руку в один из карманов, извлек оттуда бонбоньерку с какими-то лепешками и молча подал мне ее.

Другой раз я притворилась, что у меня болит голова.

Командор поискал в карманах и, достав флакон «Эликсира королевы», попросил разрешения попрыскать мне на волосы.

Я чуть не упала духом.

Наконец, мне пришло на ум сказать, что я потеряла румяна, и нетерпеливо спросила господина де Бельевра, подумал ли он захватить с собой несколько баночек.

Предусмотрительность командора так далеко не простиралась. Он густо покраснел и стал рассыпаться в извинениях.

У меня хватило злости притвориться, будто я плачу, и я сказала, что меня доверили человеку, ничуть не заботящемуся обо мне.

Я почувствовала себя наполовину отомщенной: командор счел себя опозоренным, горько загрустил и весь тот день молчал. Мне, однако, в конце концов, мало уже было и удовольствия мучить своего ментора. Не знаю, что бы я придумала еще, если бы случай иного рода не нарушил однообразие нашего путешествия.

Однажды вечером, когда мы ехали вдоль опушки леса, из-за поворота дороги внезапно появился всадник, окутанный плащом, наклонился к окну кареты и тотчас же скрылся. Все произошло так быстро, что я почти и не заметила, как всадник бросил мне на колени записочку. А командор и вовсе ничего не увидал. В записке было всего несколько строк: «В одном лье отсюда вам придется заночевать. Когда все уснут, под вашими окнами остановится карета. Если вы разбудите ваших людей, я лучше погибну у вас на глазах, чем откажусь от попытки, на которую вы меня считаете неспособным и успех которой только и придаст для меня цену жизни».

Узнав почерк маркиза, я глухо вскрикнула — командор обернулся в мою сторону.

— Что с вами, сударыня? — спросил он, крайне удивленный.

— Да ничего,— ответила я, пряча записку,— ногу вдруг свело судорогой.

Эта ложь, к которой я прибегла за тридцать лет до появления «Севильского цирюльника», доказывает вам, что она впервые пришла в голову мне, а не Бомарше, как вы могли бы подумать.

Командор тотчас же опустил руку в один из карманов, вынул магнит и подал его мне, чтобы я приложила его к больному месту.

Чем больше я размышляла о дерзости маркиза, тем больше я восхищалась его рыцарственной смелостью. Я почувствовала благодарность к моде того времени, требовавшей, чтобы женщина знатная носила в путешествии черную полумаску, ибо иначе от командора не ускользнуло бы мое волнение. Я ни одного мгновения не сомневалась, что маркиз осуществит свое намерение, и не стану скрывать, что, зная фанатизм господина де Бельевра по части долга, я в то время гораздо больше опасалась за жизнь господина д'Юрфе, чем за свое доброе имя.

Вскоре оба лакея, ехавших впереди верхом, вернулись и сообщили, что из-за повреждения моста мы не сможем отдыхать в селении, выбранном господином де Бельевром для ночлега, но что наш квартирмейстер уже приготовил ужин в охотничьем домике, расположенном

у большой дороги и принадлежащем господину маркизу д'Юрфе.

Я увидела, как при этом имени командор нахмурил брови, и испугалась, как бы он не разгадал планы маркиза.

Этого, однако, не произошло, мы доехали до охотничьего домика, а у командора никаких подозрений, как видно, не возникало. После ужина, как это и бывало каждый вечер, он отвесил мне низкий поклон, испросил разрешения удалиться и пожелал спокойной ночи.

После его ухода я отослала горничных и не стала раздеваться, ожидая скорого появления господина д'Юрфе, с которым я, впрочем, намерена была обойтись так, как он того заслуживал, стараясь, однако, не навлечь на него гнев командора.

Едва прошел час, как я услышала на дворе легкий шум. Я отворила окно и увидела маркиза, поднимавшегося по веревочной лестнице.

— Сударь,— сказала я ему,— удаляйтесь немедленно, или я позову людей!

— Сжальтесь, сударыня, выслушайте меня!

— Я ничего не хочу слушать, и если вы только попробуете войти сюда, я позвоню, клянусь вам!

— Тогда велите меня убить — ведь я же поклялся, что похитить вас помешает мне только смерть!

Не знаю, что мне было делать или отвечать, как вдруг быстро отворилось окно соседней комнаты, и в нем показался командор со светильником в руке.

Господин де Бельевр переоделся в халат темно-красного цвета, а парик сменил на остроконечный ночной колпак; теперь в его облике было что-то причудливо внушительное, он казался похож на волшебника.

— Маркиз! — вскричал он громовым голосом,— благоволите удалиться отсюда!

— Господин командор,— ответил маркиз, все еще держась на лестнице,— я счастлив видеть вас в моем доме.

— Господин маркиз,— продолжал командор,— я в отчаянии от того, что́ должен вам объявить, но если вы не спуститесь тотчас же, я буду иметь честь застрелить вас!

Тут он поставил светильник на подоконник и направил на маркиза дула двух огромных пистолетов.

— Да что вы, командор! — закричала я, высовываясь из окна.— Это же будет убийство!

— Герцогиня,— ответил господин де Бельевр, учтиво кланяясь из окна,— сделайте милость, извините меня, что я предстаю пред вами в столь неподходящем виде, но в этих чрезвычайных обстоятельствах я надеюсь на снисхождение, о котором не решился бы просить вас во всякое иное время. Благоволите также извинить меня, что на этот раз я не спешу повиноваться вам с тем слепым рвением, которое я всегда вменяю себе в закон, но ваш отец, а мой почитаемый друг, доверил вас моему попечению, и его доверие столь для меня лестно, что я готов заслужить его любой ценой, не отступая даже и перед убийством.

При этих словах командор снова поклонился и зарядил пистолеты.

— Пускай,— сказал маркиз,— это будет дуэль в новом роде!

И, не спускаясь с лестницы, он тоже вынул из кармана пару пистолетов.

— Командор,— проговорил он,— погасите светильник, ведь он делает мое положение более выгодным, чем ваше, а я не желал бы воспользоваться этим преимуществом.

— Господин маркиз,— отвечал командор,— благодарю вас за любезность и могу только порадоваться, что вижу в ваших руках пистолеты, ибо для меня было бы невыносимо стрелять в безоружного.

После этого он погасил свечу и стал целиться в маркиза.

— Да вы оба с ума сошли! — закричала я.— Вы же погубите меня — разбудите весь дом! Маркиз,— продолжала я,— прощаю ваше безрассудство с тем условием, что вы немедленно же спуститесь. Слышите, сударь, я приказываю вам спуститься!

Мой взгляд должен был дать ему понять, что всякое промедление только сильнее рассердит меня.

— Сударыня,— произнес тогда маркиз, намекая на слова, которыми мы обменялись при первом нашем знакомстве,— своим взглядом вы сбрасываете меня с лест-

ницы, но владетельная красавица Матильда может быть уверена, что рыцарь Бертран станет всеми средствами искать встречи с ней, хотя бы лишь затем, чтобы умереть у ее ног!

И, завернувшись в свой плащ, он исчез в темноте.

Командор на следующий день ни слова не проронил о случившемся, и не было у нас об этом больше речи и потом.

Когда же до замка моего отца оставалось всего только полдня пути, нас под вечер застигла ужасная гроза. Гром грохотал с неслыханной силой, а молнии следовали с такой стремительностью, что даже сквозь опущенные веки их сверкание ослепляло меня.

Вы, дети мои, знаете, что я никогда не выносила грозу. Мной овладел какой-то непонятный страх, я дрожала как лист и прижималась к командору, который счел себя обязанным принести мне извинения.

Мы двигались крайне тихо — мешали деревья, поваленные грозой на дорогу. Уже совсем стемнело, как вдруг кучер резко остановил лошадей и обратился к командору со словами:

— Виноват, сударь, я не туда заехал. Мы в лесу Обербуа, узнаю его по тому старому дубу с обрубленными ветвями!

Не успел он произнести эти слова, как удар грома потряс весь лес, молния упала у самой кареты, и напуганные лошади закусили удила.

— Матерь божия, смилуйся над нами! — воскликнул кучер, наматывая вожжи на руку. Но лошади ему уже не повиновались.

Мы неслись во весь опор, то справа, то слева о что-то ударяясь и каждый миг ожидая, что вот-вот разобьемся о деревья.

Я была ни жива ни мертва и ничего не понимала в речах господина де Бельевра, ибо к свисту ветра и раскатам грома, как мне казалось, примешивались некие странные звуки. Я уже несколько раз слышала совсем близко душераздирающие стенания, а потом раздавался вопль: «Есть хочу, есть хочу!»

Внезапно кучер, все время сдерживавший лошадей, отпустил вожжи и с страшным криком начал их хлестать.

— Жермен, негодяй! — окликнул его командор,— с ума ты сошел?

Жермен обернулся, и при свете молнии мы увидели его смертельно-бледное лицо.

— Это *священник!* — произнес он сдавленным голосом,— *священник* за нами гонится.

— Останови, дурак; твоя вина, если герцогиня голову сломает! Останови — или я тебя застрелю.

Не успел господин де Бельевр договорить, как мы почувствовали страшный толчок, меня выбросило из кареты, и я потеряла сознание.

Не знаю, сколько времени продолжался этот обморок, но очнулась я от звуков музыки, игравшей неподалеку.

Я открыла глаза, и оказалось, что кругом — лес, а я лежу на мху.

Гроза кончилась. Гром еще погромыхивал в отдалении, а на деревьях тихонько шевелилась листва, и над их верхушками проплывали облака причудливой формы. Воздух напоен был благоуханиями, от которых я вновь погрузилась бы в сладостное оцепенение, как вдруг на лицо мне упало, стекая с листьев, несколько капель дождевой воды, сразу освеживших меня.

Я села и, осмотревшись, увидела примерно в ста шагах ярко освещенные сводчатые окна. Вскоре я различила за деревьями остроконечные башенки некоего замка, который, как я тут же установила, не был замком моего отца. «Где же это я нахожусь?» — подумала я. Понемногу я вспомнила, как понесли лошади и как меня выбросило из кареты. Но в голове у меня все еще была такая слабость, что эти обрывки воспоминаний вскоре же сливались с другими мыслями, и я, очутившись внезапно в таком одиночестве, даже не удивлялась, что не вижу подле себя ни господина де Бельевра, ни кого бы то ни было из моих слуг.

Музыка, заставившая меня очнуться, все продолжала звучать. Тогда меня осенило, что, может быть, я нахожусь около замка Обербуа и что гости собрались там на тот самый костюмированный бал, о котором упоминалось в письме отца. Тут же мне припомнились и последние слова господина д'Юрфе, сказанные им в охотничьем домике, и я подумала, что при том упорстве,

с которым он всюду следует за мной, он непременно должен оказаться на этом балу.

Я поднялась и, не чувствуя ни малейшей боли, быстрыми шагами направилась к замку.

Это было обширное здание сурового облика и в значительной части разрушенное. В лучах луны я могла заметить, что стены поросли мохом и покрыты плющом, ветки которого гирляндами свисали кое-где с высоких башен, живописно раскачиваясь и темными очертаниями выделяясь на серебристо-синем фоне ночного неба.

Я остановилась, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

Мыслями я в тот миг, не знаю уж, как и почему, унеслась далеко-далеко. Передо мною, словно в свете волшебного фонаря, проносились давно забытые картины детства. С необыкновенной яркостью возникли в моей памяти отдельные черты из времен ранней моей юности. И среди этих образов я вдруг увидела мою мать, которая грустно мне улыбалась. Мне захотелось плакать, и я несколько раз поцеловала крестик, ее подарок, с которым не расставалась никогда.

Вдруг мне послышался где-то вдали голос командора, который звал меня.

Я стала прислушиваться, но тут флюгер на крыше, поворачиваясь, заскрипел, и этот звук, подобный скрежету зубов, помешал мне уловить звавший меня голос.

Я решила, что мне это померещилось, и вошла во двор. Там не видать было ни карет, ни слуг, однако туда доносились откуда-то и громкий смех, и нестройный гул голосов. Я поднялась по лестнице весьма крутой, но ярко освещенной; когда я достигла верхней площадки, в лицо мне подул холодный ветер, а в воздухе, вспорхнув, заметалась испуганная сова, ударяясь крыльями о светильники, прикрепленные к стенам.

Чтобы ночная птица меня не задела, я нагнула голову. Когда же я снова выпрямилась, передо мной стоял высокий рыцарь в полном вооружении.

Он подал мне руку, одетую в броню, и из-под спущенного забрала до меня донесся глухой голос:

— Прекрасная госпожа моя, дозвольте верному вашему слуге принять вас в своем замке и почитайте оный за вашу собственность, как и все его добро.

Я вспомнила слова, брошенные господином д'Юрфе, когда я ему приказала спуститься с лестницы, и, будучи уверена, что незнакомый рыцарь — не кто иной, как любезный маркиз, я ответила ему в том же тоне:

— Не изумляйтесь, пресветлый государь мой, что узрели меня в сих местах, ибо, заблудившись в лесу, пришла я к вам, дабы приютили меня, как всякому доброму и храброму рыцарю поступать надлежит.

Затем я вошла в обширную залу, где много было народу, и все эти люди, собравшись за накрытым столом, смеялись и пели. Одеты они все были как знатные господа времен Карла Седьмого, а так как в церкви Сен-Жермен в Оксерре я видела живопись той поры, то и могла по достоинству оценить историческую точность, соблюденную в малейших деталях их одежды. Сильнее же всего мое внимание привлекла прическа одной высокой и красивой дамы, по-видимому, хозяйки на этом пиршестве. Волосы ее были покрыты сеткой, весьма искусно и безукоризненно изящно сплетенной из золотых нитей с жемчугом. Но меня, несмотря на красоту этой женщины, прежде всего поразило злое выражение ее лица.

Как только я вошла, она с любопытством, совершенно неприличным, принялась меня рассматривать и сказала так, чтобы я могла слышать:

— Коли не ошибаюсь, так это и есть прекрасная Матильда, а за ней волочился господин Бертран, пока не узнал меня!

Потом, обратившись к рыцарю, едким тоном проговорила:

— Сердце мое, велите увести ту даму, ежели не хотите, чтобы я вас ревновала!

Шутка показалась мне весьма грубой, тем более что я не была знакома с женщиной, позволившей себе такие слова. Я хотела дать ей почувствовать все их неприличие и уже собиралась обратиться к господину д'Юрфе (на этот раз прибегая к речи более современной), но мне помешал шум и ропот, поднявшийся вдруг среди гостей.

Они что-то говорили друг другу, многозначительно переглядывались и перемигивались, указывая друг другу на меня.

Внезапно дама, заговаривавшая с рыцарем, схватила светильник и приблизилась ко мне так стремительно, что, казалось, она скорее летит, а не идет.

Она высоко подняла светильник и обратила внимание присутствующих на тень, отбрасываемую мною.

Тут со всех сторон раздались крики возмущения, и я услышала слова, которые повторялись в толпе:

— Тень-то! Тень-то! Не наша она!

Сперва я не поняла смысла этих слов, но, осмотревшись кругом, чтобы разгадать их значение, со страхом увидела, что ни у кого из окружавших меня не было тени: все они скользили мимо факелов, не заслоняя собою их свет.

Мной овладел невыразимый ужас. Чувствуя, что я лишаюсь сил, я поднесла руку к сердцу. Мои пальцы коснулись крестика, который я недавно целовала, и мне вновь послышался голос командора, зовущий меня. Я хотела бежать, но рыцарь сжал мне руку своей железной дланью и принудил меня остаться.

— Не страшитесь,— проговорил он,— клянусь погибелью души моей — не потерплю, чтобы кто обидел вас, а дабы никто и не помышлял о том, сейчас же священник благословит нас и повенчает!

Толпа расступилась, и к нам подполз на четвереньках длинный францисканец, бледный и худой.

Его как будто мучили жестокие боли, но в ответ на все его стоны дама с жемчугами в волосах как-то неестественно засмеялась и, повернувшись к рыцарю, сказала:

— Вот видите, сударь, видите, наш приор опять кобенится, как триста лет назад.

Рыцарь приподнял забрало. Лицо его, нисколько не напоминавшее д'Юрфе, было мертвенно-бледно, а взгляд носил печать такой зверской жестокости, что я не могла его выдержать. Глаза его выступали из орбит и были устремлены на меня, а приор, ползая по полу, гнусавил между тем молитвы, которые время от времени прерывались такими страшными проклятьями и криками боли, что волосы у меня дыбом вставали на голове. Холодный пот выступал у меня на лбу, но я не в состоянии была и пошевелиться, ибо своим рукопожатием господин Бертран отнял у меня всякую способность к действию, и мне оставалось только смотреть и слушать.

Когда, наконец, францисканец, обращаясь к присутствующим, стал возвещать о моем бракосочетании с господином Бертраном д'Обербуа, страх и негодование придали мне вдруг силу сверхъестественную. Сделав резкое усилие, я высвободила руку и, держа в ней крест, подняла его над призраками:

— Кто бы вы ни были,— воскликнула я,— именем бога живого приказываю вам: исчезните.

При этих словах лицо господина Бертрана совершенно посинело. Он покачнулся, и я услышала, как гулко, словно бы это был железный чан, ударились о плиты пола рыцарские латы.

В то же мгновение исчезли и все остальные призраки, налетел ветер и погасил огни.

Теперь кругом меня были развалины обширного здания. При свете луны, проникавшем в одно из сводчатых окон, мне почудилось, будто передо мной еще мечется целая толпа францисканцев, но и это видение исчезло, как только я осенила себя крестом. До меня еще донеслись замирающие звуки молитвы, еще различила я и слова: «Есть хочу, есть хочу!» — а потом уже только шумело в ушах.

Меня одолела усталость, и я впала в дремоту.

Когда я очнулась, меня уже нес какой-то человек, широкими шагами перемахивавший через пни деревьев и кусты. Я открыла глаза и при лучах утренней зари узнала командора; одежда его была разорвана и запачкана кровью.

— Сударыня,— сказал он мне, когда увидел, что я в состоянии его слушать,— если самое жестокое мгновение в моей жизни было то, когда я потерял вас, то уверяю, что ничто бы сейчас не могло сравниться с моим счастьем, если бы его не отравляла мысль о том, что мне не удалось предотвратить ваше падение.

Я ответила ему:

— Да бросьте вы сокрушаться, командор, и положите меня на землю: я чувствую себя разбитой, а судя по тому, как вы меня несете, из вас, пожалуй, хорошей няньки не получится!

— Если так, сударыня,— сказал господин де Бельевр,— то вините не мое рвение, а сломанную левую руку!

— Боже мой! — вскричала я, — как же это вы сломали себе руку?

— Когда бросился за вами, сударыня, как мне повелевал мой долг, едва только я увидел, что дочь моего почитаемого друга выпала из кареты.

Тронутая самоотверженностью господина де Бельевра, я уговорила его позволить мне идти самой. Я предложила ему также сделать из моего платка повязку, но он ответил, что состояние его не требует таких забот и что он более чем счастлив, имея здоровую руку, которой готов мне служить.

Мы еще не успели выбраться из леса, как встретили слуг с портшезом — их выслал в эту сторону мой отец, узнав о несчастном случае от наших лакеев. Сам он продолжал еще поиски в другом направлении. Вскоре мы соединились. Он, как меня увидел, очень встревожился и сразу же начал хлопотать около меня. Потом ему захотелось обнять и господина де Бельевра, с которым он не видался много лет. Но командор отступил на один шаг и сказал моему отцу тоном весьма серьезным:

— Милостивый государь и любезнейший друг! Доверив мне вашу дочь, то есть самое драгоценное, что есть у вас на свете, вы дали мне такое доказательство дружбы, которым я был глубоко тронут. Но я оказался недостоин этой дружбы, ибо, несмотря на все мои старания, я не мог помешать тому, чтобы гром напугал наших лошадей, чтобы карета разбилась, а дочь ваша упала посреди леса, где и оставалась до утра. Итак, вы видите, милостивый государь и дорогой друг, что я не оправдал вашего доверия, а поелику справедливость требует, чтобы я дал вам удовлетворение, то я и предлагаю вам либо драться на шпагах, либо стреляться; сожалею, что состояние моей левой руки делает для меня невозможной дуэль на кинжалах, которой, быть может, вы бы отдали предпочтение, но вы — человек слишком справедливый, чтобы упрекнуть меня в недостатке доброй воли, а для всякой иной дуэли я — к вашим услугам в тот час и в том месте, какие вам угодно будет указать.

Моего отца весьма удивило такое заключение, и лишь с величайшим трудом удалось нам убедить командора, что он сделал все возможное для человека в подобных

обстоятельствах и что для смертоубийства нет никаких оснований.

Тогда он с жаром обнял моего отца и сказал ему, что очень обрадован таким исходом дела, ибо ему было бы горестно убить лучшего своего друга.

Я попросила господина де Бельевра рассказать, как он меня нашел, и узнала от него, что, бросившись вслед за мною, он ударился головою о дерево и от этого на время потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что левая рука у него сломана, но это не помешало ему отправиться на мои поиски, в течение которых он неоднократно звал меня. В конце концов после долгих стараний он нашел меня в обмороке среди развалин замка и унес, обхватив правой рукой.

Я, в свою очередь, рассказала, что́ со мною случилось в замке Обербуа, но отец отнесся к моим словам так, как будто все это мне приснилось и пригрезилось. Я выслушивала его шутки, но в глубине души была вполне уверена, что видела не сон,— к тому же я ощущала и сильную боль в руке, которую своей железной дланью сжал рыцарь Бертран.

Все перенесенные треволнения так на меня подействовали, что вызвали лихорадку, которой я проболела больше двух недель.

В течение этого времени отец и командор (руку которого лечил здешний хирург) постоянно играли в шахматы у меня в комнате либо рылись в большом шкафу, набитом всякими бумагами и старинными пергаментами.

Однажды, когда я лежала, закрыв глаза, я услышала, как отец говорил командору:

— Вот прочитайте, друг мой, и скажите, что вы об этом думаете.

Мне стало любопытно, и, приоткрыв глаза, я увидела, что отец держит в руках совершенно пожелтевший пергамент с несколькими привешенными к нему восковыми печатями, какие в былое время полагалось прикреплять к парламентским указам и королевским эдиктам.

Командор взял пергамент и принялся читать вполголоса, часто оборачиваясь в мою сторону, послание короля Карла Седьмого ко всем баронам в Арденнах, коим сообщалось и объявлялось об изъятии в казну поместий

рыцаря Бертрана д'Обербуа и госпожи Жанны де Рошэгю, обвиненных в безбожии и всякого рода преступлениях.

Послание начиналось в обычных выражениях:

«Мы Карл Седьмый, милостию божиею король Франции, шлем благоволение свое всем, кто читать будет сии письмена. Всем вассалам нашим, баронам, владетельным господам, рыцарям и дворянам да будет ведомо, что чиновники наши, владетельные господа и дворяне донесли нам о бароне нашем господине рыцаре Бертране д'Обербуа, каковой рыцарь злокозненно и злонравно непокорство оказывал нам и власти нашей королевской противоборствовал», и прочая, и прочая, и прочая. Следовал длинный список прегрешениям рыцаря Бертрана, который, как было сказано, *«о благе святой церкви нашей не радел, оной не почитал, постов и вовсе не соблюдал, как если бы так и подобало, годы многие во грехах не исповедовался и плоти и крови господа нашего и спасителя Иисуса Христа не причащался».*

«И столь премерзостно сотворил выше реченный рыцарь,— гласил далее пергамент,— *что мерзостней того и сотворить невозможно, понеже в ночь успения пресвятой владычицы нашей богородицы, веселясь на пире буйном и богопротивном, господин тот Бертран рек: «Погибелью души моей клянусь! Жизни вечной не бывать и в жизнь оную не верю нисколько, а коли она есть, так я, хоть бы и душу за то отдать сатане, ворочусь через триста лет с сего дня в замок мой, дабы веселиться и пировать, и в том поклясться и побожиться готов!»*

Как говорилось далее в послании, эти дерзкие слова столь понравились прочим сотрапезникам, что все они тоже дали клятву встретиться ровно через триста лет, в такой же точно день и час, в замке рыцаря Бертрана, *за каковое деяние* они объявлялись вероотступниками и безбожниками.

Так как вскоре после произнесения столь ужасных слов рыцарь Бертран был найден *«удавленным, сиречь удушенным»* в своих доспехах, его тем самым уже не могло коснуться возмездие за совершенные преступления, но его поместия были взяты в казну, равно как и владе-

ния его доброй приятельницы госпожи Жанны де Рошэгю, которая обвинялась — милая забавница! — еще и в том, что сгубила приора одного францисканского монастыря, воспользовавшись сперва его помощью для убийства своего супруга. То, как она умертвила этого недостойного священника, было чудовищно: она велела перерезать ему оба подколенка и бросить искалеченного в лесу Обербуа, «и на сие горестно было взирать, ибо выше реченный священник ползал и корчился прежалостно, доколе не умре с голоду в том лесу».

В конце послания не заключалось ничего существенного, кроме того, что одному из наших предков повелевалось именем короля вступить во владение замками рыцаря Бертрана и госпожи Жанны.

Когда командор дочитал, отец спросил его, в какой именно день мы приехали.

— Это было в ночь на успенье божьей матери,— отвечал господин де Бельевр.— В ту ночь я имел несчастие потерять и счастие вновь найти госпожу герцогиню, вашу дочь.

— Послание помечено тысяча четыреста пятьдесят девятым годом,— продолжал мой отец,— а у нас сейчас год тысяча семьсот пятьдесят девятый. В ночь на успенье с тех пор прошло, значит, ровно триста лет. Не надо, командор, говорить про это моей дочери — пусть лучше она думает, что видела сон.

При этих словах я вся побледнела от ужаса. Отец и командор это заметили и обменялись беспокойным взглядом. Но я сделала вид, что только сейчас проснулась, и сказала, что чувствую необычайный упадок сил.

Несколько дней спустя я совершенно выздоровела.

Вскоре же я уехала в Париж опять в сопровождении господина де Бельевра. Я снова встретилась с д'Юрфе, который оказался еще более, чем прежде, влюбленным в меня, но я по проклятой привычке к кокетству держалась с ним еще более холодно, продолжая его мучить и шутить над ним, в особенности по поводу его неудавшейся попытки похитить меня.

Во всем этом я так преуспела, что в одно прекрасное утро он пришел сообщить о своем решении уехать в Молдавию — так он устал от этой игры.

Я достаточно хорошо знала маркиза и поняла, что теперь уже он не откажется от своего намерения. Удерживать его я не стала, а так как мне бог весть почему казалось, что с ним может случиться несчастье, то и дала ему — чтобы предохранить — мой крестик, который, как он мне рассказал впоследствии, спас его от страшной беды.

Через полгода после отъезда маркиза я вышла замуж за вашего деда и должна вам признаться, дети мои, что сделала этот шаг, хоть отчасти, с горя. Но все же правду говорят, что браки по любви — не самые удачные: ведь ваш дед, к которому я всегда чувствовала только уважение, сделал меня, конечно, гораздо более счастливой, чем я была бы с маркизом д'Юрфе, который, в конце концов, был всего-навсего шалопай, что, впрочем, не мешало мне находить его весьма приятным.

Конец 1830-х или начало 1840-х годов

ДВА ДНЯ В КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ

Уже около месяца жили мы на кочевке, верстах в полутораста от Оренбурга, а охота, от которой мы обещали себе столько удовольствия, почти ничего не представляла занимательного. Лето было самое жаркое, все болота высохли; со дня на день ожидали соколов, чтобы поохотиться на уток и стрепетов, но соколов не привозили, и нам оставалось только ходить с лягавой за тетеревами.

Во всяком другом месте эта охота была бы для меня занимательна, но здесь она мне скоро надоела. Кочевка расположена между высокими холмами, составляющими начало Уральского хребта и покрытыми дубняком и березником. Мимоходом можно сказать, что холмы эти совершенно между собою схожи и что ничего нет легче, как в них заблудиться. Почти все они имеют ту же оригинальную форму, почти все увенчаны стенообразным гребнем сланцеватого камня, и в каждой долине протекает небольшой ручей, с обеих сторон скрытый кустарником. Долины эти изобилуют разными ягодами, а более всего особенным родом диких вишен, растущих в высоком ковыле едва приметными кустами. Им-то, кажется, должно приписать неимоверное множество тетеревей, водящихся в этих местах. Каждый день мы стреляли штук по шестидесяти и даже по сто, но уменьшения их вовсе не было заметно. Обыкновенно мы уезжали верхами рано поутру и часа через три возвращались домой, обвешанные добычей. Каждый из нас убивал столько, что невоз-

можно было поместить всего в обыкновенном ягдташе, и, чтобы помочь этому неудобству, один опытный охотник того края изобрел ремни, которые, не занимая лишнего места, могли поместить на себе множество дичи. С начала охоты ремни эти мы носили через плечо, а под конец навьючивали ими лошадь. Случалось, что мы принуждены были воротиться единственно потому, что у нас истощался весь запас пороха и дроби. Чтобы дать некоторое понятие о числе тамошних тетеревей, я приведу только один пример. В течение часа мы однажды втроем убили шестьдесят три штуки.

Правда, что у нас была отличная собака: бедный Буффон был глух и крив, но имел такое чутье и такую стойку, каких я никогда не видывал. Я помню, однажды он стал над куропаткой. «Пиль!» — сказал я. Буффон ни с места. «Пиль, Буффка!» Буффон не шевелится. «Пиль, дурак!» — закричал я и пихнул его ногой. Буффон перекувырнулся и стал ко мне лицом, нисколько не теряя ни хладнокровия, ни стойки. Куропатка сидела между им и мною, и я поймал ее руками. Таков был бедный Буффон, но даже и без него мы бы настреляли пропасть тетеревей: стоило только отойти шагов двести от кибиток, чтобы поднять несколько выводков. Охота эта могла позабавить сначала, но у нее недоставало главной прелести охоты: ожидания неизвестного, которое так же приятно охотнику, как и игроку. Если б сей последний знал наперед, что он не может проиграть, игра для него, вероятно, лишилась бы всей занимательности. Так точно и я, уверенный заранее, что убью непременно столько-то штук, не находил в том никакого удовольствия. Тетеревиная стрельба наша напомнила мне кровопролитные охоты в немецких парках, охоты, которых, откровенно сказать, я терпеть не могу.

После этого сознания легко себе можно представить, как я обрадовался, когда пришло на кочевку известие, что за Уралом, в Киргизской степи, показались сайгаки. Я вспомнил об описаниях этого животного в натуральных историях, где об нем всегда говорится как об одном из быстрейших и недоступнейших антилопов. Некоторые из охотников, бывшие в Хивинской экспедиции, рассказывали нам, как на возвратном пути, весною, им случалось встречать сайгаков и как они тщетно стара-

лись догнать <их> лучшими скакунами. Однажды им удалось окружить целый табун и вогнать его в средину обоза, но сайгаки без всякого усилия перепрыгнули через навьюченных верблюдов и тотчас скрылись из виду.

Подобные рассказы еще более возбудили мое любопытство, и я горел нетерпением увидеть сайгака, почти не смея надеяться на удачу охоты. Целый день мы выливали пули, пробовали штуцера и делали патроны. От кочевки до Сухореченской крепости, где нам надлежало ночевать и потом переехать через Урал, было верст двести. Езда в Оренбургской губернии неимоверно быстра, степные дороги гладки, как паркет, а башкирские лошади неутомимы.

Часов в четырнадцать мы на двух тарантасах проскакали двухсотверстное пространство и еще нашли время выкупаться в Сакмаре и пообедать в одной из линейных станиц. Места, чрез которые мы проезжали, были очень разнообразны и живописны; сначала такие же холмы, как и на кочевке, потом широкие долины, Сакмара, отсвечивающая сквозь лес серебряных тополей, зеленая, цветущая степь, а вдали голубые Губерлинские горы.

Стаи витютней пролетали над нами; по дороге прохаживались степные кулики, с красным носом и красными ногами, называемые сороками по цвету их перьев; время от времени вспархивал из-под тарантаса испуганный стрепет, и поминутно выскакивали из нор своих суслики и свистели, сидя на задних лапках. На все это мы почти не обращали внимания, будучи заняты лишь мыслию о сайгаках. Часов в девять вечера мы приехали в Сухореченскую крепость и остановились у станичного атамана. Перед его домом казаки забавлялись стрелянием в цель из длинных винтовок с крошечным калибром и с присошкой о двух остриях, приделанной к ложу. Настрелявшись с ними вдоволь и выкупавшись в Урале, мы легли на дворе на свежем сене и заснули под говор атамана, рассказывавшего нам, как его взяли в плен киргизы и как он от них убежал.

Солнце едва начинало всходить, а тарантас наш уже ехал по берегу Урала, окруженный конвоем башкирцев. Переезд через реку был как нельзя более живописен. Крутые берега, утесы, тарантас, до половины колес погру-

женный в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающие кинжалы, все это, освещенное восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте не широк, но так быстр, что нас едва не унесло течением. На другой стороне степь приняла совершенно новый вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожженною солнцем травою. Степь рисовалась перед нами во всем своем необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Тысяча разноцветных оттенков бороздили ее в разных направлениях; в иных местах стлался прозрачный пар, через другие бежали тени облаков, и все казалось в движении, хотя ничего не поражало нашего слуха, кроме стука колес и конского топота. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направлению его пальца, я увидел несколько светло-желтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки. Один из нас сел на башкирскую лошадь, в надежде, что успеет как-нибудь к ним подъехать, но едва сайгаки увидели эти приготовления, как пустились бежать, несмотря, что нас разделяло несколько верст. Мы продолжали путь и вскоре стали различать кибитки, расположенные у подножия высокого и длинного утеса синего и лилового цвета, который, как я узнал после, назывался *Кук-Таш*, то есть *синий камень*, и состоял из яшмы. Тут был приготовленный для нас стан. Несколько казаков выехали к нам навстречу, и между ними хорунжий Иван Иванович, заведовавший на кочевке всеми охотами. Известия о сайгаках были самые удовлетворительные. Казаки говорили, что им нет и числа и что не помнят, когда бы их приходило на линию такое множество. Они полагали, что засухи вытеснили их из самой глубины степей и заставили искать прохлады вблизи от Урала.

Когда мы вошли в кибитку, Иван Иванович, к удивлению нашему, показал нам десять сайгачьих голов, с красивыми рогами и с безобразными горбатыми носами, напоминающими своею длиною и мягкостью носы индейских петухов.

— Что вы сделали? — сказал я ему.— Вы напугали сайгаков, они опять уйдут в степи, и вся наша охота пропадет!

— Что ж делать? — отвечал он.— Никак ребят не удержу. Еще казаков пристрастил кое-как, а башкирцев ничем не остановишь, так и рвутся! Вчера убили тридцать штук, сегодня еще не успели поохотиться; впрочем, не беспокойтесь, довольно останется для всех!

Мы хотели тотчас же ехать на охоту, но нам советовали подождать, чтобы сделалось пожарче. Поутру сайгаки бродят табунами и никого не подпускают, но к полдню они ложатся порознь, и тогда есть возможность к ним подползти. Подождав немного, мы сели на лошадей и рассеялись в степи партиями человека по четыре.

Дорогой я завел разговор с своими проводниками и спросил их: часто ли видно на линии киргизцов?

— Теперь не так часто, ваше благородие,— отвечал один из них,— а все-таки случается; и через Урал даже переходят табуны угонять!

— А как ты думаешь, увидим мы их сегодня?

— Куда! Они уже давно пронюхали, что мы на охоте, и ни одна собака сюда не покажется!

— А я слышал, что они не всегда вас боятся?

— Да, тогда не боятся, когда их десять на одного: дрянной народ, нечего сказать, а плетьми бить умеют! Меня чуть живого оставили, как попался я им, года два тому; да добро бы один бил, а то кто подъедет, тот и ударит, да один другого крепче, по чему ни попало; а сидел я на лошади нагишом; лишь только поймали, собаки, так всего и раздели дочиста. Дрянной народ, ваше благородие!

— Как же ты ушел от них?

— Двух лучших коней высмотрел, ваше благородие, да и ускакал ночью одвуконь. Два дня, почитай, скакал без остановки, на третий совсем проголодался, да не дал бог умереть: нашел мертвого сайгака, поел немного да взял с собою на дорогу, а без него пропал бы, наверно; верст было с пятьсот от линии.

— Что ж тебя заставляли делать киргизы?

— Что там заставлять? Табуны стерег, кобыл доил да сыр делал из козьего молока. Только били каждый день, собаки; да добро бы уж одни мужчины, а то и бабы и мальчишки! А плети-то у них с доброе полено!

Разговаривая таким образом, мы проехали верст десять, не встретив ничего, кроме сурков, которые, выска-

кивая из нор, стояли над ними как будто на часах, но не подпускали нас на ружейный выстрел. Изредка, как желтые точки, виднелись вдали сайгаки, но мгновенно исчезали, не давая нам даже различить их формы. Вдруг казак, ехавший возле меня, прилег к конской шее и круто повернул назад. Я и другие казаки последовали его примеру.

— Слезайте проворнее! — сказал он мне,— вон, за этим бугром, лежат сайгаки! Ты, Решетаев, оставайся с лошадьми да поглядывай по сторонам, а вы ложитесь на землю и ползите за мною.

Мы оба легли на землю и начали ползти на локтях и на коленях. В одной руке у меня была тяжелая одноствольная винтовка, в другой не менее тяжелое двуствольное ружье, заряженное картечью.

Глинистая, засохшая почва, уж и без того жесткая как камень, была еще покрыта маленькими острыми камешками, которые причиняли мне ужасную боль; солнце жгло мою спину как будто огонь, и пот градом с меня катился. Несмотря на то, я полз, не останавливаясь; но, не предвидя этому конца, спросил тихонько у казака: где лежат сайгаки?

— А вот, изволите видеть кустик с красными ягодами?

— Вижу.

— А там, полевее, прямая травинка?

— Вижу; так что ж?

— Следите глазом все прямо между ягодами и травинкой; ступенях в пятидесяти оттоль торчит как будто сучок: то сайгачьи рога.

Я напряг свое зрение и действительно увидел что-то похожее на сучок.

— Скоро ли мы туда доползем? — спросил я.

— А вот надобно дать немного круга, чтоб подлезть из-под ветра, а то как раз почуют. Да не извольте головы подымать, ваше благородие, тотчас заметят!

Мы опять стали ползти и описали такой большой круг, что я почти выбился из сил.

— Теперь уж близко! — сказал казак,— шагов сто, не больше! Не подымайтесь на коленях, ползите на брюхе! Да ради бога, тише, не стучите ружьями о землю!

Я совсем растянулся и полз, как лягавая собака.

— Что, скоро ли?

— Тс! вон, стал голову подымать, что-нибудь да заметил... ради бога, тише... ну, теперь пора!.. Кладите ружье ко мне на плечо!..

Не успел я взвести курка, как сайгак вскочил и вихрем умчался в степь. Другие, лежавшие вблизи, последовали за ним.

Казак и я посмотрели друг на друга, встали на ноги и побрели навстречу к лошадям.

— Я вам говорил, что надобно более нагибаться! — сказал он, покачивая головой.

Мы пустились рысью, и вскоре Репников (так звали казака) опять увидел сайгаков.

Этот раз мне удалось доползти к ним шагов на восемьдесят, но руки мои дрожали, пот катился в глаза и мешал мне смотреть, я целился минуты с две, наконец выстрелил и дал промах. К счастию, сайгак нас не увидел; он вскочил, посмотрел на все стороны, отошел шагов на сорок и опять лег. Я лежа зарядил ружье, подполз опять на выстрел, но, прежде чем стрелять, отдохнул несколько минут, не спуская с глаз сайгака. Я мог различить его большие, красиво выгнутые рога с черными кончиками, глубокие морщины на горбатом носу и огромные раздутые ноздри, которыми он шевелил во все стороны.

Когда я собрался стрелять, сердце мое так сильно забилось, что мне казалось, будто сайгак услышит его стук. Я вынул из-за пояса ятаган и воткнул его в землю; потом с величайшею осторожностью положил на него винтовку и крепко прижал ее к плечу. Мне видна была только голова и шея. Я прицелился в шею и, удержав дыхание, тронул шнеллер.

Сначала ничего нельзя было различить за дымом, но, когда я встал и посмотрел вокруг себя, сайгака нигде не было.

Я побежал вперед, и кто опишет мою радость, когда он представился моим глазам, лежащий с простреленною шеей: я попал как раз куда целил!

Казаки скоро ко мне подоспели, сайгака выпотрошили и привязали за седло. Он был ростом более дикой козы, светло-бурого цвета и с шестнадцатью кольцами на рогах.

Эта удача нас развеселила. Мы поскакали далее, соображая направление пути с течением солнца. Я опять вступил в разговор с казаками.

— Правда ли,— спросил я между прочим,— что киргизцы переносят боль с необыкновенным терпением и никогда не жалуются, как бы тяжело они ни были ранены?

— Правда, ваше благородие,— отвечал Репников.— Намедни я откусил одному киргизцу ухо, так нисколько и не поморщился, собака!

— Откусил ухо! — вскричал я.— Каким это образом?

— Да вот будет скоро две недели, как они угнали ночью табун из станицы. Мы собрались сам-восемь и пустились в погоню. Едем час, едем другой, не видать ничего; а след на солончаках знатен, ошибиться нельзя. Что за черт! По моему расчету, нам бы давно пора их увидеть: след идет небольшой рысью, а мы едем верст по пятнадцати на час. «Смотрите, ребята,— говорю я,— тут какая-нибудь да штука,— они, должно быть, запали вон в той лощине. Ступайте шагом да приготовьте винтовки,— мне что-то сдается, что они выскочат, собаки, вон из-за этого камня!» Не успели мы еще поравняться с камнем, как слышим: ззз!..— и стрела воткнулась мне прямо в ногу. Тут как завизжат они да как посыплются один за другим из-за камня, я думаю, человек с двадцать пять было, все с копьями, да еще двое панцирников! Ребята было смешались, да я говорю: «Не робеть!» Вытащил стрелу из ноги, соскочил с коня, приложился, бац! Так один и покатился. Решетаев ссадил другого, а они, шельмы, как увидели, что мы стоим за себя, повернули коней, да и давай тягу!

— Ну, братцы,— говорю я,— теперь за ними! — Тут ребята ударили на мошенников, кто кого догоняет, а Решетаев гонится за панцирником. Уж он было доставал его плетью, вдруг тот в сторону. Я вижу, что уйдет, разбойник, а панцирь на нем рублей во сто, я и стал норовить наперехват. Под ним конь хорош, а подо мной лучше. Скачем, скачем, только тот как обернется на всем скаку да как пустит стрелу прямо в горло моему коню, так у него и дух вон; покатился, сердечный, и я вместе с ним. Досадно стало, да и коня, признаться, жаль.

«Не упустить же разбойника!» — говорю я. Взял у товарища коня, да и давай опять догонять, собаку. Только куда! Пока я поднялся на ноги, тот уж успел ускакать чуть ли не на версту, а я остался за всеми последний. Смотрю, он скачет ровным бегом, что стрела летит, а Решетаев чем дальше, тем более отстает. «Эх, жаль, уйдет!» — думаю я, только, глядь, лошадь его как летела, так со всех ног и ударилась о землю: знать, наткнулась на сурочью яму. Тут Решетаев с ребятами навалились на молодца и скрутили ему руки, а я как подскакал к ним да как увидел эту киргизскую рожу, так сердце и закипело,— бросился на него и отхватил зубами ухо...

Тут рассказчик остановился и, заслонившись рукою от солнца, начал всматриваться в даль.

— Э, э, э! — сказал он,— да их тут несколько сотен!

— Кого? — спросил я,— киргизов?

— Нет, сайгаков! — отвечал он.

В самом деле, последовав направлению его нагайки, я увидел множество светло-желтых точек, которые с разных сторон бежали к зеленой полосе; ясно отделявшейся от бурого цвета степи. Зеленою полосою казались издали берега небольшого ручья, впадающего в Урал. Сайгаки, мучимые жаром, бежали на водопой.

— Что? — спросил я,— убьем ли мы хоть одного из них?

— Нет,— отвечал Репников,— кабы заранее залечь в траве, так, может, и набежал бы один-другой, а теперь не подъехать.

Число сайгаков приметным образом увеличивалось. Они бежали к ручью огромными стадами. Чем более я всматривался в даль, тем более открывал их на горизонте: они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятиверстного пространства вокруг нас, была ими покрыта. Я думаю, тут было несколько тысяч.

— Экое богатство! — говорили казаки.— Видит глаз, да зуб неймет!

Между тем мы ехали далее и вскоре наткнулись на лежащий табун. Вероятно, его уже прежде нас подсмотрела другая партия, ибо мы увидели верстах в двух четырех всадников, осторожно объезжающих холм, на котором лежали сайгаки; но мы были к ним ближе и к тому ж под ветром. Я слез с лошади, начал было

ползти, но сайгаки тотчас вскочили, не допустив меня на несколько выстрелов. Охотники другой партии поскакали, чтобы перерезать им дорогу, а мы погнались за ними с другой стороны, так что они бежали между двумя партиями, как будто в клещах.

Мы были от них довольно далеко и не имели никакой надежды догнать их; но товарищи наши, скрытые холмом, успели их перехватить. Табун остановился, и нам видно было, какое произошло в нем смятение. Старый самец, бежавший впереди, бросился было в сторону, но один из охотников соскочил с лошади и застрелил его на лету в то самое время, как он делал отчаянный прыжок. Выстрел этот возбудил удивление казаков, никогда не стреляющих иначе, как с подлаза, и то с помощью приделанных к их ружьям присошек.

— *Джигит! Джигит!* — закричали они, посматривая друг на друга, то есть молодец, молодец! Здесь можно заметить, что татарский язык употребляется у казаков линейных станиц почти столько же, как и русский, а мои проводники беспрестанно на нем болтали.

Мы съехались с своими товарищами, сравнили наших сайгаков и нашли, что убитый ими гораздо более моего. Между тем солнце так пекло и мы чувствовали такую жажду, что решились воротиться в свои кибитки.

Охотник, застреливший сайгака, убил дорогой сурка из винтовки. Бывший с ним калмык тотчас слез с лошади, чтобы его взять.

— Что это, самец или самка? — спросил мой товарищ.

— *Жеребец,* ваше благородие! — отвечал калмык, сняв фуражку.

Мы от души захохотали, и кто видал смешную фигуру сурка, тому этот ответ, вероятно, покажется столь же забавным, как и нам.

— Смотрите, ваше благородие! — сказал мне Репников.— Ведь калмык теперь подобрал сурка, а потом его съест. Это такой народ,— хуже киргизцов, всякую гадость едят, а еще называют себя христианами!

И казак, незадолго перед тем откусивший киргизское ухо, с омерзением плюнул в сторону.

Мне также удалось заслужить название *джигита*, застрелив пулей, на довольно большом расстоянии, си-

дячего *карагуша*, род орла, которого бывшие с нами башкирцы тотчас ощипали, чтобы перьями его оклеить себе стрелы.

Когда, после продолжительной езды, мы увидели вдали свои кибитки, то, вместе с ними, нам представилось необыкновенное и великолепное зрелище. Вместо степи, сожженной солнцем, у подножия синего утеса Кук-Таш расстилалось прекрасное озеро, отражавшее, как светлое зеркало, и утес, и расположенные близ него кибитки.

— Что это за озеро? — спросил я с удивлением,— это не наши кибитки?

— Наши! — отвечали, смеясь, казаки.— Это не озеро, а *марево* [1].

Несмотря на это объяснение, я не мог поверить, что вижу не что иное, как призрак; и мне казалось, что я различаю все оттенки воды и отраженных в ней облаков. Я поскакал прямо к кибиткам; но по мере того, как к ним приближался, вода делалась все более и более прозрачною, превращалась в струящийся пар и наконец совсем исчезла.

В кибитках был приготовлен для нас вкусный обед; но мы предпочли пить чай. Никогда я не забуду, с каким удовольствием выпил я одиннадцать стаканов горячего чаю, несмотря на то, что на мне не было ни одной сухой нитки и что даже в тени было более тридцати градусов.

Остальную часть дня мы провели в бездейственном отдыхе. Рассеянные партии возвращались одна после другой; но башкирцы остались в степи и приехали только поздно вечером, обремененные добычей. У многих было по два, а у иных даже по три сайгака за седлом. Всего-навсе в этот день было убито более пятидесяти штук, а всех нас было только сорок человек.

Бо́льшая часть наших оренбургских охотников, утомленных ездою и ползанием, в тот же вечер уехали на кочевку; но я остался, чтобы еще на другой день поохотиться с казаками.

Целую ночь перед кибиткою горел костер из сухой травы и привезенного нами хвороста. Казаки окликали друг друга на пикетах. Звезды сквозь круглое отверстие ки-

---

[1] Известное явление, которое французы называют *mirage*.

битки смотрели мне прямо в лицо; но ни поэтический свет их, ни треск пылающего хвороста, ни клики казаков не помешали мне заснуть крепким сном. Я спал как убитый и проснулся только тогда, как солнце было уже высоко и наставало время ехать на охоту.

Репников с своими товарищами повели меня этот раз по другому направлению. Опять я увидел тысячи сайгаков, опять имел случай любоваться чудесным освещением и бесчисленными оттенками степи; но места, по которым мы проезжали, являли более разнообразия, чем вчера. Холмы были выше, лощины глубже, а местами синели обломки яшмовых утесов или краснели большие груды железняка. Но, кроме редкой сожженной травы, мы ни вчера, ни сегодня не встречали никакого следа прозябения.

После долгой езды и многих неудачных попыток я застрелил одного сайгака с подлаза, а другого, раненного казаком, мы догнали на лошадях. Довольные этой добычей, мы уже возвращались домой, как увидели вдали большой бегущий табун.

Репников несколько секунд следил за ним взглядом, ударил коня и поскакал совсем в другое направление, сказав только: «За мной, не отставайте!»

Мы примчались к глубокому оврагу, бросились на самое дно и продолжали скакать во весь опор, не обращая внимания на большие острые камни, лежавшие на дороге. Овраг, похожий на узкий коридор, поворачивал то направо, то налево и, наконец, начал постепенно уравниваться с поверхностью земли. Как скоро она стала видна, Репников велел нам слезть с лошадей и бежать за ним пешком, согнувшись как можно более.

Таким образом мы достигли до утеса, из-за которого могли свободно обозревать степь, сами не будучи видимы. Чего ожидал Репников, то и случилось. Не прошло двух минут, как показались сайгаки, бегущие рысью прямо на нас. Впереди их был прекрасный самец с большими лирообразными рогами нежного желтого цвета, которые на солнце казались прозрачно-золотыми. Он раздувал широкие ноздри и подымал голову кверху, как будто чуя опасность.

Мы притаили дыхание и взвели курки. Когда табун, шагах в шестидесяти, поравнялся с утесом, я приложил-

ся и выстрелил в передового сайгака. Он перевернулся колесом и упал вверх ногами. Весь табун взволновался, поднялась ужасная пыль и скрыла его на минуту. Казаки также выстрелили по бегущему табуну, но дали промах. У меня еще оставалось двуствольное ружье, заряженное картечью. Я выстрелил из обоих стволов, почти не надеясь на удачу. Табун продолжал бежать, но один сайгак отделился от прочих и бросился в сторону. Он бежал скоро, но по временам спотыкался, взрывая облака пыли.

— Подбит, подбит! — говорили казаки, смотря ему вслед.

Мы сели на лошадей, оставили одного казака, чтобы взять убитого сайгака, и пустились догонять раненого. Вскоре мы его настигли, и Репников, подскакав к нему сбоку, убил его наповал одним ударом нагайки.

Этот случай дал ему повод рассказать мне, каким образом башкирцы и киргизцы ездят осенью на волков. «Лишь только упадет пороша,— говорил он,— они садятся на коней и ищут волчьего следа. Попав на тропу, они едут ею до тех пор, пока не увидят зверя; а как скоро он покажется, то преследуют его *в узерку* небольшою рысью. Сначала зверь бежит скоро, иногда даже скрывается из виду, но мало-помалу устает, останавливается и оглядывается на охотников. Случается, что они таким образом едут верст пятьдесят. Наконец волк выбьется из сил, высунет язык и пойдет шагом: тогда охотники к нему подскакивают и убивают его нагайками. Удар по носу считается вернейшим».

Разговаривая про киргизцов, про степь и охоту, мы приехали к своим кибиткам. Вскоре возвратились и прочие стрелки, а как накануне прибыл в стан *дистаночный начальник* с тридцатью новыми казаками, то и добыча этот раз была гораздо более. Несмотря на то что охота кончилась ранее вчерашнего, мы застрелили с лишком сто сайгаков.

Обед наш состоял большею частью из сайгачины. Мясо это довольно вкусно и несколько похоже на баранину; но я ел его не без отвращения: у всех сайгаков под кожей на спине были большие белые черви; и хотя места эти тщательно вырезывались, но мысль о них не придавала особенного вкуса ни соусу, ни жаркому. Чер-

ви эти происходят от яиц, которые кладут к ним в шерсть какие-то насекомые. Все кожи, нами снятые, были на спине как будто прострелены крупною дробью; но зимою у сайгаков червей не бывает.

После обеда началась между башкирцами стрельба из лука, борьба и пробование силы. Мне удалось, на расстоянии пятидесяти шагов, пронзить стрелою татарскую шляпу; но после этого случайного выстрела я не переставал давать промахи. В борьбе, требующей столько же силы, сколько и ловкости, башкирцы без труда бросали меня на землю, так же как и казаков; но в пробовании силы я несколько раз одерживал над ними верх. и они меня честили именем *джигита*. Когда настала ночь, мы все вместе отправились верхами в Сухореченскую крепость. Казаки затянули песни, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском... Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянною удалью и время от времени были приправляемы такими энергическими словами, каких нельзя и повторить. Поезд этот запечатлелся в моей памяти со всеми его подробностями.

Как теперь вижу я небо, усеянное звездами, и степь, похожую на открытое море; как теперь слышу слова:

Дай нам бог, казаченкам, пожить да послужить,
На своей сторонушке головки положить!

Слышу глухой топот и фырканье коней, бряцание стремян, шум и плеск воды, когда мы переезжали через Урал...

На другой день мы прибыли опять на кочевку; началась наша прежняя тихая жизнь, стреляние в цель, и купанье, и бесконечная тетеревиная охота.

<1842>

ВОЛЧИЙ ПРИЕМЫШ

1839 года, весною, был я свидетелем такого странного случая, какому в летописях охоты едва ли отыщется подобный. В Черниговской губернии, Мглинского уезда, в селе Красном Рогу лесничие донесли мне, что нашли убитую волчицу. Охотиться без ведома моего у меня запрещено, и я тотчас отправился в означенное лесничими урочище удостовериться, не чужими ли охотниками убита волчица.

При осмотре оказалось, что она не застрелена, но зарублена топором или другим каким-нибудь острым орудием; сосцы ее наполнены были молоком, и по всему было видно, что она недавно издохла. Я упоминаю об этих подробностях не потому, что считаю их важными, но чтобы не пропустить ни одного из обстоятельств, сопровождавших необыкновенное явление, которое мне случилось видеть.

Переворачивая волчицу с боку на бок, услышал я недалеко от себя сильный писк и вскоре заметил, что он выходит из волчьей норы или (по тамошнему местному выражению) *язвы*. Бывшие со мной охотники, по приказанию моему, раскопали *язву* и вытащили из нее, одного за другим, шесть маленьких, едва прозревших волчат. Я уже хотел удалиться с этой добычей, как услышал в той же *язве* еще другой, совсем особенный писк. Мы продолжали копать и, к величайшему удивлению своему, нашли в самой глубине маленькую лисичку, которая казалась немного старше волчат и была почти одного

с ними роста. Я пустил всех семерых на землю, возле убитой волчицы, и они все семеро стали по ней ползать.

Волчата и лисичка жили у меня довольно долго в большой дружбе; они ели и спали вместе. Иногда только лисичка, будучи старше и проворнее, обижала волчат.

Сколько я ни старался узнать, каким образом она очутилась в волчьей норе, я не мог придумать для сего удовлетворительного истолкования. Ясные признаки показывали, что нора была первоначально лисья. Известно, что волки часто выгоняют лисиц из их жилищ и сами селятся на их месте.

Может быть, волчица изо всех маленьких лисичек, бывших в завоеванной норе, выбрала одну и вскормила ее с своими детьми; может быть, она пощадила ее по ошибке; может быть еще, она нарочно оставила всех найденных ею лисичек, вскармливала их собственным молоком и сама понемногу ими питалась. Предоставляю естествоиспытателям и старым опытным охотникам решение этого вопроса.

Кем и как была убита волчица, осталось мне также неизвестным.

<1843>

АРТЕМИЙ СЕМЕНОВИЧ БЕРВЕНКОВСКИЙ

Я вспомнил, как двадцать лет тому назад, когда я спешил по большой дороге в Кириллов, передняя ось моей брички переломилась, и я принужден был остановиться. Оглядываясь во все стороны, в надежде найти какое-нибудь пристанище, увидел я верстах в двух от дороги какое-то странное здание, похожее на ветряную мельницу, но необыкновенно сложного механизма. Я направил к нему шаги и вскоре очутился перед красивым господским домом со многими флигелями и пространным садом; тут же показалось мне скрытое дотоле высоким холмом красивое село. Странное здание непонятной архитектуры находилось на самом холме, в близком расстоянии от дома. Старый дворецкий, стоявший у входа, сказал мне, что имение это принадлежит Артемию Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя — послать людей для починки брички — тотчас была исполнена; но когда я спросил: нет ли в селе постоялого дома, где бы мне остановиться, дворецкий всплеснул руками.

— Батюшки! — вскричал он,— да господский-то дом на что? Да Артемий Семенович меня изволит прогнать впозатыльцы, если я вас теперь отсюда выпущу. Нет, сударь, извините, а уж вы у нас должны денька два погостить.

— Как,— спросил я, удивленный таким радушным приемом,— да ты меня, верно, за кого-нибудь другого принимаешь?

— Как за другого? — сказал старик, и морщины его лица несколько сгладились под добродушной улыбкой.— Да за кого ж другого мне вас принимать, сударь: ведь вы, верно, проезжий?

— Именно проезжий.

— Так уж не прогневайтесь, а у нас такой обычай: извольте недельку здесь прожить, а потом, пожалуй, ступайте себе с богом!

Я попросил, чтоб обо мне доложили хозяину.

— Вот-та! — сказал дворецкий,— что ж тут докладывать! Ступайте себе в гостиную; только теперь Артемий Семенович изволят гулять нагишом, так не угодно ли отдохнуть на диване или чего-нибудь покушать? Они скоро воротятся.

— Артемий Семенович гуляет нагишом?—спросил я.

— Точно так,— отвечал хладнокровно дворецкий.

Я невольно засмеялся; но дворецкий продолжал, как будто ничего не замечая:

— Теперь четверть шестого. До шести часов Артемий Семенович будет гулять; от шести до половины <седьмого> они изволят кричать; а потом,— прибавил дворецкий с тяжелым вздохом,— они будут заниматься механикой.

— Как? — спросил я с возрастающим любопытством,— Артемий Семенович кричит всякий день от шести часов до половины седьмого: ровно полчаса?

— Не всегда, сударь; иногда они изволят кричать целый час, но только в сырую погоду.

— Но разве,— спросил я, несколько запинаясь,— Артемий Семенович немного... того? — Я повертел пальцем над головою.

— Что вы, что вы, батюшка! бойтесь бога! что вы это говорите... еще этого нам недоставало!..— И на глазах старика навернулись слезы.

«Чудак же твой барин!» — подумал я.

Мы вошли в гостиную. Дворецкий меня оставил и побежал за чаем, а я подошел к окну. Оно отворялось в сад. Не прошло пяти минут, как мимо окна пробежал человек средних лет, которого вся одежда заключалась в парике и в башмаках; у него, сверх того, были часы на золотой цепочке. Увидев меня, он мне дружески кивнул головою и сделал рукою успокоительный знак, как

будто говоря: не беспокойтесь, любезный друг, я скоро возвращусь.

Он исчез между деревьями; но через несколько времени явился с противоположной стороны, прикрывая этот раз наготу свою большим подсолнечником. Он вторично пробежал мимо окна, кивнул мне головою и скрылся. Явление это повторялось довольно часто. Наконец Артемий Семенович остановился, посмотрел на часы и стал кричать самым ужасным голосом. Я думал, что весь дом сбежится на его крик, и сам не мог утерпеть, чтоб не двинуться вперед, спеша к нему на помощь; но Артемий Семенович сделал известный уже мне успокоительный знак рукою и продолжал кричать. Иногда он посматривал на часы и наконец замолчал, почти выбившись из сил. Кряхтя и запыхаясь, вошел он в комнату, бросился в мои объятия и крепко прижал меня к сердцу.

— Извините,— сказал он,— извините, почтеннейший, что заставил вас так долго дожидаться! Не угодно ли вам чаю или не прикажете ли чего другого? Ух, уморился! Трепетинский! — продолжал он, обращаясь к вошедшему с подносом дворецкому,— давай скорей чаю! Что ж это ты, братец, голодом моришь дорогого гостя! Ух, устал! Ух, боже мой!.. Не сердитесь, почтеннейший, дайте дух перевести!

— Несу, сударь, несу! — отвечал Трепетинский, ставя на стол поднос с чайным прибором,— несу, батюшка, несу, несу!

Между тем Артемий Семенович осыпал меня учтивостями и расположился возле меня на диване. Он был высокого роста, хорошо сложен и глаза имел быстрые и умные.

— Представьте себе, почтенный друг,— сказал он, скрестив одну ногу на другую и облокотясь на подушки дивана,— представьте себе, что я этак каждый день осужден утомляться! Боже мой! что за жизнь, что за жизнь, как подумаешь...

— Но позвольте спросить,— заметил я,— для чего вы...

— Для чего? Для здоровья, почтеннейший, для здоровья! Человеку нужен моцион, вольный воздух, регулярная жизнь. Сильный крик расширяет легкие,— это

всякий знает, но никто на это не обращает внимания. Когда вы у меня несколько поживете, мы будем вместе бегать в саду и кричать: вы увидите, как это полезно.

— Покорно благодарю,— сказал я,— но мне никак нельзя остаться у вас долее завтрашнего дня; я так спешу...

— Пустое, почтеннейший, пустое! Мне еще нужно обо многом с вами потолковать. Вот, например, что вы скажете об этом?

Тут Артемий Семенович отворил большой шкаф и стал вынимать из него какие-то запыленные модели, похожие на то необыкновенное здание, которое я видел на холме возле дома. По мере того как он вынимал эти модели, он ставил их на стол *под ранжир* и вскоре совсем его загромоздил.

— Что это такое? — спросил я.

— А как бы вы думали? — сказал Артемий Семенович.

— Мельница?

— Как бы не так!

Тут вошел Трепетинский с какими-то наливками; увидел модели, вздохнул и печально покачал головою.

— Это, сударь мой,— продолжал с довольным видом Артемий Семенович,— это, сударь мой, коли вы слыхали, всё разные *перпетуум мобиле!*

Я не мог утерпеть, чтоб не улыбнуться.

— Мне кажется,— сказал я,— что *перпетуум мобиле* значит вечное движение; а модели ваши стоят неподвижно.

— Вот то-то и штука,— отвечал Артемий Семенович, нисколько не смешавшись,— они стоят неподвижно, потому что я еще не отыскал для них удобного движителя; но дайте срок, у меня здесь (он ударил себя по лбу), у меня здесь сидит такая выдумка, о которой вскоре заговорят в Европе! A propos[1], <вы сочинитель>?

— Нет, я живописец.

— Живописец! — вскричал радостно Артемий Семенович.— Пойдемте со мною.

---

[1] Кстати *(франц.)*.— *Ред.*

Он схватил меня за руку и потащил в другую половину дома. Она была убрана прекраснейшими картинами италиянской и фламандской школы. Артемий Семенович начал говорить о живописи, и я был удивлен его здравым суждением и глубокими познаниями. Он говорил с жаром истинного любителя; но заключение его разговора меня удивило.

— Все это, однако,— сказал он,— дрянь в сравнении с механикой! Я вам сейчас покажу изобретенную мною водочистительную машину.

Он схватил меня за руку и опять потащил за собою.

— Посмотрите,— сказал он, подымая крышу машины,— посмотрите, какая в ней грязная вода. Я нарочно велел влить в нее воды погрязнее. Теперь смотрите, какая выйдет вода из крана: кристалл, чистый кристалл!

Он повернул кран, но из него выбежала такая же грязная вода, какая была в машине.

— Это ничего,— сказал Артемий Семенович,— если ее раза два процедить, она будет совершенный кристалл! Но не хотите ли посмотреть на мой вертел?

Мы пошли в кухню. Какие-то колеса и шестерни сцеплялись вместе и занимали почти всю комнату. Три человека с большим трудом вертели огромный цилиндр и приводили в движение железный прут, на котором перед огнем жарился цыпленок.

— Каково? — сказал хозяин дома, потирая руки.

— Кажется,— заметил я,— механизм немного сложен. Этим бедным поваренкам, должно быть, несколько тяжело!

— Помилуйте! тем лучше, что тяжело. Моцион, почтеннейший, моцион! О! у меня ничего не забыто, одно истекает из другого. А посмотрите-ка сюда: пока цыпленок жарится, здесь сбивается масло, а тут рубится зелень. У меня на риге есть веялка, которая вместе и веялка и орган! Но это еще ничего; пойдемте-ка в мою спальню. Что, вы думаете, это такое?

— Треугольная шляпа?

— Совсем нет: рукомойник! А это?

— Скрыпка.

— Как бы не так! Это дорожный ящик с бритвами. А это?

— Пистолет.

— Хорош пистолет! Это черница, чернильница, милостивый государь, чернильница!

Артемий Семенович еще много показывал мне предметов вроде скрыпки и рукомойника. Когда подали ужин, он наскоро надел парик и шитый кафтан и сел со мною за стол. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была устроена вроде вертела, но ужин показался мне отличным. Артемий Семенович был очень веселого нрава. Он много в своей жизни читал; знал несколько иностранных языков, и разговор его, когда он не касался механики, был как нельзя более занимателен.

Мы расстались уже поздно. Отведенная мне комната была чиста и покойна; белье на постеле тонко и бело; перина раздувалась очень приманчиво; но, признаюсь, я лег на нее не без боязни: мне казалось, что при первом прикосновении она превратится или в воздушный шар, или в какую-нибудь водочистительную машину. Опасение мое, однако, было напрасно, и я уже предавался приятному сну, как меня разбудил вошедший на цыпочках Трепетинский.

— Извините, сударь,— сказал он,— я пришел просить вас о важном деле!

— Меня?

— Да; о таком важном,— продолжал старик, упав на колени и целуя мою руку,— о таком важном, что я отдал бы остаток жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу.

Я смотрел на него с удивлением.

— Вот, извольте видеть, сударь,— продолжал он,— прогневили мы, видно, господа бога! Покойный Семен Артемьевич,— дай бог ему царство небесное,— оставил нам именьице порядочное: семьсот душ, батюшка, да капиталу тысяч триста в ломбарде; кажется, всего довольно! Только уж разорит нас проклятая механика, вижу, что разорит! Особливо эти распроклятые *петумебели*, провалиться бы им сквозь землю, прости меня господи! Знаю, батюшка, что грешу, а не могу не ругать этих *петумебелей!* Не знаю, кто их выдумал! Виданное ли это дело, сударь, чтоб молодой, богатый барин день и ночь просиживал над этими колесиками? и какой от них прок? Уж добро бы Артемий Семенович делал ма-

шинки для воды или вертелы, ну, скажут, страсть,— вот и все! А то что за *петумебели?* к чему они? Да уж пусть бы они делали одни маленькие, а то изволили видеть,— на горе стоит, словно мельница ветряная.

— Как,— спросил я,— и это...

— И это *петумебель,* и в селе есть *петумебель,* и в хуторе *петумебель,* и везде-везде *петумебели!* Сто тысяч на них убили! сто тысяч, батюшка, легко сказать! Ах, боже мой, боже мой! прогневили мы господа!..

Старик закрыл лицо руками и горько заплакал.

— Что же ты хочешь, чтоб я сделал?

— Батюшка! — вскричал Трепетинский,— отец родной! сделайте божескую милость, уговорите Артемия Семеновича, чтоб они бросили свою механику. Не доведет она нас до добра, ей-богу, не доведет! Пусть лучше играет он в карты, прости меня господи! Пусть заведут псовую охоту или что другое, только не механику! Артемий Семенович вас полюбили, я по всему вижу; может быть, они вас послушаются; а коли послушаются, так я вам буду вечный слуга, и бог наградит вас на том свете!

Я обещался бедному старику исполнить его просьбу. Он вышел, осыпая меня благодареньями; но через несколько времени опять воротился.

— Уж если,— сказал он, всхлипывая,— вам не удастся уговорить Артемия Семеновича, чтоб они совсем бросили механику, так пусть, по крайней мере, обещают вам делать одни только *сюрпризы.* Мало ли какие можно выдумать? Намедни они изволили сделать сапоги с флейточками: как наденешь, так и заиграют; это, по крайней мере, *сюрприз.*

И старик вышел, утирая глаза кулаками.

На другой день, за кофе, я покусился было уговаривать Артемия Семеновича, но он меня перебил:

— Вы видите этот кофейник? — сказал он.— Я изобрел его в прошлом году и довольно над ним промучился; зато посмотрите, какой кофе!

К несчастию, кофе никак не хотел протекать, и Артемий Семенович принужден был велеть подать обыкновенный кофейник. Впрочем, это его нисколько не смутило.

— Надобно будет,— сказал он,— придумать только третье сито. Я уж знаю, как это сделать, и тогда вы увидите, что будет за кофейник!

После кофе Артемий Семенович повел меня в село и заставил любоваться на крыши, построенные таким образом, что они при первом толчке распадались на части. Это, говорил Артемий Семенович, сделано на случай пожара. Правда, что во время дождя сквозь крыши эти вода протекает прямо в хаты; но Артемий Семенович говорил, что это ничего и что свежесть воды весьма полезна для здоровья.

Таким образом, добрый мой хозяин толковал в свою пользу все неудобства, сопряженные с его выдумками. От крыш пошли мы смотреть мельницу, и тут-то изобретательный ум Артемия Семеновича показался во всем своем блеске. Ничто в его мельнице не походило на обыкновенную: жернова, вместо того чтобы лежать горизонтально, стояли перпендикулярно; водяное колесо снабжено было каким-то черпательным снарядом, потому что Артемий Семенович хотел, чтоб оно вместе и мололо, и проводило воду в какой-то отдаленный хутор, который, впрочем, в воде не нуждался.

— Видите этот пруд? — сказал Артемий Семенович,— хотите, я в две минуты его выпущу?

Он дернул за веревку — и действительно, не прошло двух минут, как весь пруд выбежал через несколько шлюз и явилось тинистое дно, на котором запрыгали караси и окуни, показывая свои белые брюшки. Этот опыт был изо всех самый удачный. Артемий Семенович от радости потирал руки. Он предложил мне также в пять минут разобрать мельницу, но я попросил позволения еще раз взглянуть на его картины, и мы возвратились домой.

После обеда Артемий Семенович бегал по саду в одном парике и башмаках и кричал полчаса. Потом мы вместе пили чай и весело провели вечер. Я намекнул на свой отъезд, но он не хотел о нем и слышать.

На другой день я принужден был осматривать разные *перпетуум мобиле*, кроме одного, большого, стоявшего на горе. Его мне Артемий Семенович не показал, вероятно, чтобы я сам не воспользовался его мыслью прежде, чем она приведена будет в исполнение.

Следующий день во всем подобен был предшествовавшим. Но лишь только я заговорил о своей бричке, Артемий Семенович показывал мне какую-нибудь машину и перебивал мою речь.

Я решился уехать тихонько; но попытки мои отыскать свой экипаж были тщетны: мне всегда отвечали, что он еще чинится.

Однажды Артемий Семенович объявил мне, что бричка готова и что я могу ехать.

— Но прежде, чем отпущу вас,— прибавил он,— я хочу показать вам свой лабиринт. Пойдемте со мною.

Мы пришли в сад к круглому месту, где множество дорожек сплетались, путались и пересекали одна другую. Пространство между дорожками засажено было кустами; но так как лабиринт только что заводился, то кусты не успели разрастись и можно было, стоя в средине, видеть конец лабиринта.

— А ну-ка, почтеннейший, попробуйте-ка сюда войти,— сказал мне Артемий Семенович.

— Но уж я велел закладывать,— отвечал я.

— Ничего, ничего, почтеннейший; сделайте милость, посмотрите мой лабиринт.

— Да я его и так вижу!

— Ну, уж сделайте милость, войдите!

— Зачем?—сказал я, предчувствуя какую-нибудь измену.

— Ну, я вас прошу!

— Право, не хочется!

— Душенька, миленький! пожалуйста!

Я не захотел огорчить Артемия Семеновича и, собравшись с духом, вошел в его лабиринт. Артемий Семенович стоял у входа, и только что я добрался до средины, он захлопал в ладони.

— А ну-ка, почтеннейший,— сказал он,— посмотрю я, как вы отсюда выберетесь!

— Полноте шутить, Артемий Семенович, я, право, спешу; сделайте милость, покажите мне дорогу!

— Чтоб я показал вам дорогу! Нет, почтеннейший, посидите-ка здесь до вечера; а завтра, после кофе, поедете. Я теперь поправил свой кофейник: вам надобно его посмотреть.

— Не хочу я смотреть на ваш кофейник! — сказал я, теряя терпение.— Вот уж неделя, как вы держите меня здесь бог знает зачем! Скажите мне, как отсюда выйти, или я сам найду дорогу!

— А ну-тка, ну-тка!

Тут я, без всякого уважения к замысловатому лабиринту, начал шагать через кусты поперек дорожек и вскоре очутился на чистом месте, подле Артемия Семеновича.

При виде решительного моего поступка Артемий Семенович очень смешался, и сильная досада изобразилась на добродушном лице его.

— Ну уж, почтеннейший,— сказал он,— этого я никак от вас не ожидал, никак-таки не ожидал! Могу сказать, что вы первый этаким образом выходите из моего лабиринта! Скажите, после этого к чему же лабиринт? Кажется, я довольно долго ломал над ним голову; дорожки спутаны, как гордиев узел. Вы бы до завтра их не распутали...

— Александр Великий разрубил гордиев узел,— отвечал я, направляя шаги к дому.

— Признаюсь, я никак, никак этого не ожидал, и от кого же? от вас, которого я полюбил как брата!

Во всю дорогу Артемий Семенович был очень печален. Глядя на него, мне стало его жалко. Однако выражение его лица делалось все веселее по мере того, как мы приближались к дому. Глаза его устремлены были на мою бричку, уже заложенную и стоявшую у крыльца. Меня поразили в ней какие-то странные прибавления, вроде ящиков, приделанных к колесам. Рассмотрев их внимательно и не понимая, что они значат, я обратился с вопросом к кучеру.

Артемий Семенович взялся за него отвечать.

— Это вам сюрприз, почтеннейший! — сказал он с довольным видом.— Доселе вы ездили в вашей бричке без всякой пользы; теперь у вас с одной стороны кофейная мельница, с другой — орган, и оба приводятся в движение круговращением оси. Примите эти две машины в знак моего уважения и в доказательство, что я забываю вашу обиду.

Отговариваться было не время. Я радовался, что получил свободу, поблагодарил Артемия Семеновича и по-

сле многих объятий и гигиенических советов сел в свою бричку. Кофе в мельнице уже был насыпан, лошади тронулись с места, и орган заиграл:

Гром победы, раздавайся;
Веселися, храбрый росс!

При проезде через село мужики почтительно снимали передо мной шапки, мальчишки бежали за мною, и я с триумфом выехал из поместья Артемия Семеновича. Не нужно прибавлять, что в тот же день кофейная мельница сломалась, а орган перестал играть «Гром победы, раздавайся»; ось, к которой они были приделаны, покривилась,— и я принужден был остановиться в одной деревне для ее починки.

<1845>

АМЕНА

Отрывок из романа «Стебеловский»

Солнце уже было на закате, когда я, со стилетом в кармане, пришел в Колизей; но чудное освещение древнего амфитеатра не привлекало моего внимания; жажда мщения кипела в груди моей и вытесняла все другие мысли. Передо мной проходили одно за другим все обстоятельства, приведшие меня в эти развалины; я вспомнил свое знакомство с Пепиной; вспомнил все ядовитые шутки Мореля, который, как злой дух, не переставал преследовать меня во все пребывание мое в Риме; наконец, вспомнил его последнюю обиду и задрожал от ярости... Вдруг послышалось знакомое пение, раздался звон колокольчика, и длинный ряд людей с завешенными лицами вошел в ворота и потянулся вокруг арены, останавливаясь у каждой часовни и читая вполголоса молитвы. Обошед все до одной и преклонив колено перед крестом, на средине арены, братья милосердия в прежнем порядке вышли из амфитеатра; лишь один остался неподвижен, распростертый у подножия креста.

— О друзья мои, прощаете ли вы меня? — произнес он глухо и таким странным голосом, что я невольно затрепетал.

Незнакомец поднял голову, и сквозь прорезанные диры его покрывала устремились на меня выразительные глаза его.

— Молодой человек,— сказал он,— я знаю, кого ты ожидаешь и с каким намерением, и я затем здесь, чтоб

остановить тебя на краю бездны и удержать от преступления.

— Кто ты? — спросил я с изумлением,— и отчего тебе известны мои сокровеннейшие мысли?

— Кто бы я ни был,— отвечал он торжественно,— благодари бога, что он дозволил тебе встретить меня, и внемли моим словам: на этом самом месте, где мы теперь стоим, совершилось некогда ужасное преступление, и жестоко за него наказан преступник! Слушай,— продолжал незнакомец, облокотясь на капитель древней колонны, которой обломки разбросаны были по арене,— я расскажу тебе нечто, случившееся давно, очень давно:

«Во времена императора Максимиана жили в Риме два друга, Виктор и Амвросий, и оба они были христиане. Сестра Виктора была помолвлена за Амвросия, и день их свадьбы уже приближался; но не брачный венец провидение назначало Леонии. В то время кесарь стал преследовать нашу святую веру, и целыми тысячами погибали его жертвы, иные растерзанные зверями, другие сверженные со скалы Тарпейской. Братья, дети и друзья этих несчастных собрались в отдаленнейшей части Рима и принесли перед крестом торжественный обет: скорее умереть в мучениях еще ужаснейших, чем хотя единым словом отречься от истинного бога. Виктор и Амвросий были между давшими сей обет. Они бросились в объятия друг друга и подкрепили слезами умиления священную клятву. Дабы существенным символом ознаменовать свой духовный союз, Амвросий снял с себя тогу, надел ее на Виктора, а сам покрылся тогою своего друга.

— Можем ли мы быть счастливее? — сказал он Виктору.— Сестра твоя скоро будет моею женою; а есть ли в языческой древности хотя один пример такой дружбы, как наша?

— Будем благодарить всевышнего,— отвечал Виктор,— даровавшего тебе любовь, а мне дружбу, как прекрасное предчувствие ожидающего нас в той жизни блаженства, но не забудем, что велика власть врага человеческого и что козни его неисчислимы. Счастье наше не от мира сего, и мы не должны ему предаваться впол-

не, но бдеть и молиться, дабы враг не раскинул нам сетей в самую минуту упоения.

Амвросий не отвечал ни слова, но внутренно упрекнул своего друга в излишней боязливости.

В тот самый вечер Амвросий, проходя мимо храма Венеры, которого развалины видны чрез эти ворота, услышал пронзительные вопли, смешанные с неистовыми криками; несколько факелов блеснули перед ним. Выхватив меч, он бросился вперед и увидел четырех преториянцев, влекущих за собою девушку с распущенными волосами, в растерзанной одежде. Несколько ударов меча рассеяли хищников. Амвросий поднял брошенный одним из них факел и хотел помочь девушке встать, но она была в обмороке. Он стал перед нею на колени и начал тереть ее виски, ладони и подошвы. Вскоре она раскрыла глаза, и лицо ее покрылось румянцем стыдливости, когда она взглянула на свою одежду. Амвросий хотел прикрыть девушку своей тогой, но лишь только сбросил ее с плеч, как услышал опять дикие крики и увидел блеск факелов. Преториянцы возвращались в сопровождении новых товарищей. Крики становились громче, проклятия внятнее, и факелы уже освещали их зверские лица, а Амвросий все еще стоял в недоумении, не зная, как скрыть их беззащитную жертву. Вдруг девушка приподняла голову и указала ему на стену храма, где было проделано, вроде двери, узкое, едва заметное отверстие. Потушив факел, Амвросий взял девушку на руки, вошел в отверстие и, ощупав ногою крутую лестницу, начал спускаться в подземелье. Ступени уже кончились, он чувствовал под ногами мягкие ковры, но незнакомка все еще обвивала его руками и крепко к нему прижималась.

— Не страшись ничего,— сказал ей Амвросий,— похитители твои далеко, и ты можешь отдохнуть в этом безопасном месте.

— Ах,— отвечала она,— я теперь совершенно спокойна и обнимаю тебя единственно из благодарности.

Сказав это, она ударила в ладони, и две лампы зажглись как будто волшебством. Амвросий увидел богато убранную залу, среди которой стоял бронзовый стол с сосудами и плодами. У стола находился широкий триклиний, высеченный из красного мрамора и покрытый пур-

пуровыми подушками. Вдоль стен стояли седалища из бронзы и мрамора, также покрытые пурпуром.

Когда, по приглашению неизвестной, Амвросий выпил бокал душистого фалерна, она села на триклиний к его ногам и начала следующим образом:

— Тебе, конечно, кажется странным твое приключение, но чтобы объяснить его, я должна тебе рассказать, кто я и где ты находишься. Я родом из Греции, мое имя Анадиомена, но отец и мать зовут меня просто: Амена.

В Греции жизнь моя текла тихо и спокойно, но лишь только я вступила в Рим, как начались мои несчастия, а виною тому ваш кесарь, изверг Максимиан...

Тут Амвросий остановил Амену и приложил палец к губам.

— Не бойся,— отвечала она, улыбаяся,— стены эти так толсты, что снаружи невозможно слышать ни одного слова. Максимиан,— продолжала она,— увидел меня однажды в храме и решился похитить. Несколько раз избегала я его сетей; но, видя наконец, что мне нельзя показаться на улице без того, чтобы два или три преторианца на меня не напали, я не стала выходить вовсе. В одну ночь толпа сих злодеев ворвалась ко мне в спальню и именем кесаря требовала, чтобы я шла за ними. Я от них ускользнула, нашла случайно это убежище и решилась в нем остаться. Я тайно уведомила отца о своей участи, и он доставляет мне все потребности жизни и присылает поочередно несколько девушек для моей прислуги. Сегодня неизъяснимая грусть мною овладела, и, считая окрестности этого подземелья безопасными, я не вытерпела и вышла подышать свежим воздухом ночи; но едва сделала несколько шагов, как ненавистные преторианцы схватили меня и, несмотря на мое сопротивление и крики, повлекли за собою... Если бы ты не подоспел ко мне на помощь, я бы теперь была во дворце Максимиана... О, я не могу подумать об этом без ужаса!

Амена закрыла лицо руками, и Амвросий видел, как она покраснела. Оставшись несколько мгновений в этом положении, красавица взглянула на Амвросия и сказала ему с замешательством:

— Рассказывая тебе мои похождения, я и забыла, что платье мое в беспорядке. Если позволишь, я оденусь

в твоем присутствии, потому что жилище мое очень тесно...

Она ударила в ладони — и вошли три девушки с разными принадлежностями женского наряда. Сперва Амена дала расчесать себе длинные волосы, потом приказала одной из них держать пред собою покрывало в виде ширм и, сняв тунику, велела освежить себя водою и натереть ароматным маслом. Пока девушки ей прислуживали, Амвросий чувствовал какое-то странное беспокойство; ему казалось, что не кровь, а огонь течет в его жилах. Он решился уйти, не простясь с Аменой; но лишь только сделал несколько шагов по ступеням, как услышал голос одного из преторианцев:

— Клянусь Геркулесом,— говорил он,— я не отойду отсюда, пока не отыщу этого проклятого молокососа и не отрублю ему ушей!

— Этого мало,— отвечал другой,— с ним должно поступить, как Улисс поступил с неверным пастырем коз!

Услыша эти слова, Амвросий счел, что было бы неосторожно показаться кровожадным грабителям, и возвратился к Амене.

— Друг мой,— сказала она,— теперь уж поздно: если ты пустишься в путь об эту пору, то непременно будешь убит. Останься здесь на ночь, а завтра чем свет возвратишься домой. Ты можешь лечь на этой кровати, я же буду спать с своими девушками.

Амвросий чувствовал непреодолимое влечение ко сну и, не отвечая ни слова, опустился на триклиний и вскоре забылся. Сквозь сон он слышал голос Амены, разговаривавшей с своими прислужницами, и шум воды, когда они выжимали грецкие губки в серебряные сосуды. Потом звуки эти так смешались, что ему показалось, будто бы то звон бокалов и гармоническое пение, сопровождаемые арфой. Ему представилось, что он сидит за столом, покрытым дорогими яствами и душистыми винами. Седой слепец, стоя перед ним, ударял в струны и пел ту самую песнь, которую в «Одиссее» поет Демодок и где описывается, как Марс и Венера пойманы были сетями Вулкана. Человек в блестящей короне, сидевший подле него, спросил его, улыбаясь: «Хотел бы ты быть на месте Марса, с тем чтобы тебя, подобно ему, накрыли сетями?» Амвросий вспомнил о своей невесте

и хотел сказать: «Нет!» — но язык его нечаянно повернулся, и он невольно произнес: «Да, если бы Венера походила на Амену!» Тут звуки арфы сделались гораздо сладостнее, зала наполнилась облаками, и он почувствовал, что возносится кверху. Когда облака рассеялись, Амвросий находился на высокой горе, откуда виднелись ему цветущие нивы, зеленые леса, светлые реки и необъятное голубое море с бесчисленными островами. Человек в золотой короне сидел пред ним на высоком престоле, окруженный множеством людей в светлых одеждах. Когда он шевелил бровями или потрясал черные кудри, то вся гора дрожала и молнии рассекали гнездившиеся вокруг нее тучи. «Друг мой,— шепнул ему знакомый голос,— ты теперь на Олимпе и видишь перед собою собрание бессмертных, готовых принять тебя в свой круг, если ты отречешься от христианства!» Амвросий оглянулся и увидел Амену, но он догадался, что то была сама Венера, потому что у ног ее ворковали два голубя. «Согласен ли ты для меня забыть свою веру? — спросила она опять.— Муж мой стар и хром, ты же, как Марс, и красив и молод: я охотно променяю на тебя мужа, скажи только, что ты согласен!» Амвросий опять вспомнил о Леонии и хотел сказать: «Нет, ни за что на свете!» — но язык его вторично повернулся, и он чуть было не проговорил: «Согласен!» — как вдали увидал друга своего Виктора и сестру его Леонию, которые манили его к себе, показывая мученический венец. В эту минуту Амвросий нечаянно поднял глаза, увидел, что над ним раскинута тонкая сеть из огненных ниток. Амена показалась ему уже не столь прекрасною, а вместо голубей из-под ног ее вспорхнули две летучие мыши. Он сотворил внутреннюю молитву и проснулся.

Вокруг него было темно; но что-то горячее причиняло ему сильную боль в голове, и, ощупав лоб, он почувствовал на нем руку Амены. Он вскочил с кровати и бросился из подземелья; но едва успел пройти несколько шагов, как опять услышал голоса преторианцев.

— Клянусь Геркулесом,— говорил один,— если мне попадется этот мальчишка, то я его растерзаю на части!

— Этого мало,— отвечал другой,— с ним должно поступить, как Тезей поступил с Прокрустом!

Слова эти показались так ужасны Амвросию, что он не решился выйти из подземелья и возвратился ощупью на свое место. Лишь только глаза его сомкнулись, он увидел себя в очаровательной стране, на берегу ручья, где вокруг серебряных тополей вился изумрудный виноградник, скрывая под широкими листьями спелые золотистые грозды. Нимфы играли на мягкой траве с резвыми сатирами, в ручье плескались наяды, а в зелени деревьев пели красивые птицы. Из рощи выходили центавры в дубовых венках и, вмешавшись в толпу сатиров и нимф, начинали с ними веселую пляску. Амвросий чувствовал нестерпимую жажду, но, подобно Танталу, он не мог ни напиться из ручья, ни достать рукою гроздий. В то время как он тщетно нагибался и протягивал руки, сладкий голос произнес близ него: «Сними с себя крест, хотя на одно мгновение, и ты тотчас утолишь свою жажду!» Он оглянулся и в кругу нимф узнал Амену; но он догадался, что это не Амена, а Венера, ибо на ней был золотой пояс необыкновенной работы, придававший ей удивительную красоту. Он не мог противостоять ее словам и уже дотронулся до креста, как ему показалось, что вдали он видит толпу народа. Вглядевшись в нее пристально, он узнал Виктора; несколько людей клали его на деревянный станок, и палач, с обнаженною грудью, готовился истязать его раскаленными клещами, между тем как четверо других привязывали Леонию к большому колесу. «Прощай, Амвросий,— кричали ему друг и невеста,— мы умираем за нашу веру и будем молиться у престола всевышнего, чтобы он избавил тебя от ослепления!» — «Нет, мои друзья, и я хочу умереть с вами!» — вскричал Амвросий и внезапно проснулся.

Он вскочил с одра и опрометью побежал из подземелья; но лишь только очутился на ступенях, как услышал два грубые голоса:

— Клянусь Геркулесом,— говорил один из них,— если бы теперь попался мне этот повеса, я бы отрубил ему ноги и руки.

— Этого мало,— отвечал другой,— я бы с ним поступил, как Аполлон с Марсиасом!

— Я не боюсь ваших угроз! — вскричал Амвросий,— умереть от рук ваших или от палачей Максимиана для меня все равно!

Он выбежал на свежий воздух и увидел, что уже настало утро. У храма Венеры не было ни одного преторианца, и он спокойно дошел до своего жилища. Слуги Амвросия уведомили его, что ночью стража кесаря вломилась в дом Виктора, наложила на него цепи и увела с собою. Начальник стражи обвинял его в сопротивлении законной власти и в нападении на исполнителей Максимиановых повелений; уликою была тога с именем Виктора, которую преступник, по словам его, сбросил во время бегства. Амвросий поспешил в дом своего друга, чтобы от его сестры узнать подробности этого происшествия. Он застал ее на коленях перед образом спасителя. Крупные слезы блистали в ее глазах, но лицо ее не показывало никакого отчаяния.

— Амвросий,— сказала она с ангельскою улыбкою,— все несчастия ниспосылаются нам свыше! Сегодня друг твой без всякой вины брошен в темницу; завтра, может быть, погибнет твоя невеста; но да будет воля господня!»

Тут брат милосердия остановился и, помолчав немного, спросил меня, известны ли тебе картины Рафаэля?

— Да,— отвечал я,— и ни на одну из его Мадонн я не могу смотреть без сердечного умиления.

— Так,— продолжал незнакомец,— я вижу, что ты понимаешь великого художника. Но если бы ты знал Леонию, ты бы уверился, что в чертах ее было не менее кротости, не менее небесной чистоты, чем в Рафаэлевых Мадоннах.

— Но,— прервал я рассказчика,— ты говоришь об ней, как будто бы сам ее видел?

— Не прерывай меня,— отвечал он торжественно,— и слушай далее:

«Свидание с Леонией произвело на Амвросия странное действие. Ночное происшествие оставило в нем тягостное впечатление, а все, что он думал и ощущал в подземелье Амены, показалось ему так презренно, так нечисто в сравнении с чувством, проникавшим его в присутствии Леонии, что он сам не понимал, как мог забыть ее хотя на одну минуту. Ему хотелось пасть к ее ногам, признаться в своем заблуждении и просить прощения, но

ложный стыд удержал его. С другой стороны, он боялся огорчить Леонию, открыв ей, что тога, послужившая уликой Виктору, была брошена им самим и что он не может спасти ее брата, не погибнув наместо его. Однако он решился, не теряя времени, отыскать начальника стражи, освободить Виктора и обвинить себя в преступлении, которое приписывали его другу. Пока он бегал по всему Риму, чтобы узнать, кто именно предводительствовал преториянцами, схватившими Виктора, и в какой темнице он заключен, прошел целый день. Было уже поздно, когда он, собрав нужные сведения, шел по дороге в темницу. Ему надлежало проходить мимо храма Венеры. Лишь только он поравнялся с местом, где накануне спас Амену, кто-то тихонько назвал его по имени. Он остановился и услышал, что голос выходит из подземелья.

— Сойди ко мне на минуту,— говорил голос,— ты устал, и тебе надобно подкрепить свои силы!

— Не нужно,— отвечал Амвросий довольно сухо и продолжал свой путь.

— Амвросий, Амвросий!—закричал голос,— я знаю, куда ты спешишь; но ты не спасешь своего друга, а только погибнешь с ним вместе. Есть другое средство его спасти, сойди ко мне, и я тебя научу, что должно делать!

Слова эти показались Амвросию так убедительны, что он спустился в подземелье. Ковры на этот раз были усыпаны свежими розами, и благоухание их было так сильно, что Амвросию показалось, будто бы он от него пьянеет. Амена с полураскрытыми глазами лежала на подушках.

— Я тебя ожидала,— сказала она ему,— и нарочно велела убрать свое жилище как можно лучше. Выпей немного вина и омой себя водою: смотри, как ты устал и запылился! — Она ударила в ладони, и прислужницы внесли несколько сосудов холодной воды и разные ароматы.

Когда Амвросий выпил чашу вина, они сняли с него обувь и, освежив его ноги, окатили ему голову и плечи.— Теперь ложись и отдохни,— сказала Амена,— а я покамест уйду к своим девушкам.

Амвросий давно хотел ее спросить, каким образом ему спасти Виктора; но лишь только он начинал говорить,

Амена его прерывала. Наконец он, не обращая внимания на ее речи, спросил, что ему надобно делать?

— Ты очень нетерпелив,— отвечала Амена,— но чтобы скорее тебя успокоить, я скажу тебе, как ты должен поступить, чтобы избавить друга твоего от смерти, не подвергая себя опасности. Если ты теперь явишься к тюремному начальнику и скажешь ему, что ты настоящий преступник, а что Виктор невинен, то хотя тебя и посадят в темницу, но Виктора из нее не выпустят; напротив, претор почтет его твоим сообщником,— и вместо одной жертвы погибнут две. Вы принадлежите,— продолжала Амена с видом соболезнования,— к такому сословию, которое всякий может губить безнаказанно и для которого нет ни суда, ни законов. Подумай только, что будет с твоей невестой, когда ни брата ее, ни тебя не останется для ее защиты? Каждый хищник, каждый кровопийца станет на нее смотреть как на свою добычу, которую никто не осмелится и не захочет у него отнять! О, если бы вы не так были упрямы и согласились возвратиться к вашим прежним богам, тогда еще все бы можно поправить!

Амвросия это заключение чрезвычайно поразило, и когда он нечаянно поднял голову, ему снова показалось, что над ним раскинута тонкая сеть из огненных ниток. Однако он не мог не сознаться, что доводы Амены справедливы, и спросил ее, что ему остается делать?

— Во-первых,— отвечала Амена,— ты должен сколь можно менее показываться: связь твоя с Виктором так известна, что рано или поздно она тебя погубит, если ты не будешь осторожен. Во-вторых, никто не может спасти твоего друга, кроме его сестры. Пусть она завтра же пойдет во дворец кесаря, бросится перед ним на колени и молит его о помиловании ее брата. Максимиан изверг, но ему случается показывать проблески великодушия; я уверена, что молодость и красота твоей невесты тронут его каменное сердце...

Тут ужасная мысль поразила Амвросия.

— Как! — вскричал он,— но если эта самая молодость и красота...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать,—прервала его Амена.— Ты боишься, чтобы грубая чувственность ти-

рана не побудила его к какому-нибудь насилию; но будь спокоен. Максимиан теперь занят одною мною, а неудача вчерашнего предприятия так раздражила его любовь, что никакая другая мысль не войдет в его голову. Впрочем, если бы даже это и было возможно, то такой случай одно предположение; а когда ты своею опрометчивостью лишишь Леонию брата и жениха, тогда в каждом воине кесаревой стражи она найдет Максимиана!

Амвросий согласился с справедливостию этих слов; но, несмотря на просьбы Амены, непременно хотел продолжать путь свой и посетить Виктора в его темнице. Лишь только он приблизился к выходу из подземелья, как услышал снаружи разговор двух преторианцев.

— Я уверен,— говорил один из них,— что человек, скрывшийся около этого храма, сообщник того негодяя, который вчера помешал нам похитить Амену и которого завтра утром прибьют ко кресту!

— В том нет никакого сомнения,— отвечал другой,— и я позволю назвать себя бабой, если отойду отсюда, не дождавшись этого бездельника!

Услышав, что друга его казнят на другое утро, Амвросий очень испугался. Ему хотелось прорваться сквозь толпу преторианцев и силой освободить Виктора; но, после краткого размышления, он увидел, что мысль его безрассудна и что он погибнет без всякой пользы для своего друга. Он решился возвратиться к Амене и рассказать ей подслушанный разговор.

— Ты видишь,— сказала Амена,— что совет мой всего вернее. Так как опасность, угрожающая Виктору, гораздо ближе, чем я полагала, то и ты должен поспешить его спасением. Вот пергамен, напиши сейчас к Леонии, чтобы она чем свет шла ко дворцу и ожидала появления кесаря. Скажи ей, что ты ручаешься за успех. Ты можешь ее смело в этом уверить, ибо могла ли бы я, обязанная твоему мужеству более чем жизнию, дать тебе дурной совет? Одна из моих прислужниц выберет удобную минуту и выйдет с твоим посланием из подземелья. Преторианцы ее не увидят, а если бы и заметили, то пропустят без затруднения.

Амвросий хотел сделать еще какое-то возражение, но почувствовал, что сон его одолевает. Он взял пергамен,

написал, что проговорила Амена, и, склонив голову на стол, крепко заснул. Этот раз он ничего не видал во сне, но его пробудил горячий поцелуй Амены.

— Встань,— говорила она ему,— теперь уже утро, преториянцы ушли, ты можешь безопасно дойти до дома.

Амвросий чувствовал большую усталость, но он вскочил с триклиния, куда, вероятно, его перенесли во время сна, и вышел из жилища Амены. Солнце было уже высоко, и он поспешил в дом Леонии, чтобы узнать об успехе ее поступка. На дворе встретили его слуги; они плакали и рвали на себе одежду. Двое из них рассказали ему, что Леония, получив его письмо, очень была им поражена, но тотчас велела им следовать за собою и пошла ко дворцу Максимиана. Она бросилась перед ним на колени и стала умолять его о прощении брата. «Клянусь Юпитером,— сказал кесарь,— я ничего не знаю о ее брате! Что он за человек?» — «Он? — отвечал один центурион,— он христианин, которого за разные дерзкие поступки и, между прочим, за сопротивление твоим приказаниям я велел посадить в тюрьму».—«Ты хорошо сделал,— отвечал кесарь,— и можешь поступить с этим христианином как заблагорассудишь; но сестра его мне нравится, и я хочу составить ее счастие». Тут, по знаку Максимиана, подвели к нему Леонию. «Хочешь ли меня полюбить?» — спросил он ее. «У меня есть жених и брат,— отвечала Леония с кротостию,— и, после бога, я люблю их одних!» Услыша такой ответ, продолжали слуги, мы побледнели; ибо глаза кесаря налились кровью и белая пена показалась на его устах, однако ж он удержался и продолжал довольно ласково: «Полюби меня, и я осыплю тебя золотом и прощу твоего брата».— «Жизнь его в твоих руках,— отвечала Леония,— но если ты его погубишь, то на это будет воля божия; любить же тебя я не могу!» — «Послушай,— продолжал кесарь,— если ты будешь упрямиться, то я обойдусь и без твоего согласия, а брата твоего и жениха заставлю умереть пред твоими глазами в ужаснейших мучениях!» Здесь твердость Леонии ее покинула. Она упала к ногам Максимиана и, заливаясь слезами, обняла его колени. «Сжалься надо мной,— вопияла она,— могу ли я любить тебя, пролившего безвинно столько христианской крови! Будь ве-

ликодушен, отпусти меня и прости моего брата!» Кесарь долго молчал и смотрел на Леонию ужасными глазами. «Есть одно средство,— сказал он наконец.— Если ты и брат твой откажетесь от вашей веры и согласитесь поклоняться богам, то я вас обоих отпущу, не сделав вам ни малейшего вреда; если же нет, то брат твой погибнет. Твои единоверцы доселе так были упрямы, что всё приносили в жертву своему богу. Мне любопытно знать, до какой степени доходит это упорство!» Леония опять бросилась на колени, но кесарь подал знак, и ее отвели в темницу.

Услыша этот рассказ, Амвросий впал в отчаяние.

— О Амена! — кричал он в исступлении,— ты виновница этого несчастия! Твои хитрости и лукавые советы причиною, что я погубил друга и невесту! Но если я не в силах их спасти, то, по крайней мере, умру вместе с ними!

Он побежал к префекту, рассказал все, что с ним случилось в последние два дня, и просил, чтоб его подвергли казни, но освободили бы Виктора и Леонию. Что предсказывала Амена, случилось. Префект велел отвести его, скованного, в глубокую темницу и засмеялся ему в глаза, когда он упомянул об освобождении друга и невесты.

Амвросий провел ночь в мучительном беспокойстве. На другой день пришел тюремный страж и предложил ему свободу от имени префекта, с тем, чтобы он отказался от христианства. Амвросий с негодованием отвергнул это предложение. Прошел день, тюремщик явился с прежним вопросом. Ответ Амвросия был тот же. Таким образом, он недели две провел в темнице, получая пищи ровно сколько было нужно, чтоб не умереть с голоду, и не видя никого, кроме тюремного стража, приходившего каждое утро с тем же предложением и уходившего в глубоком молчании. Была уже ночь, как Амвросий, лежа на мокрой земле, услышал под собою глухие шаги. Вскоре яркий луч осветил темницу, и он увидел Амену, с лампою в одной руке и с амфорою в другой.

— Можно ли быть столько неосторожным! — сказала она ему, и слезы блистали в ее глазах.— О, если бы ты меня послушался!

— Горе мне! — отвечал Амвросий,— что я тебя послушался! Если бы не ты, Леония не была бы теперь в руках Максимиана. Но удались отсюда и не обольщай меня более!

— О, как ты мало меня знаешь! — сказала Амена.— Я ли виновата, что невеста твоя так гордо отвечала кесарю? Он вспыльчив и когда войдет в ярость, то бешенству его нет пределов. Но я уверена, что он бы смягчился, если б Леония отказала ему с бо́льшею кротостью. Впрочем, надежда еще не потеряна, и если ты последуешь моему совету, то можешь завтра же выйти из тюрьмы и спасти твоих друзей.

— Что ж мне делать? — спросил Амвросий.

— Выпей немного вина,— отвечала Амена,— и я тебе сейчас скажу.

Амвросий приблизил амфору к губам, и, по мере того как он втягивал в себя душистую влагу, странное чувство разливалось по его жилам.

Цепи перестали его тяготить; ему казалось, что темница наполняется золотистыми облаками и что перед ним мелькают нимфы, сатиры, центавры и наяды. Все блестящие картины языческой мифологии постепенно развивались в его воображении, и сердце его трепетало от сладострастной неги.

— Я бы могла,— продолжала Амена,— тебя освободить теперь же. Цепи твои распилить мне нетрудно, а подземный ход, чрез который я вошла, имеет сообщение с моим жилищем; но это бы значило совершить только половину дела, и товарищи твои остались бы в темнице. Чтобы действовать благоразумно, ты должен непременно, хотя на несколько дней, притвориться, будто переходишь в нашу веру. Когда об этом узнает кесарь, он захочет тебя наградить и, по своему обыкновению, велит спросить, чего ты желаешь? Ты потребуешь прощения Виктора и Леонии, и когда они будут освобождены, вы убежите из Италии и в отдаленной Испании дождетесь кончины Максимиана.

Амвросию казалось, что отречься от своего бога, хотя только для виду, смертельный грех; к тому ж он не был уверен, что Максимиан будет так великодушен, как предполагала Амена; но он подумал о мучениях, ожидающих его друзей, и решился принять на себя ответ-

ственность поступка, не одобряемого его совестью. Когда настало утро и тюремщик вошел к нему с обыкновенным вопросом, Амвросий отвечал, по наставлению Амены, что во сне ему предстал Меркурий и убедил его перейти к поклонению богов олимпийских. Тюремщик удалился, и вскоре несколько человек кесаревой стражи вошли в темницу, сняли с него цепи и повели к префекту.

— Кесарь знает о твоем похвальном намерении,— сказал ему префект,— и приказал мне вручить тебе этот знак его благоволения.— Он подал Амвросию богатый перстень с редкою жемчужиной.— Однако,— продолжал он,— чтобы доказать, что обращение твое чистосердечно, ты должен сегодня же совершить всенародное жертвоприношение во храме Юпитера. Теперь ступай домой и приготовься.

Пришед к себе, Амвросий увидел в комнатах множество золотой посуды. Мешки с золотом лежали на полу, а на дворе стояли колесницы с прекрасными конями в богатых сбруях.

— Что это значит? — спросил Амвросий.

— Это прислал тебе кесарь! — отвечали слуги, не радуясь его приходу и поглядывая на него исподлобья. Сердце Амвросия болезненно сжалось. В полдень он всенародно принес жертву Юпитеру и отважился просить помилования Виктору и Леонии. Ему отказали и дали золота; он в отчаянии побежал к Амене.

— Еще не все потеряно, мой друг! — сказала она.— Напиши к своим друзьям, чтобы они, подобно тебе, на время притворились. Прислужница моя найдет средство доставить им твое письмо и к утру принесет ответ. Не пренебрегай также подарками кесаря; они тебе пригодятся для спасения друзей, если нам не останется другого средства, а отказом ты только раздражишь Максимиана.

Амвросий послушался Амены и старался утопить в вине угрызения совести.

— Не будь так печален! — сказала ему Амена.— Если ложное зазрение не удержит твоего друга и невесты, то их простят так же, как простили тебя, а с твоим золотом вы можете бежать на край света. Впрочем, я уверена, что они поймут всю цену твоего самоотвержения и не откажутся последовать твоему совету!

Она взяла в руки лиру, и тихие ее звуки погрузили его неприметно в сладостный сон. Ему представилось, что он древний герой, презирающий все труды и опасности и жертвующий собою для спасения других. В воображении своем он уже могучею рукою и хитрым умом одолевал все препятствия и преграды. Виктор и Леония были освобождены и со слезами благодарности обнимали его колени.

— Если бы ты не был христианин,— шептала ему Амена,— ты бы вступил в число полубогов!

Он предавался упоению гордости, но его разбудил поцелуй Амены. Она подала ему ответ Виктора и Леонии.

«Неверный брат! — писали они,— слухи о твоем отступничестве до нас дошли, но мы не хотели им верить. Нас нарочно вывели из темницы, дабы мы собственными глазами увидели, как ты преклоняешь голову перед идолом и приносишь ему нечестивую жертву; мы сочли это адским наваждением. Но ты сам к нам пишешь, ты хочешь, чтобы мы следовали твоему примеру; да оградит нас сила господня! Напрасно ты нас уверяешь, что поклонялся ложным богам только для вида и чтобы в награду за свою измену получить наше освобождение. Ты бы не должен принять тогда золота от Максимиана, а мы не хотим быть спасены этою ценою! Покайся, пока еще время, искупи кровию свое заблуждение, или я, Виктор, отрекаюсь от твоей дружбы, а я, Леония, перестаю быть твоей невестой. Ты уже и так изменил своему слову: мы знаем, что ты проводишь время с презренной женщиной, совращающей тебя с пути веры и обязанностей!»

Когда Амвросий кончил чтение, Амена закрыла лицо руками и горько заплакала.

— О, я несчастная! — сказала она,— вот как они толкуют мою благодарность и преданность к тебе! Теперь ты меня возненавидишь, и я умру с тоски.

— Амена,— отвечал Амвросий, чувствуя сильную досаду на Виктора и Леонию, хотя он сам себе не признавался, что причиною этой досады было лишь оскорбленное самолюбие,— Амена, я знаю, что дружба твоя чистосердечна и что ревность к вере соделала друзей моих несправедливыми.

— Нет, мой друг,— сказала Амена, горько рыдая,— они говорят правду, я одна виною твоего несчастия, я

виною, что они тебя отринули; но все это я сделала, желая спасти их, ибо не только для тебя, но и для всех, которые дороги твоему сердцу, я готова пролить до последней капли крови. Амвросий! — вскричала она, упав перед ним на колени,— прости меня, я страстно люблю тебя! Да, я люблю тебя,— продолжала она, не давая ему времени отвечать,— я умру, если ты меня покинешь; но покинь, забудь меня, я сама тебя о том умоляю, у тебя есть невеста, мы сыщем другое средство спасти ее, мы подкупим стражей, вы убежите из Италии и будете счастливы; вот все, что я желаю; у меня же останется воспоминание счастливых дней, проведенных с тобою, и сознание, что я содействовала вашему счастию!

Столько любви, столько самоотвержения в сравнении с строгими словами Виктора и Леонии, отвергавших его любовь и дружбу в то самое время, когда он ожидал их благодарности, поколебали разум Амвросия. Признательность и удовлетворенное самолюбие, с одной стороны, досада и гордость — с другой, сострадание к Амене, ее обворожительная красота — все это затмило в его душе образ невесты и друга. Он без сопротивления предался ласкам Амены и вспомнил о Леонии только на другой день; в нем пробудились угрызения совести; но, по странному противоречию сердца человеческого, он вместо раскаяния чувствовал негодование к Леонии за то, что мысль об ней вырывала его из сладостного забвения и напоминала ему вину его. Амена всячески старалась развлекать его и так в том успела, что он в продолжение нескольких дней не выходил из ее подземелья и наконец перестал вовсе думать о Леонии и Викторе. Однажды Амена предложила ему прогуляться по Риму.

— Мы можем показаться без всякой опасности,— сказала она.— Тебя, который теперь в милости у кесаря, никто не тронет, а обо мне он уже давно забыл. Прихоти Максимиана так же скоро проходят, как и рождаются.

Амвросий согласился, и они пошли на Форум. Все им давали место, все на них глядели с почтением. Около полудня Амена почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Дом Амвросия был близок, и они вошли под его портик и расположились у фонтана.

— Ах,— сказала Амена,— как бы обрадовались мои родные, если б они могли меня видеть! Не позволишь ли ты послать за ними? — Амвросий хотел отвечать, но в эту минуту прекрасный юноша, в легкой одежде, с посохом в руке, подошел к Амене и что-то ей шепнул на ухо.

— Родные мои,— сказала Амена,— предупредили мое желание. Вот Гермес, служитель моего отца, пришел тебя просить, чтобы ты им позволил прийти.

Амвросий согласился и, позвав слугу, приказал ему приготовить богатое угощение. Когда солнце зашло, гости стали собираться. Один из них был высокий мужчина с кудрявой, черной бородой и с длинными волосами, похожими на львиную гриву. Важное его лицо показалось Амвросию знакомым, и он вспомнил, что уже видел его во сне. Другие обоего пола гости были все прекрасны собою, кроме одного, запачканного сажей и сильно хромавшего. Когда они улеглись вокруг стола, то, кроме Амвросия и Амены, было всех-навсе одиннадцать человек. Вскоре между ними завязался разговор. Они говорили очень увлекательно, особенно мужчина с кудрявой бородой. Пока Амвросий его слушал, в нем развертались совершенно новые понятия, и он стал смотреть на жизнь, на веру и на добродетель совсем другими глазами. Собеседники его все более или менее придерживались философии Эпикура, и спор состоял только в том, что́ должно почитать высшим удовольствием в мире? Один превозносил любовь, другой вино, а третий славу. Амвросий несколько раз пытался им противоречить, но они легко опровергали его убеждения и так умно шутили над любовью Платона, учением Сократа и воздержанием Сципиона, что самому Амвросию мнения его показались смешными. Чтобы веселее провести время, кто-то предложил послать за плясунами и танцовщицами. Они вскоре явились, и искусство их так понравилось Амвросию, что он начал бросать им мешки золота, один за другим; потом стали играть в кости, и Амвросий проиграл большую часть богатства, недавно ему доставшегося. С первым криком петуха гости удалились, и с Амвросием осталась одна Амена. Он только что хотел отдохнуть от проведенной в шумных удовольствиях ночи, как услышал сильный стук у дверей.

— Отвори нам, проклятый обманщик,— кричали грубые голоса.— Ты притворился, будто поклоняешься Юпитеру, а между тем носишь на себе крест и еще обратил знаменитую римлянку в свою нечестивую веру! Но вы от нас не уйдете и завтра же будете сожжены живые!

И, говоря это, множество людей стучали в двери так, что она трещала.

— Сбрось с себя крест! — шепнула ему побледневшая Амена,— иначе мы оба пропали: я узнаю голоса преторияннцев!

Между тем удары сыпались градом на дверь, и одна верея уже отскочила.

— Сбрось крест, сбрось крест! — умоляла Амена, упав перед ним на колени...»

Здесь незнакомец замолчал.

— Что ж сделал Амвросий? — спросил я.

— Он сбросил с себя крест! — отвечал незнакомец с тяжелым вздохом.

— Что ж было после? — спросил я опять, видя, что брат милосердия хранит глубокое молчание.— Ты, честный отец, так принимаешь рассказ свой к сердцу, как будто бы сам знал Амвросия.

— Не мешай мне,— отвечал брат милосердия,— и слушай, что мне остается тебе сказать:

«Вломившись в дом, преторияннцы обыскали Амвросия и Амену, обшарили все комнаты, углы и застенки и, не нашед креста, удалились, не сделав никому вреда. Настало утро, и Амвросий забыл об этом происшествии.

Прежде хотя редко, но случалось, что он, среди наслаждений и шума, вдруг вспоминал о друзьях и как будто с испугом просыпался от продолжительного сна. Амена обыкновенно его уверяла, что друзей его скоро выпустят из темницы, что невинность их открыта и что кесарь намерен богато вознаградить их.

Тогда угрызения его совести умолкали, и он вновь утопал в удовольствиях. Теперь же, после потери креста, никакое воспоминание его более не тревожило, и он постоянно оставался в каком-то чаду, в приятном опьянении, мешающем ему замечать, как проходило время. Дни он проводил в театрах, ночи в шумных оргиях с родны-

ми Амены. Между тем время текло; золото уменьшалось, и однажды он с ужасом заметил, что от прежнего богатства у него не осталось ничего. Кони, колесницы и дорогая посуда давно уже были проиграны.

— Не печалься,— говорила ему Амена,— на что тебе деньги, разве мы и без них не довольно счастливы? В моем жилище найдешь ты все, что нужно для тихой и беззаботной жизни, а любовь моя заменит нам потерянную роскошь! — И Амвросий опять погружался в удовольствия и не помышлял о будущем.

Однажды он услышал, что два преступника осуждены на съедение зверям в этом самом Колизее, где мы теперь находимся. Ужасное предчувствие в первый раз им овладело, и он вмешался в толпу народа, бежавшую с криками радости по дороге к амфитеатру. Амена за ним последовала. Когда они поместились на ступенях, он обратился к своему соседу и спросил его, знает ли он имена преступников?

— Их зовут Виктор и Леония,— отвечал сосед,— они оба христиане и умирают за упорство в своей вере.

Тут один человек продрался сквозь толпу и, приблизясь к Амвросию, сказал ему на ухо:

— Через четверть часа друзья твои должны быть растерзаны зверями. Я тюремный страж; дай мне тысячу сестерций, и я им помогу убежать!

— Амена,— вскричал Амвросий,— ты слышишь, что говорит этот человек?

— Слышу,— отвечала Амена,— но какое тебе до них дело? Они христиане, а ты поклонник богов олимпийских!

— Как, Амена,— продолжал Амвросий в отчаянье,— разве я не христианин?

— Ты? — отвечала Амена,— разве ты не приносил жертвы Юпитеру? Разве ты не сбросил с себя креста?

— Дай мне пятьсот сестерций! — продолжал тюремный страж,— и я освобожу твоих друзей!

— Ты слышишь, Амена,— умолял ее Амвросий,— достань мне пятьсот сестерций, только пятьсот!

— У тебя были горы золота,— отвечала Амена,— куда ты его дел?

— Слушай,— продолжал тюремщик,— дай мне один асс, и друзья твои свободны!

— О, я несчастный! — вопиял Амвросий,— у меня нет и обола!

— Так ты, видно, не хочешь спасти друга и невесты! — сказал тюремщик и скрылся в толпе.

— Амена! — вскричал тогда Амвросий, и холодный пот градом побежал с его лица,— ты одна всему виною: по твоим советам я сделался богоотступником, для тебя забыл невесту и друга; спаси же их теперь, на коленях умоляю тебя, спаси их!

— Как,— сказала Амена, странно улыбаясь,— ты все это сделал для меня и по моим советам? Разве ты, прежде чем меня увидел, не поклялся своему богу, что никакие мучения не заставят тебя от него отречься? Какие же ты испытал мучения? Ты от него отрекся добровольно, ты принял в награду золото и подарки от Максимиана и истратил их на свои прихоти! Разве не я сама тебя просила, чтобы ты меня покинул и остался верен своей невесте? Но невеста и друг приняли твои советы не с такою благодарностью, как ты ожидал, они тебя справедливо упрекали в клятвопреступлении, и ты на них вознегодовал и предал их Максимиану. Во всем этом я не виновата нисколько; я наслаждалась твоею любовью, но ее не вынуждала. У тебя был свой рассудок и своя совесть,— пеняй же теперь сам на себя!

В эту минуту ввели в арену Виктора и Леонию. Лица их были спокойны, поступь тиха и величественна. Пришед на середину арены, они преклонили колена и устремили к небу глаза, исполненные умиления и восторга.

— Виктор! Леония! — закричал отчаянным голосом Амвросий; но они его не слыхали. Ничто земное уже не могло коснуться праведников: казалось, они в предсмертный час внимали небесной гармонии и пению серафимов.

— Римляне! — закричал Амвросий,— бросьте меня в арену, я вас обманывал: я христианин и хочу умереть за свою веру!

— Он сумасшедший,— сказала Амена,— не слушайте его, он сумасшедший!

Тут Амвросий встал со ступеней, выступил вперед и сотворил крестное знамение.

— Кто бы ни была ты, ужасная женщина,— сказал он, обращаясь к Амене,— я отрекаюсь от тебя, отрека-

юсь от твоих богов, отрекаюсь от ада и сатаны! — Услыша эти слова, Амена испустила пронзительный визг, черты ее лица чудовищным образом исказились, изо рта побежало синее пламя; она бросилась на Амвросия и укусила его в щеку. В эту минуту из-за железной решетки впустили в арену четырех львов. Амвросий упал без чувств на ступени амфитеатра».

Незнакомец опять замолчал, и я долго не смел прервать его молчания.

— Кто ты, таинственный человек? — спросил я наконец, видя, что он хочет удалиться.

Вместо ответа брат милосердия отбросил покрывало: страшно бледное лицо устремило на меня выразительный взгляд, и на его щеке я увидел глубокий шрам, как будто из нее мясо было вырвано острыми зубами. Он опять закрыл лицо и, не сказав ни слова, медленными шагами вышел из арены и исчез между развалинами.

<1846>

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕН ИОАННА ГРОЗНОГО

> At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes.
>
> *Tacitus* Annales. Liber XVI [1]

[1] А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих.

Тацит. Летопись. Книга 16 *(лат.).*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый здесь рассказ имеет целию не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причи

ной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

<1862>

ГЛАВА 1

ОПРИЧНИКИ

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или по нынешнему счислению 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, выведали от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести; а вы всё норовите как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному

опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка — беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка отеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух; и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всею землею Казалось, с его праведным царствием настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то очередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточною бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.

— Эхва! — сказал он весело,— вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то! Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

— Да, я чай, уже не далеко до Москвы! — сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

— Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрошал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

— Ну добро,— сказал князь,— отдыхайте!

— Эй, вы! — закричал Михеич, обращаясь к ратникам,— долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопи были все в приказе у Михеича; они спешились и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

— Не чинитесь, добрые люди,— сказал ласково Никита Романович,— кречет соколам не помеха!

— Спасибо, боярин,— отвечал пожилой крестьянин.— Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры! — продолжал он, обращаясь к девкам,— чего испугались? Аль не видите, это боярин с своей челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричнина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

— Какая опричнина? Что за опричники? — спросил князь.

— Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул.

— Царь указал обижать народ! Ах они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

— Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономнясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с

поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

— Как, на царской дороге, под самою Москвой, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да,— подтвердил мужик,— мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

— Дурень! — вскричал князь,— не смей станичников царскими людьми величать! «Ума не приложу,— подумал он.— Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

— Государь мой, тестюшка,— пел жених вместе с хором,— свари мне пива!

— Государыня теща, напеки пирогов!

— Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

— Пошел, тесть, к черту!

— Пошла, теща, к черту!

— Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня.

Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод

— Спасите! спрячьте! — кричал он, хватаясь за полы мужиков.

— Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страху едва мог говорить.

— Там, там,— произнес он дрожащим голосом,— за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни.

— Беда, беда! — кричали они,— опричники! бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда! — кричал он,— колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

— Батюшка! Боярин! — вопили те, которые были ближе к князю,— не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!

Но князя уже не было между ними.

— Где ж боярин? — спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны.— И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминучая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

— Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

— На березу его! — закричал черный.— Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и накинули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполовину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

— Кто ты, мошенник? — спросил князь.

— А ты кто? — отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвечай, окаянный, или застрелю как собаку!

— Я тебе не слуга, разбойник,— отвечал черный, не показывая боязни,— а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистоли щелкнул, но кремень осекся, и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

— Скрутите и этого! — сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! — подумал князь.— Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

— Смотри, батюшка,— сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце,— вишь, они какие осилы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

— Это что за люди? — спросил князь.— Зачем вы их к седлам прикрутили?

— Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

— Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободою, остались посмотреть, что будет с побежденными.

— Слушайте, мошенники,— сказал князь связанным опричникам,— говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

— Что, у тебя глаза лопнули, что ли?—отвечал один из них.— Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

— Окаянные!—вскричал Серебряный,— коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

— Да ты, видно, с неба свалился,— сказал с усмешкой черный детина,— что никогда опричников не видал? И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодец,— сказал он,— твоя дерзостность мне было пришлась по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

— Я Матвей Хомяк! — отвечал он,— стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова — что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и

готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

— Дозволь, боярин, слово молвить.

— Говори!

— Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и проницательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

— Ты кто, молодец? — спросил Серебряный,— и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

— Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа с злодеями немного принесет пользы, тогда

как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

— Власть твоя посылать этих собак к губному старосте,— сказал незнакомец,— только поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал всё молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

— Батюшка боярин,— сказал он,— оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозволь, по крайности, перед отправкой-то, на всяк случай, влепить им по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкурятина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвесть пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

— Это самое питательное дело!..— сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю.— Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой — и памятно для них будет!

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

— Боярин,— сказал он,— уж коли ты хочешь ехать с одним только стремянным, то дозволь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и, после краткого отдыха, все четверо пустились в путь.

ГЛАВА 2

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ

Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделывались разными изворотами.

— Тьфу, тетка их подкурятина! — сказал наконец сам про себя Михеич,— что за народ! Словно вьюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

— Боярин,— сказал он,— хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

— А хоть и лихие,— отвечал беззаботно князь,— всё же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники!

— А провал их знает, постоят ли, батюшка! Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фырканье.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью, среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразил нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пищалей. «Прости, князь, говорил ему украдкою этот голос, я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песни говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про

разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами вздымались и опускались, и наконец, взлетев высоко, высоко, парили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песни среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Сопротивление стало невозможно.

— Ах мошенники! — вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди,— ах тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

— Кто едет? — спросил грубый голос.

— Бабушкино веретено! — отвечал младший из новых товарищей князя.

— В дедушкином лапте! — сказал грубый голос.

— Откуда бог несет, земляки?

— Не тряси яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожаю! — продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

— Вишь, боярин,— сказал незнакомец, равняясь с князем,— ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не боле, а там скоро и Москва!

— Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

— Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так

не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе верные холопи!

— Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

— У меня имя не одно,— отвечал младший из незнакомцев.— Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

— Ах ты, мой кормилец! — сказал он Перстню,— не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

— И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, боже сохрани, какой сердитый!

— А камора за ставом? — сказал Перстень.

— Вся завалена мешками!

— А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь!

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

— А скажите, молодцы,— спросил Михеич,— где ж отыскать вас, если б, неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

— Спроси у ветра,— отвечал Перстень,— откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится каленá стрела, там и дом ее! В свидетели,— продолжал он, усмехаясь,— мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

— Вишь ты, тетка твоя подкурятина! — проворчал себе под нос Михеич,— какие кудрявые речи выговаривает!

— Боярин,— сказал Перстень, удаляясь,— послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его как сидорову козу!

— Вишь, что наладил,— проворчал опять Михеич,— отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно с одного поля ягода! Не беспокойся, брат,— прибавил он громко,— наш князь никого не боится; наплевать ему на твово Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза яркосерого цвета; морщины во всех направлениях рассекали лицо его.

Поужинав и помолившись богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

— Боярин,— сказал Михеич, когда они остались одни,— сдается мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

— Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?

— Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть.

— Да что тебе здесь худо, что ли?

— Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник.

— Что ж с того, что он мельник?

— Как что, что мельник? — сказал с жаром Михеич.— Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да, черта с два! Тетка его подкурятина!

— Слыхал я про это,— сказал князь,— мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помолчал и спросил уже заспанным голосом:

— А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

— Я думаю, разбойник.

— И я тоже думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойник.

— И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

ГЛАВА 3

КОЛДОВСТВО

Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

— Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

— Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

— Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

— Я те дам сундук запирать, чертова кочерга,— закричал тот, которого мельник назвал князем,— разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

— Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, всё испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не ме-

шают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

— Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдумано, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

— Батюшка, умилосердись! что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу; что после случится, в том один бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

— Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

— Что ж, князь,— сказал мельник,— выучил ты слова?

— И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

— Что ж, боярин, и это не помогает?

— Нет,— отвечал с досадой князь,— ничего не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

— Не прогневись, боярин, не руби безвинной головы, а дозволь тебе слово молвить.

— Говори, старик.

— Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

— Говори! — закричал князь и топнул ногой.

— Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

— Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

— А если...— продолжал мельник, запинаясь,— если она любит не мужа?..

— Ах ты леший! — вскричал князь,— да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

— Колдун,—продолжал князь, смягчая свой голос,— помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня

заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалует царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

— Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

— Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, сбирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом, растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

— Меня уж и так боятся,— сказал он,— не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

— Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

— А боле нет других?

— Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми

кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

— А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замялся.

— Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю!

— А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава; когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски!

— Пропадай ты с своими травами! — сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

— Старик! — вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот,— подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

— Сжалься надо мной! — зарыдал он,— излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжалься надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

— Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь! — сказал дрожащим голосом мельник,— пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

— Начинай,— сказал он,— я готов.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освещенное месяцем, продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой в гущине леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

— Смотри, князь, под колесо, а я стану нашептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо. Прошло несколько минут.

— Что видишь, князь?

— Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы играют.

— Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

— Смотри еще, князь, что видишь?

— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

— Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще, говори, что́ видишь?

— Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

— Что это значит, старик?

— Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

— Вот потянулись багровые нитки, словно жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

— Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

— Постой,— сказал Вяземский, отталкивая мельника,— вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

— Постой, старик, мне дурно, мне больно в составах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение. Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

— Хочу знать, любит ли она другого!

— А есть ли у тебя, боярин, какая вещица от нее?

— Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

— Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

— Хлебни! — сказал он, подавая сулею князю.

Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилось.

— Смотри теперь, что видишь?

— Ее, ее!

— Одною?

— Нет, не одну! Их двое: с ней русый молодец в кармазинном кафтане, только лица его не видно. Постой! Вот они сплываются... все ближе, ближе... Анафема! они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!

Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдаленье, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь и вертеться.

ГЛАВА 4

ДРУЖИНА АНДРЕЕВИЧ И ЕГО ЖЕНА

Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею частью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались отдельными городами.

Надо всею этою путаницей церквей, домов, рощ и монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле не виданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили православные украшать дома божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами.

Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-реки, отличался особенною красотою. Дубовые бревна были на подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой — пространный сад, окруженный дубовым частоколом, из-за которого подымались красивые качели также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!

Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриев-

на, дочь окольничего Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а красота девушки, при нечестивых нравах новых царских любимцев, была ей чаще на беду, чем на радость.

Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин Дружина Андреевич!

Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней, и в церквах становился супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, только как ни бился князь Вяземский, а все получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свах к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою в церковь, стала на колени перед божьею матерью, плачет и кладет земные поклоны.

В церкви народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоял боярин Морозов в бархатном зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.

— О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? — спросил Морозов.

Узнав боярина, Елена обрадовалась.

Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли; одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боярина; схоронила себе на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопрос Морозова, она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о том, что приедут царские свахи, приневолят меня за Вяземского!

— Елена Дмитриевна,— сказал боярин,— полно,

вправду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девичье — воск: стерпится, слюбится!

— Никогда,— отвечала Елена,— никогда не полюблю его. Скорей сойду в могилу!

Боярин посмотрел на нее с участием.

— Елена Дмитриевна,— сказал он, помолчав,— есть средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты выйти за меня, старика?

— Согласна! — вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги.

Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он восторгу Елены, не догадался, старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый.

Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.

— Дитятко,— сказал он,— целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь, пред спасителем!

— Клянусь, клянусь! — прошептала Елена.

Боярин велел позвать священника, и вскоре совершился обряд обручения; когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она целовала крест быть ему верною и твердо решилась сдержать свою клятву, не погрешить против господина своего ни словом, ни мыслию.

И зачем бы не любить ей Дружины Андреевича? Правда, не молод был боярин; но господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил господь Дружину Андреевича: не благословил его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина; велел позвать его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана.

Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола: невместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком.

И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозову отойти от очей своих и отпустить седые волосы, доколе не сымется с него опала. И удалился от двора боярин; и ходит он теперь в смирной одежде, с бородою нечесаною, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но не опозорил он своего роду, не сел ниже Годунова!

Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою; всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену, Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро, и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие.

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди приветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы перед иконами внезапно представлялся воображению ее молодой витязь, летящий на коне с поднятым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки?

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!..»

Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двадцать четвертого, в день Ивана Купалы все колокола московские раскачались с самого утра и звонили без умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, убранные лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было бы

встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил бога, гуляя по улицам, ибо бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную пору; а грешно идти против воли божией, разве уж принудит неотложное дело.

Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе, или кабаке, слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники, почти все молодые, в богатых нарядах. Они расположились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были пьяны; иной, лежа на голой земле, проливал на платье чарку вина, другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные звуки. Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова.

В это время два всадника показались на улице. Один из них, в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под которой вилися густые русые кудри, обратился к другому всаднику.

— Михеич,— сказал он,— видишь ты этих пьяных людей?

— Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, бражники, как расходились!

— А видишь ты, что у лошадей за седлами?

— Вижу: метлы да песьи морды, как у того разбойника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

— Поди, спроси у них, где живет боярин Морозов!

— Эй, добрые люди, господа честные! — закричал Михеич, подъезжая к толпе,— где живет боярин Дружина Андреич Морозов?

— А на что тебе знать, где эта собака живет?

— У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого полку.

— Давай сюда грамоту!

— Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли? Как дать тебе князеву грамоту?

— Давай грамоту, старый сыч, давай ее! Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли извести государя!

— Ах ты мошенник! — вскричал Михеич, забывая осторожность, с которою начал было говорить,— да разве мой господин знается с изменниками!

— А, так ты еще ругаться! Долой его с лошади, ребята, в плети его!

Тут сам Серебряный подскакал к опричникам.

— Назад! — закричал он так грозно, что они невольно остановились.

— Если кто из вас,— продолжал князь,— хоть пальцем тронет этого человека, я тому голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдобровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек лет сорока, в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устах, осененных реденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и неопределенно.

Увидев Серебряного, он прервал свое пение, подошел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.

— Ты, ты! — сказал он, как будто удивляясь,— зачем ты здесь, между ними?

И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Опричники посторонились с видом почтения, но он, не обращая на них внимания, опять стал смотреть в глаза Серебряному.

— Микитка, Микитка!—сказал он, качая головой,— куда ты заехал?

Серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени.

— Разве ты знаешь меня? — спросил он.

Блаженный засмеялся.

— Ты мне брат! — отвечал он,— я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле моего, а то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые! А эти,— продолжал он, указывая на вооруженную толпу,— эти нам не родня! У!

— Вася,— сказал один из опричников,— не хочешь ли чего? Не надо ль тебе денег?

— Нет, нет, нет! — отвечал блаженный,— от тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай Микитке, чего он просит!

— Божий человек,— сказал Серебряный,— я спрашивал, где живет боярин Морозов?

— Дружинка-то? Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подымется!

— Где он живет? — повторил ласково Серебряный.

— Не скажу! — ответил блаженный, как будто рассердившись,— не скажу, пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело!

И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом

Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам.

— Что ж,— спросил он,— скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова?

— Ступай все прямо,— отвечал грубо один из них — Там, как поворотишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона.

По мере того как князь удалялся, опричники, усмиренные появлением юродивого, опять начинали буянить.

— Эй! — закричал один,— отдай Морозову поклон от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу; больно зажился!

— Да и на себя припаси веревку! — крикнул вдогонку другой.

Но князь не обратил внимания на их ругательства.

«Что хотел сказать мне блаженный? — думал он, потупя голову.— Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?»

Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.

ГЛАВА 5

ВСТРЕЧА

Проезжая верхо́м по берегу Москвы-реки, можно было поверх частокола видеть весь сад Морозова.

Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошеной траве пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в липах жужжали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за кустов красной смородины большие подсолнечники подымали широкие головы и, казалось, нежились на полуденном солнце.

Боярин Морозов уже с час, как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с девушками.

— Боярыня,— сказала одна из них,— примерь еще вот эти запястья, они повиднее.

— Будет с меня примерять, девушки,— отвечала ласково Елена,— вот уж битый час вы меня наряжаете да укручиваете, будет с меня!

— Вот еще только монисто надень! Как наденешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона в окладе!

— Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!

— Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?

— Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты намедни пела, как вы ягоды собирали!

— И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне веселого! То грустная песня, не праздничная.

— Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька!

— Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Нуте ж, подруженьки, подтягивайте!

Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали;
Ах, кабы на меня да не кручина,
Ни о чем бы я не тужила,
Не сидела б я, подпершися,
Не глядела бы я во чисто поле...

. . . .

Я по сеням шла, по новым шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтоб моя шубка не прошумела,
Чтоб мои пуговки не прозвякнули,
Не услышал бы свекор-батюшка,
Не сказал бы своему сыну,
Своему сыну, моему мужу!

Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.

— Ах я глупенькая! — сказала Пашенька,— чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!

— Охота ж тебе и знать их! — подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями.— Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:

Пантелей-государь ходит по двору,
Кузмич гуляет по широкому,

Кунья на нем шуба до́ земли,
Соболья на нем шапка до́ верху,
Божья на нем милость до́ веку.
Сужена-то смотрит из-под пологу,
Бояре-то смотрят из города,
Боярыни-то смотрят из терема.
Бояре-то молвят: чей-то такой?
Боярыни молвят: чей-то господин?
А сужена молвит: мой дорогой!

Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вот тебе и песня! — сказала Пашенька.— Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!

— Девушки, душечки! — сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке,— пособите порыдать, помогите поплакать!

— Да что с тобой сталось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?

— Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрени звонить да увидела я из светлицы, как народ божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи!

— Что ты, боярыня, грех какой! Заплесть тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!

— Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!

— Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмем!

«Неужели,— подумала Елена,— грешно и вспоминать о прошлом!»

— Так и быть,— сказала она,— не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали!

Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила

их на равные делянки и начала заплетать широкую русскую косу в девяносто прядей. Много требовалось на то уменья. Надо было плесть как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь неприметно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.

Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.

— Готово, Пашенька,— сказала она, радуясь своей работе,— встань-ка да пройдись передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника?

— Все в свою пору, боярыня,— отвечали, смеясь, девушки,— а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!

— Полноте вы, пересмешницы! — отвечала Дуняша.— Мне бы хотя век косы не расплетать! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!

Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.

— Нагнись, Пашенька,— сказала боярыня,— я тебе повяжу еще ленту с поднизами... Девушки, да ведь сегодня Ивана Купала, сегодня и русалки косы заплетают!

— Не сегодня, боярыня, а в семик и троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папортника, чтобы кто не сорвал его цвета.

— Бог с ними,— сказала Пашенька,— мало ли что бывает в Иванов день, не приведи бог увидеть!

— А ты боишься русалок, Пашенька?

— Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить страшно, все равно что в троицын день или на русальную неделю. Девушку защекотят, молодца любовью иссушат!

— Говоришь, а сама не знаешь! — перебила ее другая девушка.— Какие под Москвой русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украйне, там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый — бросишь жену и детей, коли холостой — забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

— Девушки,— сказала она, помолчав,— что, в Литве есть русалки?

— Там-то их самая родина; что на Украйне, что в Литве — то все одно...

Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот, и белая шапка Серебряного показалась над частоколом.

Увидя мужчину, Елена хотела скрыться; но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснились в его голову, одна другой противореча. Он видел пред собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?

Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.

Она была замужем!

«Брежу ли я? — подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд,— во сне ли это вижу?»

— Девушки! — упрашивала Елена,— отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одную! Боже мой, боже мой! Пресвятая богородица! Что мне делать! Что сказать мне!

Серебряный между тем оправился.

— Елена Дмитриевна,— произнес он решительно,— отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?

Елена в отчаянье искала слов и не находила их.

— Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!

— Выслушай меня, Никита Романович! — прошептала Елена.

Князь задрожал.

— Нечего мне слушать,— сказал он,— я все понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!

И он рванул коня назад.

— Никита Романыч! — вскричала Елена,— молю тебя Христом и пречистою его матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!

Она не в силах была продолжать; голос ее замер, колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.

Судорога пробегала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.

Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винилась в невольной измене, говорила, что должна бы скорей наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие.

— Ты не можешь меня любить, князь,— говорила она,— не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей.

Князь слушал, нахмуря брови, но не отвечал ничего.

— Никита Романыч,— прошептала Елена боязливо,— ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.

Сильная борьба происходила в Серебряном.

— Боярыня,— сказал он наконец, и голос его дрожал,— видно, на то была воля божия... и ты не так виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не кляну тебя,— нет — видит бог, не кляну — видит бог, я... я по-прежнему люблю тебя!

Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.

В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания, они бросились друг к другу, и уста их соединились...

Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу? Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча!

ГЛАВА 6

ПРИЕМ

Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, которых личность глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целою головой выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал проницательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным. Но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.

— Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! — сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусяную избу с изразцовою лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках.— Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бы-

вало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слыхал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят катал!

И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.

— А помнишь ли, Никитушка,— продолжал он, обняв князя одною рукой за плеча,— помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!

Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.

— Боярин,— сказал он,— вот грамота к тебе от князя Пронского.

— Спасибо, князь. После прочту; время терпит; теперь дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать!

Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.

— Князь,— сказал Морозов,— это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романея, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!

Морозов низко кланялся.

Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок.

Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.

— Что с тобой, Елена? — сказал вдруг Морозов,— уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело!

Оленушка,— прибавил он шепотом,— уж не опять ли проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал мимо саду! Не кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитятко, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее,. а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь.

— Благодарю, боярин, обедал.

— Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, боярин, закуси чем бог послал, не обидь старика опального! И без того мне горя довольно!

Морозов указал на свои длинные волосы.

— Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.

Морозов вздохнул.

— За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!

При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.

Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.

— Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!

— Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!

— Прогневили мы, видно, бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто по-насердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не боясь Страшного суда божия, и крест

накриве целовали, и руки в письмах лживили! Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытают по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч! Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, может, слыхал про это?

— Слыхал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему дивиться. Царь волен казнить своих злодеев!

— Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольничего Адашева (Алексеева брата) с малолетным сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.

Негодование выразилось на лице Серебряного.

— Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!

— Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце!

— Боярин! — вскричал Серебряный, вскакивая с места,— если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником! Я бы сам наложил руки на него!

— Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же? На государя моего!

— Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?

— Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михайло Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! —

сказал Репнин,— не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский!» — и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме божием!

— Боярин! Это бог нас карает!

— Да будет же над нами его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенок. Многие винились с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояр, тех самих предавали смерти. Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убойцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голосят: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на конь; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим, ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди — все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал за посады.

Воротились мы в домы и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту; пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де, куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: «Бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить!»

Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам бог поставил его над нами, и, видно, по божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собралися мы в Думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолившися богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы, и борода, почитай, совсем вылезли. Что с ним сталось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.

— А какой же уговор он прочил себе? — спросил Серебряный.

— А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая; такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в Думу и нас и духовенство. А когда собралися мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной докуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особный обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а все достальное — то земщина. А боярам-де и митрополиту со властьми в мой домовой особный обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да все таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все домы и все

добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из опричнины, словно животину. Право, Никита Романыч, ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!

— Да зачем же вы согласились на этот уговор? — заметил Серебряный.

— Что ты, князь? Разве царю можно указывать? Разве он не от бога?

— Вестимо, от бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

— А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?

Серебряный задумался.

— Так,— проговорил он, немного помолчав,— нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на все да молчите?

— Я-то, князь, не молчу,— отвечал Морозов с достоинством.— Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. Наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной,— ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов,— этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться; всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя, и нас всех, окаянный! Ну да что про него!

Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.

Между тем слуги накрыли на стол.

Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студеней разного роду, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе малвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:

— Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвети его бог! Открой ему очи! — отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.

Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.

Морозов выслушал его с большим вниманием.

— Плохо, князь,— сказал он, почесывая крутой лоб свой,— больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя; а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знамое, что́ можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь,— продолжал Морозов,— когда хотел ты здравствовать государю?

— Завтра, чем свет, как выйдет его милость из опочивальни.

— Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с лишком сто верст ехать!

— Как? Разве царь не в Кремле?

— Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господа, бросил нас государь, воротился в Александрову слободу, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна ни покрышки!

— Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра чем свет отправлюсь в Слободу.

— Не езди, князь!

— Отчего, боярин?

— Не снести тебе головы, Никита Романыч.

— На то божья воля, боярин; что будет, то будет!

— Послушай, Никита Романыч. Ведь ты меня забыл, а я помню тебя еще маленького. Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царствие ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит бог, не завидна! Коли поедешь в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал.

— Что ж, боярин, видно, мне так на роду написано!

— Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у меня в доме как сын родной!

— Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего.

— Никита Романыч, Курбский — изменник. Он ушел ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?

— Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

— Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвященным и уладили б твое дело, а теперь ты попадешь как смола на уголья!

— Жизнь наша в руке божией, боярин Не пригоже стараться продлить ее хитростью боле, чем богу угодно.

Спасибо за хлеб-соль,—прибавил Серебряный, вставая,— спасибо за дружбу (при этих словах он невольно смутился), но я поеду. Прости, Дружина Андреич!

Морозов посмотрел на князя с грустным участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте.

— Да будет же над тобой благословение божие, Никита Романыч! — сказал он, подымаясь со скамьи и обнимая князя,— да умягчит господь сердце царское. Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из пещи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, от всего сердца, от всей души!

Пословица говорится: пешего до ворот, конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилось. Он остановил коня. К частоколу подошла Елена.

— Князь,— сказала она шепотом,— я слышала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!

— Елена Дмитриевна! Видно, так угодно господу, чтобы приял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне господь счастья, не мне ты досталась, Елена Дмитриевна! Пусть же надо мной воля божия!

— Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать! Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла?

— Пропадай она! — сказал Серебряный и махнул рукой.

— Пресвятая богородица! Коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть других! Пожалей хоть меня, Никита Романыч! Вспомни, как ты любил меня!

Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для

него навеки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упрашивал?

Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении, но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нет,— подумал он,— да будет мне стыдно, если я хотя мыслию оскорблю друга отца моего! Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от смерти!»

— Мне нельзя не ехать! — сказал он решительно.— Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена!

Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась оземь.

— Расступись же подо мной, мать сыра-земля! — простонала она,— не жилица я на белом свете! Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!

Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену; но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотреть князя и донести боярину. Серебряный это понял и, чтобы спасти Елену, решился от нее оторваться.

— Елена, прости! — сказал он,— прости, душа, радость дней моих! Уйми свои слезы, бог милостив, авось мы еще увидимся!

Облака задернули месяц; ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачалися старые ветви, будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром добрый молодец, пропадет и его полюбовница!

Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею, в глубине сада, темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевич?

ГЛАВА 7

АЛЕКСАНДРОВА СЛОБОДА

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от Лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспрестанно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

— Пожалейте, государи, нас,— говорили они на все голоса,— вам господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашею подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

— Отцы наши, батюшки! — пели иные протяжно, сидя у самой дороги,— дай вам господи доброе здоровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник.

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царскою милостыней.

Проходили также слепые гусляры и сказочники, с гуслями на плечах и держась один за другого.

Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи — ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбои в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их без милосердия; зато и разбойники не остава-

лись у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на верную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в *неволю?* Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашеные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал бóльшую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностию успокоивать душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и с Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказы-

вали осмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или монастырь, государев отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое; ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание. Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богоматери покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, окрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета.

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

— Это наши качели, боярин,— промолвил один из них, указывая на виселицы,— видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз не сводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищи его спешились и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в

зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную *редьку*. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими каменьями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности; но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам пе-

ред въездом в *неволю.* Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.

— Так, так,— сказал он,— ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови.

— Вставай, боярин! — сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленною саблей в руке. Медведь с разрубленною головою лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасиба, он хотел отойти.

— Добрый молодец! — сказал ему Серебряный,— назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу помолиться!

— Что тебе до моего прозвища, боярин! — отвечал опричник.— Не люблю я его, бог с ним!

Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

— Ну, батюшка, Никита Романыч,— сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежью кровь с князя,— набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы бросил он тебя да на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с маслеными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали,— прибавил Михеич шепотом,— виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того

деньгами. Если же медведь задирал кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть также (и это случалось часто), царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заране, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званых было семьсот человек.

ГЛАВА 8

ПИР

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом; государю — высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный чет-

вероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя.

Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими каменьями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более порази-

ли князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиялкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

— Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

— Это царевич Иоанн Иоаннович,— отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:

— Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствованья!

— А этот молодой черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

— Ты видел его, князь, пять лет тому, рындою при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь,— продолжал боярин, понижая голос,— видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебедя, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

— Этот? — спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

— Да,— сказал Серебряный, вглядываясь в Годунова,— теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

— Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что́ ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А тата-

рин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! — говорит,— моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» — то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» — сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек,— продолжал боярин, глядя на Годунова,— никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот,— продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой,— то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

— Скажи, боярин,— спросил он,— кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть ножом порет!

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменился он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иваныч Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговари-

вает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

— Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское, мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали. держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

— Василий-су! — сказал Басманов,— великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

— Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и

его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

— Боярин пьян,— сказал Иван Васильевич,— вынести его вон! — Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» — подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерек с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкой, Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что

не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличилися в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди, были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали куб-

ки романеи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь проницательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приязненных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственною светлою стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком *худородным*, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унизить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его че-

лобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

— Афанасий,— сказал он полуласково, полунасмешливо,— долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь — змея лютая?

— Вяземский не опричник,— заметил царевич.— Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гуслярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

— Царевич! — вскричал Вяземский,— если бы тебе было годков пять поболе да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померялись бы с тобой, и сам бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гуслях играть!

— Афонька! — сказал строго царь.— Не забывай, перед кем речь ведешь!

— Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич,—отвечал дерзко Вяземский,— коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

— Нет,— сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки,— рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлою ночью слепой Филька:

«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. «Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича».— «Добро,— сказал Алеша,— полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!» Взял двенадцать слуг своих добрыих, вломился в терем Змиевича и увез его молоду

жену. «Исполать тебе, добрый молодец,— сказала жена,— что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!»

— А что, Афоня,—прибавил царь, пристально смотря на Вяземского,— как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылали очи пожаром.

— Афанасий,— продолжал царь,— я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми,— прибавил он значительно,— возьми с собой, для почету, поболе опричников!

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слыхал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников. Не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

— Государь! — вскричал Малюта,— дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

— Государь! — продолжал Малюта,— намедни послал я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопями напал на объезжих людей. Многих убили до́ смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодованье. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

— Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.

ГЛАВА 9

СУД

Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили слугу его!

Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

— На кого ты просишь,— спросил он,— как было дело? Рассказывай по ряду!

— На кого прошу, и сам не ведаю, надежа православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

— Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было

нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

— Полно, правду ли ты говоришь, детинушка,— сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком,— не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

— Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

— А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

— Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетьми избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

— А много ль вас было в объезде?

— Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!

— А много ль ихних было?

— Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

— И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бела дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричнину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!

— Надёжа-государь! — отвечал стремянный с твердостию,— видит бог, я говорю правду, А казнить меня твоя воля; не боюся я смерти, боюся кривды, и в том шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его.

— Государь,— сказал он, вставая,— коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

— Никита! — сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово,— подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

— Знаю, государь.

— Нападал ты на него с товарищи?

— Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню. .

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя.

— Государь,— сказал он,— не слушай боярина. То он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

— Государь,— сказал он,— я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьми, затем велел бить...

— Довольно! — сказал строго Иван Васильевич.— Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

— Не ведал, государь.

— А когда хотел повесить их, сказались они тебе?

— Сказались, государь.

— Зачем же ты раздумал их вешать?

— Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.

— Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?

Серебряный не нашелся отвечать.

Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

— Не затем,— сказал он,— не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказа-

лись они тебе людьми царскими. И ты,— продолжал царь с возрастающим гневом,— ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьми?

— Государь...

— Довольно! — загремел Иоанн.— Допрос окончен. Братия,—продолжал он, обращаясь к своим любимцам,— говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного.

— Говорите ж, люди,— повторял он, возвышая голос,— что заслужил себе Никита?

— Смерть! — отвечал царевич.

— Смерть! — повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

— Так пусть же примет он смерть! — сказал Иоанн хладнокровно.— Писано бо: приемшие нож, ножем погибнут. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

— Братия! — сказал он,— прав ли суд мой?

— Прав, прав! — раздалось между ближними опричниками.

— Прав, прав! — повторили отдаленные.

— Неправ! — сказал один голос.

Опричники взволновались.

— Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев? — послышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

— Кто говорит, что неправ суд мой? — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение.— Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

— Государь,— произнес Малюта в сильном волнении,—между добрыми слугами твоими теперь много пья-

ных, много таких, которые говорят, не помня, не спрошаючи разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

— Отец параклисиарх! — сказал он, усмехаясь,— давно ль ты умилился сердцем?

— Государь! — продолжал Малюта,— не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя.

— Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой,— сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына.— Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

— Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

— Не слушай его, государь,— умолял Малюта,— он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь, как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

— Максим не пил ни вина, ни меду,— заметил злобно царевич.— Я все время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

— Да,— прибавил он, усмехаясь.— Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

— Батюшка, государь Иван Васильевич! — проговорил он, хватаясь за полы царской одежды,— сего утра я, дурак глупый, деревенщина необтесанный, просил те-

бя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что̀ говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаянье написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

— Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! — сказал он,— Максим прав!

— Что ты, государь? — вскричал Малюта,— как Максим прав? — И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

— Максим прав,— повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид,— я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это вы, окаянные,— продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым,— это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убойства? Нужно было извести моего доброго боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

— Не поздно, государь,— сказал Годунов, возвращаясь в палату.— Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху, палач, снём кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

— Борис,— сказал он,— подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Федорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

— Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую. Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напредки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

— Какое идет тебе жалованье? — спросил Иоанн.

— Против рядовых людей обычное, государь.

— Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь!

— Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостоин одежи богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

— Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

— Постыла, государь.

— Чтó так? — спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

— Государь,— сказал он,— хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

— Не затем он просится,— подхватил царевич,—а затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

— Вот как! — сказал Иоанн насмешливо.— Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой бога-

тырь! Ну где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники вписать!

— Эх, государь! — поспешил сказать Малюта,— куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

— Подойди сюда, князь!—сказал Иоанн — Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

— За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать!

— А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался.

— И тогда побил бы, государь,— сказал он простодушно,— не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание.

— Добрый твой ответ, Никита! — сказал он, одобрительно кивнув головой.— Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки добрые псы, боронить от пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на

Страшном суде божием по пророческому словеси: се аз и дети, яже дал ми бог! Добрый твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят; называют меня кровопийцею, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедают, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль,— продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб),— яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

— Отвечай,— сказал он грозно,— что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили?

Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

— Потравились маленько с мужиками! — отвечал он полухитро, полудерзко,— нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

— Что ж,— сказал он,— удоволен ты княжескими шелепугами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой проницательный взор на земских бояр.

— Вы! — сказал он строго,— не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! — И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаб-

лению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку.

— Слушай! — произнес он, глядя на князя,— я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощения моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

— Государь! — сказал Серебряный,— жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае.— Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

— Целуй же мне на том крест! — сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

— Теперь ступай! — сказал Иоанн,— и молись премилостивой троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины!

— Вы же,— прибавил он, глядя на земских бояр,— вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

— Ступайте все,— сказал он,— каждый к своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим, помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лицеприятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался

темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косящатое, смотрят светлые, притуманившись,— притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрошаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»

ГЛАВА 10

ОТЕЦ И СЫН

Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободою и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу.

— Батюшка,— сказал Максим,— я ждал тебя; мне нужно переговорить с тобою.

— О чем? — спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.

— Я завтра еду,— продолжал Максим,— прости, батюшка!

— Куда? — спросил Малюта и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима.

— Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином сошлась, места довольно!

— Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто он и кто ты?

— Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А все же мне нельзя оставаться.

— Ах ты самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что сталось с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?

— Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля — божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я один противу всех вас? Поневоле уезжать откладывал. А сегодня,— продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его,— сегодня я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть,— тогда забилось к нему сердце мое, как ни к кому еще не бивалось, и вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как день, что не на вашей стороне правда!

— Так вот кто тебя с толку сбил! — вскричал Малюта, и без того озлобленный на Серебряного,— так вот кто тебя с толку сбил! Попадись он мне только в руки, не скорою смертью издохнет он у меня, собака!

— Господь сохранит его от рук твоих! — сказал Максим, делая крестное знамение,— не попустит он тебя все доброе на Руси погубить! Да,— продолжал, одушевляясь, сын Малюты,— лишь увидел я князя Никиту Романыча, понял, что хорошо б жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было: очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежу носить!

Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению, но невольное уважение сковывало его злобу. Он

понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтоб удержать сына.

— Максимушка! — сказал он, принимая заискивающий вид, насколько позволяло зверское лицо его,— не в пору ты уезжать затеял! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да заступились, видно, святые угодники за нас, умягчили сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он похвалил тебя, и жалованья тебе прибавил, и собольею шубой пожаловал! Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдешь! А покамест чем тебе здесь не житье?

Максим бросился в ноги Малюты.

— Не житье мне здесь, батюшка, не житье! Не по силам дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плач по вся дни, невтерпеж видеть, что отец мой...

Максим остановился.

— Ну? — сказал Малюта.

— Что отец мой — палач! — произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этим названием.

— Палач палачу рознь! — произнес он, покосившись в угол избы.—Ино рядовой человек, ино начальный; ино простых воров казнить, ино бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанье готовят. Я в разбойный приказ не вступаюсь; мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы!

— Замолчи, отец! — сказал, вставая, Максим,— не возмущай мне сердца такою речью! Кто из тех, кого погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты боярские головы! Кабы не ты, и царь был бы милостивее. Но вы ищете измены, вы пытками вымучиваете изветы, вы, вы всей крови заводчики! Нет, отец, не гневи бога, не клевещи на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь вконец извести боярский корень!

— Да ты-то с чего за них заступаешься? — сказал с злобною усмешкой Малюта.— Или тебе весело видеть, что ты как ни статен, как ни красен собой, а все остаешься между ними последний? А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой,

что ли, земли господь их вылепил? Коли богачеством гордятся, так дайте срок, государи! Царь не забывает верных слуг своих; а как дойдут до смертной казни Колычевы, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними, окаянными, в застенке-то промучился; жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно.

Но Малюта этого не заметил.

— Максимушка,— сказал он,— на кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня! Вспомни, что я тебе отец! Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе, словно царь меня похвалил или к руке пожаловал, а обидь тебя кто,— так, кажется, и съел бы живого!

Максим молчал, Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение.

— Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мне в сердце не шелохнется?

— Ничего, батюшка!

Малюта подавил свою злобу.

— А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд, коли подумает, что ты от него уехал?

— От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет. Знаю, что бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так все нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из Слободы да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда, даст бог, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в опричниках!

— А что будет с матерью твоею? — сказал Малюта, прибегая к последнему средству.— Не пережить ей такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хворая!

— Премилостивый бог не оставит матери моей,— ответил со вздохом Максим.— Она простит меня.

Малюта начал ходить по избе взад и вперед.

Когда остановился он перед Максимом, ласковое вы-

ражение, к которому он приневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

— Слушай, молокосос,— сказал он, переменяя приемы и голос,— доселе я упрашивал тебя, теперь скажу вот что: нет тебе на отъезд моего благословения. Не пущу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, перестанешь отцом гнушаться!

Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли.

— Вишь,— продолжал Малюта,— разговорился я с тобой; скоро ночь глубокая, пора к царю, ключи от тюрьмы отнести. Вот и дождь полил! Подай мне терлик. Смотри пожалуй, какой стал прыткий! ехать хочу, не житье мне здесь! Дай ему воли — пожалуй, и меня на свой лад переиначит! Нет, брат, рано крылышки распустил! Я и не таких, как ты, унимал! Я те научу слушаться! Эх, погода, погода! Подай мне шапку. А молонья-то, молонья! Ишь как небо раззевается! словно вся Слобода загорелась. Заволоки окно да ступай спать, авось к утру выкинешь дурь из головы. А уж до твоего Серебряного я доберусь! Уж я ему это припомню!

Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Все было тихо в доме; лишь на дворе гроза шумела да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о другую, звенели зловещим железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жилье, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все молчало в верхнем жилье. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которою покоилась мать его.

— Господи боже мой! — сказал Максим про себя.— Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли! Ты знаешь, господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, боже мой, аще преступаю твою заповедь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя серд-

цем, но ты б не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня боле!

Максим припал к порогу светлицы и облобызал его. Потом он несколько раз перекрестился, сошел с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд божий. На дворе не было живой души. Максим вошел в конюшню, конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная и жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его.

Максим погладил собаку, а она положила ему свои черные лапы на плеча и стала лизать его лицо.

— Прощай, Буян,— сказал Максим,— стереги дом наш, служи верно матери! — Он вскочил в седло, выехал в ворота и ускакал от родительского дома.

Еще не доскакал он до земляного валу, как услышал громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопутствовать своему господину.

ГЛАВА 11

НОЧНОЕ ШЕСТВИЕ

Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Онуфревну.

Стара была его мамка. Взял ее в Верьх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках; у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Онуфревну, что многое ей известно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боя-

лись ее; Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей.

Много сокрытого узнавала Онуфревна посредством гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева — Иоанну тогда было четыре года—она предсказала князю, что он умрет голодною смертью. Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказанье.

Теперь Онуфревне добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Онуфревны пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась.

Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.

— Что? — сказала наконец мамка глухим, дребезжащим голосом,— молишься, батюшка? Молись, молись, Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на день придется!

— Полно, Онуфревна,— сказал царь, вставая,— сама не знаешь, что́ говоришь!

— Не знаю, что́ говорю! Да разве я из ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблистали.

— Да что ты сегодня за столом-то сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что? чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на дно адово! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила

воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противуставил молитву; но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его как железными когтями. Неправость дел его являлась во всей наготе, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможенья.

Теперь мысль об аде, оживленная наступающею грозои и пророческим голосом Онуфревны, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой.

— Ну, что, батюшка?—сказала Онуфревна, смягчая свой голос,— что с тобой сталось? Захворал, что ли? Так и есть, захворал! Напугала же я тебя! Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благость-то божия еще больше! Только покайся, да вперед не греши. Вот и я молюсь, молюсь о тебе и денно и нощно, а теперь и того боле стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю!

Иоанн взглянул на свою мамку,—она как будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее.

— Спасибо, Онуфревна, спасибо; мне легче; ступай себе с богом!

— То-то легче! Как обнадежишь тебя, куда и страх девался! уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с богом! А ты на долготерпение-то божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у господа терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, царствие ему небесное! И матушка твоя, упокой господи душу ее, любила сбитень. В сбитне-то и опоили ее проклятые Шуйские!

Старуха как будто забылась Глаза ее померкли; она опять принялась жевать губами, беспрерывно шатая головой.

Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

— Вишь,— сказала она,— дождь полил! И молонья блистать начинает! А вот и гром, батюшка, помилуй нас господи!

Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по небу беспрерывными перекатами. беспрестанною молнией.

При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.

— Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить ..

— Не надо. Онуфревна, я здоров. .

— Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И чтой-то у тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Царское ли это дело! Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой!

Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.

— Онуфревна,— сказал он вдруг с испугом,— кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!

— Христос с тобой, батюшка! кому теперь ходить. Послышалось тебе.

— Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь. Холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта.

— Кто это? — спросил царь, вскакивая.

— Да твой рыжий пес, батюшка,— отвечала мамка, сердито глядя на Малюту,— Гришка Скуратов; вишь, как напугал, проклятый!

— Лукьяныч! — сказал царь, обрадованный приходом любимца,— добро пожаловать; откуда?

— Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи принес! — Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

— Ключи! — проворчала старуха,— уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты эта-

кой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!

Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с подъятою клюкой, с сверкающими глазами.

Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило присутствие любимца.

— Не слушай ее, Лукьяныч,— сказал он,— знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура, оставь нас!

Глаза Онуфревны снова засверкали.

— Старая дура? — повторила она,— я старая дура? Вспомянете вы меня на том свете, оба вспомянете! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский; комуждо воздастся по делам его, а этот,—продолжала она, указывая клюкою на Малюту,— этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое, теплое место!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.

Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.

— Что ж, Лукьяныч,— сказал наконец царь,— винятся Колычевы?

— Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!

Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.

Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.

Его разбудил как будто внезапный толчок.

Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.

Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.

Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился.

Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навыкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.

«Опять наваждение! — подумал царь,— но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснет бог, и да расточатся врази его!»

Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.

Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.

Мертвец наклонился перед Иоанном.

— Здрав буди, Иване! — произнес глухой нечеловеческий голос,— се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!

Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.

Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольничего Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.

Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:

— Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!

За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:

— Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!

Потом показались князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметев и другие казненные или убитые Иоанном.

Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:

— Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!

Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.

Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.

Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручонки и лепетали:

— Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!

Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различать воображения от действительности.

Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.

— Именем бога живого,— произнес он,— если вы бесы, насланные вражьею силою,—сгиньте! Если вы вправду души казненных мною — дожидайтесь Страшного суда божия! Господь меня с вами рассудит!

Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю послышались как будто звуки труб и голос, взывающий:

— Иване, Иване! на суд, на суд!

Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню

— Вставайте! — закричал царь,— кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!

Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.

Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шлыками.

Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни обра-

зовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом божиим.

Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные светочи. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях.

Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:

— Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, господи, души побитых мною безвинно!

У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении

Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.

— Встань, батюшка! — сказала Онуфревна,— я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!

Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.

Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Храмовые врата поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.

Среди ночи, дотоле безмолвной. раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.

Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.

— Это царь заутреню служит! — сказали они — Умягчи, боже, его сердце, вложи милость в душу его!

Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач.

Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

— Молчи! — говорила она наконец,— молчи, не то Малюта услышит!

И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да беспрерывный звон колокольный

ГЛАВА 12

КЛЕВЕТА

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.

Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.

Конский топот и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.

— Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал царевич, останавливая коня.— Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?

И царевич захохотал.

Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженною головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.

— Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу,— добро на ком другом, а на нем не заметно!

Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу.

«Добро! — думал он про себя,— дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку; и в сердце, уже раздраженном сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.

Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич си-

дел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, беспрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Враг имени Христова,— думал он,— упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не устрашуся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»

И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.

И стал он мыслию пробегать подданных и между ними искать предателей.

Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным.

Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений.

Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред.

— Государь,— сказал, помолчав, Григорий Лукьянович,— ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положись на меня. Я про все заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею: не сумею заставить их назвать твоего нàбольшего супротивника!

Царь с удивлением взглянул на любимца.

В глазах Малюты было что-то необыкновенное.

— Оно, государь, дело такое,— продолжал Скуратов, и голос его изменился,— что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится...

Царь смотрел на него вопрошающим оком.

— Вот ты, государь, примерно, уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и вдесятеро более, а измены всё не избудешь!

Царь слушал и не догадывался.

— Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровехонек!

Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством.

— Видишь, государь, как бы тебе сказать. Вот, примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал, дай бог тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, трудного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно, братец твой Володимир Андреич!

«А! — подумал царь,— так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата!»

— Говори,— сказал он, обращаясь грозно к Малюте,— говори, что знаешь про Володимира Андреича!

— Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.

— Про кого же? — спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.

— Видишь, государь: Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим...

Малюта замялся.

— Кого? — спросил царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленел.

— Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.

— Кого? — повторил Иоанн, вставая с места.

Малюта медлил ответом.

Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

— Государь,— сказал он вполголоса,— ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!

— Говори! — произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.

— Ему-то и на ум бы не взбрело,— продолжал Малюта, избегая царского взора,— ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе: немного позже, немного ране, все тем же кончится.

Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.

Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара.

— Государь! — сказал он вдруг резко,— не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя, он пьет с тобою с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча!

Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решился устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он наконец Малюту.

В это мгновение раздались на дворе радостные крики.

Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью и с челобитьем.

Увидев царевича, они все стали на колени.

— Чего вы просите, аршинники? — спросил небрежно царевич.

— Батюшка! — отвечали старшины,— пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Умилосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами и с детьми!

— Вишь, дурачье! — сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову.— Они б хотели и жен и товар про себя одних держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!

— Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! — закричали торговые люди.

Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом-солью.

Малюта все видел из окна.

— Государь,— шепнул он царю,— должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здоровает!

И как чародей пугается недоброй силы, которую сам он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.

С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта.

Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся.

— Гриша,— сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова,— как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья да ветки, а ствол-то стоит здоровешенек? Гриша,— продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью,— берешься ли ты вырвать с корнем измену?

Злобная радость скривила рот Малюты.

— Для твоей милости берусь,— прошептал он, дрожа всем телом.

Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора.

— Не надо медлить! — сказал он отрывисто и повелительно.— Никто чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты Поганую Лужу?

— Знаю, государь.

— Там чтоб нашли его! — Царь указал на дверь.

Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.

Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени.

Изо всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казнили боярина, требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько.

К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи,— в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные ножами.

Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал Поганою Лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.

Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Черный ворон пролетал над вершинами дерев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором.

Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один беспрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась достоянием силы нечистой.

К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой.

В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.

ГЛАВА 13

ВАНЮХА ПЕРСТЕНЬ И ЕГО ТОВАРИЩИ

На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней; а между ними на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев лежало и сидело множество людей разных возрастов, в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферязи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом, виднелись сквозь ветви дерев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистени или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всклокоченных голов и бород нечесаных.

Удалое товарищество разделилось на разные кружки. В самой средине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы; дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотною стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму.

Немного подалее старик, с седою кудрявою головой, с длинною бородой, рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором, и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением Они уши поразвесили и рты пораззевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза; но бóльшая часть лежала на животах, упершись локтями оземь, а подбородком о ладони: оно-де сподручнее.

Далее двое молодцов тузили друг друга по голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее. Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжие кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

— Эй, не будет ли с тебя, Хлопко? — спросил тот, который казался послабее.

— Небось, брат Андрюшка! когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придется!

И кулаки продолжали стучать.

— Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится,— говорили зрители.

— Нет, не свалится! — отвечали другие.— Зачем ему свалиться, у него голова здорова!

— А вот увидишь, свалится!

Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и, вместо чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок.

Хлопко опрокинулся.

Многие из зрителей захохотали, но бóльшая часть изъявила негодование.

— Не честно! не честно! — закричали они.— Андрюшка слукавил! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчас же отодрали.

— Откуда молодцов бог несет? — спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались во все стороны.

Их привел ражий детина с широким ножом за поясом; на парнях не было оружия, они казались новичками.

— Слышь, вы, соколики! — сказал, обращаясь к ним, ражий детина,— дедушка Коршун спрашивает, откуда вас бог принес? Отвечайте дедушке!

— Да оно, тово, вот как будет. Я-то из-под Москвы! — отвечал один из парней, немного запинаясь.

— А зачем из гнездышка вылетел? — спросил Коршун,— нешто морозом хватило али чересчур жарко стало?

— Стало быть, жарко! — отвечал парень.— Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозом хватило на дворе!

— Вот оно как. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришел?

— А родни искать!

Разбойники захохотали.

— Вишь, что выдумал! Какой тебе родни?

— Да как убили опричники матушку да батюшку, сестер да братьев, скучно стало одному на свете; думаю себе: пойду к добрым людям; они меня накормят, напоят, будут мне братьями да отцами! Встретил в кружале вот этого молодца, догадался, что он ваш, да и попросил взять с собою.

— Добрый ты парень! — сказали разбойники,— садись с нами, хлеб да соль, мы тебе будем братьями!

— А этот чего стоит, повеся нос, словно не солоно хлебал? Эй ты, плакса, что губы надул? Откуда ты?

— С-под Коломны! — отвечал, лениво ворочая языком, дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других.

— Что ж, и тебя опричники обидели, что ли?

— Нявесту взяли! — отвечал парень нехотя и протяжно.

— А ну-ка, расскажи!

— Да что тут рассказывать! Наехали, да и взяли!

— Ну, а потом?

— Что ж, потом? Потом ничаво!

— Зачем же ты не отбил невесты?

— Где ж ее было отбивать? Как наехали, так и взяли.

— А ты на них так и смотрел, разиня рот?

— Нет, опосля, как удрали-то, так уж так осерчал, что боже сохрани.

Разбойники опять захохотали.

— Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!

Парень скроил глупое лицо и не отвечал.

— Эй ты, пареная репа! — сказал один разбойник,— взяли у тебя невесту, так из-за этого еще нечего киснуть! другую найдешь!

Парень смотрел, разиня рот, и не говорил ни слова.

Лицо его разбойникам показалось забавным.

— Слышь ты, с тобой говорят! —сказал один из них, толкая его под бок.

Парень молчал.

Разбойник толкнул его крепче.

Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать.

Несколько человек подошли к нему и стали толкать его.

Парень не знал, сердиться ли ему или нет; но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия.

— Полно вам пхаться! — сказал он,— что я вам, куль муки, что ль, дался? Перестаньте, осерчаю!

Разбойники пуще стали смеяться.

Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лень и природная сонливость превозмогали его гнев. Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделицы, а важной-то причины не было!

— Серчай же, дурень! — сказали разбойники,— что ж ты не серчаешь?

— А ну-тка, толкните-ка ящо!

— Вишь, какой лакомый! На, вот тебе!

— А ну-тка крепчае!

— Вот тебе!

— Ну тяперь держитесь! — сказал парень, рассердясь наконец не на шутку.

Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага отхлынула к огню: котел упал, и щи разлились на уголья.

— Тише, ты, тише, сатана! Чего расходился! Говорят тебе, тише! — кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слыхал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два.

— Вишь, медведь! — говорили те, которые успевали отскочить в сторону.

Наконец парень образумился. Он перестал драться и остановился посреди опрокинутых и разбитых горшков, почесывая затылок, как будто желая сказать: «Что ж это я, в самом деле, наделал!»

— Ну, брат,— сказали разбойники, подымаясь на ноги и потирая ребра,— кабы ты тогда в пору осерчал, не отбили бы у тебя невесты! Вишь, какой Илья Муромец!

— Да как тебя зовут, молодца? — спросил старый разбойник.

— А Митькою!

— Ну Митька! Ай да Митька!

— Вот уж Митька!

— Ребята! — сказал, подбегая к ним, один молодец,— атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать, сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не найдем!

— Пойдем, пойдем слушать атамана! — раздалось между разбойниками.

На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка, или железная круглая шапка, вроде тафьи, называвшаяся также и наплешником. К шапке приделана была бармица, или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны и насаженный на топорище. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомца, Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны. Из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали.

— Так вот, братцы,— говорил Перстень,— это еще не диковина, остановить обоз или боярина ограбить,

когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина, кабы один остановил да ограбил человек пятьдесят или боле!

— Эх, хватил! — отозвались разбойники,— малого захотел! Небось ты остановишь!

— Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и один обозы останавливал!

— Уж не опять ли твой волжский богатырь!

— Да не кто другой. Вот, примерно, тянулось раз судишко на бичеве из-под Астрахани вверх по матушке-Волге. На судишке-то народу было немало: всё купцы молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку, шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни; еще, али полно! Берег-то высокий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров: скала голая, да супротив теченья, словно ножом угол вышел, такой острый, что боже упаси.

Вот проведал мой молодец, с чем бог несет судно. Не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой, идут, понатужившись, лямочники, человек двенадцать, один за другим, налегли на ремни, да и кряхтят, высунув языки. Судишко-то, видно, не легонько, да и быстрина-то народу не под силу!

Вот мой молодец и прожди, чтоб они скалу-то остру миновали саженей на полсотни. Да как выскочит из-за кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и перерубил пополам, а лямочники-то как шли, сердечные, так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистенем, кого кулаком, а кто вскочил да давай бог ноги! Понесло судно назад по течению, прямо на скалу. Всполошились купцы, никто и стрелять не думает, думают только, как бы миновать угол, чтобы судна-то не разбить! А мой молодец одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да и останови судно:

«Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте в воду сабли да пищали, честью прошу, не то бичеву пущу, так вас и с грузом поминай как звали!»

Купцы навели было на богатыря стволики, да тотчас и опустили; думают: как же это? убьем его, так некому и бичевы подержать!

Нечего делать, побросали оружие в воду, да только не всё, думают, как взойдешь, молодец, на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун! Да мой богатырь не промах.

«Добро, говорит, купчики голубчики, пошло оружие ко дну, ступайте ж и вы, куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте с судна вниз головами!»

Они было замялись, а он, ребятушки, зацепил бичеву за дерево, схватил пищаль, да и пустил по них пулю.

Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки.

А он кричит:

«Не плыть сюда, приставай к тому берегу, не то всех, как уток, перестреляю!»

Что, ребята, каков богатырь?

— Молодец! — сказали разбойники,— вот уж подлинно молодец! Да что ж он с судном-то сделал?

— С судном-то! А намотал на руку бичеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель.

— Да что ж, он ростом с Полкана, что ли?

— Нет, не с Полкана. Ростом-то он не боле мово, да плечики будут поширше!

— Шире твоих! Что ж это, на что ж он похож выходит!

— Да похож на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловат маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотреть — страх!

— Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодцеватее тебя мы не видывали!

— Не видывали лучше меня! Да что вы, дураки, видели! Да знаете ли,— продолжал Перстень с жаром,— знаете ли, что я перед ним ничего! Дрянь, просто дрянь, да и только!

— Да как же зовут твоего богатыря?

— Зовут его, братцы, Ермаком Тимофеичем!

— Вишь, какое имя! Что ж, он один, что ли, без шайки промышляет?

— Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные есаулики. Только разгневался на них царь православный. Послал на Волгу дружину свою разбить их,

голубчиков, а одному есаулику, Ивану Кольцу, головушку велел отсечь да к Москве привезти.

— Что ж, поймали его?

— Поймали было царские люди Кольцо, только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилось по белу свету. Где оно теперь, сердечное, бог весть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой сторонушке!

Замолчал атаман и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие и поглаживали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы разудалые, сидя на поляне, среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волге серебряной? или о дивном богатыре, про которого рассказывал Перстень? или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая, забубенная голова?

— Атаман! — вскричал один разбойник, подбегая к Перстню и весь запыхавшись,— верст пять отсюда, по Рязанской дороге едут человек двадцать вершников с богатым оружием, все в золоченых кафтанах! Аргамаки и бахматы под ними рублей во сто каждый или боле!

— Куда едут? — спросил Перстень, вскакивая.

— Вот только что поворотили к Поганой Луже. Я как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да лесом.

— Ну, ребята,— вскричал Перстень,— полно бобы на печи разводить! двадцать человек чтобы шли за мной!

— Ты, Коршун,— продолжал он, обращаясь к старому разбойнику,— возьми двадцать других, да засядьте у кривого дуба, отрежьте им дорогу, коли мы, неравно, опоздаем. Ну, живо за сабли!

Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска.

Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности.

В один миг сорок станичников отошли от толпы и разделились на два отряда.

— Эй, Митька! — сказал Коршун молодому парню из-под Коломны,— нá тебе посошок, ступай с нами, да понатужься, авось осерчаешь!

Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину, взвалил ее на плеча и пошел, переваливаясь, за своим отрядом ко кривому дубу.

Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к Поганой Луже, на переём неизвестным всадникам.

ГЛАВА 14

ОПЛЕУХА

В то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к Поганой Луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками.

— Скажи, Борис Федорыч,— говорил Серебряный,— что сталось с царем сею ночью? с чего поднялась вся Слобода на полунощницу? Аль то у вас часто бывает?

Годунов пожал плечами.

— Великий государь наш,— сказал он,— часто жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому дивиться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Григорию Назианзину говорит: что другим утро, то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с богом!

— Борис Федорыч! Случалось мне видеть и прежде, как царь молился; оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся, а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорыч, близок к нему, он любит тебя, что б тебе сказать ему про опричнину?

Годунов улыбнулся простоте Серебряного.

— Царь милостив ко всем,— сказал он с притворным смирением,— и меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских, не мне царю указывать. А опричнину понять нетрудно: вся земля государева, все мы под его высокою рукою; что возьмет государь на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше; кому велит быть около себя, те к нему близко, а кому не велит, те далеко. Вот и вся опричнина.

— Так, Борис Федорыч, когда ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет! Ты бы сказал царю. Он бы тебе поверил!

— Князь Никита Романыч, много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому, что и те и другие люди! Положим, я бы сказал царю; что ж из того выйдет? Все на меня подымутся, и сам царь на меня ж опалится!..

— Что ж? Пусть опалится, а ты сделал по совести, сказал ему правду!

— Никита Романыч! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было, а не было б меня здесь, кто б тебя вчера от плахи спас?

— Что дело, то дело, Борис Федорыч, дай бог тебе здоровья, пропал бы я без тебя!

Годунов подумал, что убедил князя.

— Видишь ли, Никита Романыч,— продолжал он,— хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, кабы, примерно, сорок воров стали при тебе резать безвинного?

— Что б сделал? А хватил бы саблею по всем по сорока и стал бы крошить их, доколе б души богу не отдал!

Годунов посмотрел на него с удивлением.

— И отдал бы душу, Никита Романыч,— сказал он,—на пятом, много на десятом воре; а достальные все-таки б зарезали безвинного. Нет; лучше не трогать их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Степка-де взял на себя более Мишки, так они и сами друг друга перережут!

Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменил разговор.

— Вишь,— сказал он, глядя в окно,— кто это сюда скачет, сломя шею? Смотри, князь, никак, твой стремянный?

— Вряд ли! — отвечал Серебряный,— он отпросился у меня сегодня верст за двадцать на богомолье...

Но, вглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича. Старик был бледен как смерть. Седла под ним не было; казалось, он вскочил на первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор, под самые красные окна.

— Батюшка Никита Романыч! — кричал он еще издали,— ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, а кручинушки-то не ведаешь? Сейчас встрел я, вон за церквой, Малюту Скуратова да Хомяка; оба верхом, а промеж них, руки связаны, кто бы ты думал? Сам царевич! сам царевич, князь! Надели они на него черный башлык, проклятые, только ветром-то сдуло башлык, я и узнал царевича! Посмотрел он на меня, словно помощи просит, а Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо!

Серебряный вспрянул с места.

— Слышишь, слышишь, Борис Федорыч! — вскричал он, сверкая глазами.— Али ждать еще, чтоб воры перессорились меж собой! — И он бросился с крыльца.

— Давай коня! — крикнул он, вырывая узду из рук Михеича.

— Да это,— сказал Михеич,— конь-то не по тебе, батюшка, это конь плохой, да и седла-то на нем нетути... да и как же тебе на таком коне к царю ехать?..

Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за Малютой...

Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие:

Когда зачиналась каменна Москва,
Зачинался царь Иван, государь Васильевич.
Как ходил он под Казань-город,
Под Казань-город, под Астрахань;
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя и с царицею;
Выводил измену из Пскова,
Из Пскова и из Новгорода.
Как бы вывесть измену из каменной Москвы!
Что возговорит Малюта, злодей Скурлатович:

«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Не вывесть тебе изменушки довеку!
Сидит супротивник супротив тебя,
Ест с тобой с одного блюда,
Пьет с тобой с одного ковша,
Платье носит с одного плеча!»
И тут царь догадается,
На царевича осержается.
«Ах вы гой еси, князья и бояре!
Вы берите царевича под белы руки,
Надевайте на него платье черное,
Поведите его на то болото жидкое,
На тое ли Лужу Поганую,
Вы предайте его скорой смерти!»
Все бояре разбежалися,
Один остался Малюта-злодей,
Он брал царевича за белы руки,
Надевал на него платье черное,
Повел на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.
Проведал слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакал к Никите Романычу:
«Гой еси, батюшка Никита Романыч!
Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься,
Над собой кручинушки не ведаешь!
Упадает звезда поднебесная,
Угасает свеча воску ярого,
Не становится млада царевича!»
Никита Романыч испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачет на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.
Он ударил Малюту по щеке:
«Ты Малюта, Малюта Скурлатович!
Не за свой ты кус принимаешься,
Ты этим кусом подавишься!..»

Песня эта, может быть и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того века. Не полно и не ясно доходили до народа известия о том, что случалось при царском дворе или в кругу царских приближенных, но в то время, когда сословия еще не были разъединены нравами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий.

Таков ли ты был, князь Никита Романович, каким воображаю тебя,— про то знают лишь стены кремлевские да древние дубы подмосковные! Но таким ты пред-

стал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь ветер шелестил в листьях, и лишь жук вечерний пролетал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне любовь к родине, и ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто взамен зрения, заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не составляли преграды. Таким предстал ты мне, Никита Романович, и ясно увидел я тебя, летящего на коне в погоню за Малютой, и перенесся я в твое страшное время, где не было ничего невозможного!

Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то добрый конь в свое время; прослужил он лет двадцать и на войне и в походах; только не выслужил себе покою на старости; выслужил упряжь водовозную, сено гнилое да удары палочные!

Теперь почуял он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи, и кормили его отборным зерном, и поили медвяною сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за Малютой Скуратовым.

Скачет Малюта во дремучем лесу с своими опричниками. Он торопит их к Поганой Луже, поправляет башлык на царевиче, чтоб не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от Малюты, схоронились бы больший за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его казнить так далеко.

Торопит Малюта опричников, серчает на коней, бьет их плетью по крутым бедрам.

— Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Не одумался б царь, не послал бы за нами погони!

Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные вороны — уже близко Поганая Лужа!

— Эй,— говорит Малюта Хомяку,— никак, стучат за нами чужие подковы?

— Нет,— отвечает Хомяк,— то от наших коней топот в лесу раздается.

И пуще торопит Малюта опричников, и чаще бьет коней по крутым бедрам.

— Эй,— говорит он Хомяку,— никак, кто-то кричит за нами?

— Нет,— отвечает Хомяк,— то нашу молвь отголоски разносят.

И серчает Малюта на коней.

— Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было б за нами погони!

Вдруг слышит Малюта за собою:

— Стой, Григорий Лукьяныч!

Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал его старый конь водовозный.

— Стой, Малюта! — повторил Серебряный и, нагнав Скуратова, ударил его в щеку рукою могучею.

Силен был удар Никиты Романовича. Раздалася пощечина, словно выстрел пищальный; загудел сыр-бор, посыпались листья; бросились звери со всех ног в чащу; вылетели из дупел пучеглазые совы; а мужики, далеко оттоле дравшие лыки, посмотрели друг на друга и сказали, дивясь:

— Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над Поганою Лужей?

Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух.

— Малюта! — вскричал князь, вскочив на ноги,— не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом подавишься!

И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся разрубить ему череп.

Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его.

«Вот,— думал князь, отбивая удары,— придется живот положить, не спася царевича! Кабы дал бог хоть с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу; ему отвечали громкие окрики. Один

опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раздробленною головой, а над трупом его явился Ванюха Перстень, махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на Малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Малюта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде было разогнаться, все пришел лес да валежник. Многие легли на месте; но другие скоро оправились. Крикнули: гой-да! и потоптали удалую вольницу. Сам Перстень, раненный в руку, уже слабее разил чеканом, как новый свист раздался в лесу.

— Стойте дружно, ребята! — закричал Перстень,— то дедушка Коршун идет на прибавку!

И не успел он кончить речи, как Коршун с своим отрядом ударил на опричников, и зачался меж ними бой великий, свальный, самый красный.

Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под собой седоков. Опричники отчаялись насмерть. Сабля Хомяка свистела, как вихорь, над головой его сверкала молния.

Вдруг среди общей свалки сделалось колебанье. Дюжий Митька буравил толпу и лез прямо на Хомяка, валяя без разбору и чужих и своих. Митька узнал похитителя невесты. Подняв обеими руками дубину, он грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал в конскую голову, конь покатился мертвый, дубина переломилась.

— Погоди! — сказал Митька, наваливаясь на Хомяка,— тяперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не с кем было более драться, все опричники легли мертвые, один Малюта спасся на лихом аргамаке.

Стали разбойники считать своих и многих недосчитались. Было и между ними довольно урону.

— Вот,— сказал Перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица,— вот, боярин, где довелось свидеться!

Серебряный, с первым появлением разбойников, бросился к царевичу и отвел его коня в сторону; царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот

его был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою.

— Царевич,— сказал он, видя, что станичники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней,— битва кончена, все твои злодеи полегли, один Малюта ушел, да я чаю, и ему несдобровать, когда царь велит сыскать его!

При имени царевича Перстень отступил назад.

— Как? — сказал он,— это сам царевич? Сын государев? Так вот за кого бог привел постоять! Так вот кого они, собаки, связамши везли!

И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги.

Весть о его присутствии быстро разнеслась меж разбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу.

— Спасибо вам, добрые люди! — сказал он ласково, без обычного своего высокомерия,— кто б вы ни были, спасибо вам!

— Не на чем, государь! — отвечал Перстень.— Кабы знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не сорок молодцов, а сотенки две; тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч; взяли б мы его живьем да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стремянный; он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?

— У меня! — отвечал Митька, лежа на животе, и не выпуская из-под себя своей жертвы.

— Давай его сюда, небось не уйдет! А вы, ребятушки, разложите-ка огоньку для допросу да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь.

Митька встал. Из-под него поднялся здоровый детина; но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления.

— Хлопко! — раздалося отовсюду,— да это Хлопко! это он Хлопка притиснул вместо опричника.

Митька смотрел, разиня рот.

Хлопко насилу дышал.

— Ишь,— проговорил наконец Митька,— так это я, должно быть, тебя придавил! Чаво ж ты молчал?

— Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле сидел, тюлень этакий! Тьфу!

— Да чаво ж ты подвернулся?

— Чаво! чаво! Как ты, медведь, треснул коня по лбу, так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня и сел, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

— Ишь! — сказал Митька,— вот што! — и почесал затылок.

Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти.

— Нечего делать,— сказал Перстень,— видно, не доспел ему час, а жаль, право! Ну, так и быть, даст бог, в другой раз не свернется! А теперь дозволь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне, государь! Не приходилось бы мне, худому человеку, и говорить с твоею милостью, да что ж делать, без меня тебе отселе не выбраться!

— Ну, ребята,— продолжал Перстень,— собирайтесь оберегать его царскую милость. Вот ты, боярин,— сказал он, обращаясь к Серебряному,— ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я чай, пешему будет сподручнее, а тебе, Митька, и подавно!

— Ништо! — сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону,— и я сяду!

Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него, взвалился на коня животом, проехал так несколько саженей рысью и наконец уже взобрался на седло.

— Эхва! — закричал он, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевича.

Когда показалось наконец поле, а вдали запестрела крыша Александровой слободы, Перстень остановился.

— Государь,— сказал он, соскакивая с коня,— вот твоя дорога, вон и Слобода видна. Не пристало нам доле с твоею царскою милостью оставаться. К тому ж там пыль по дороге встает; должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневоле бог свел!

— Погоди, молодец! — сказал царевич, который, по миновании опасности, начал возвращаться к своим прежним приемам.— Погоди, молодец! Скажи-ка наперед, какого ты боярского рода, что золоченый зипун носишь?

— Государь,— ответил скромно Перстень,— много нас здесь бояр без имени-прозвища, много князей без роду-племени. Носим что бог послал!

— А знаешь ли,— продолжал строго царевич,— что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят и что ты сам своего зипуна не стоишь? Не сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем ратникам всех вас перехватать да к Слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу и батюшке-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

— Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе благодарствую; только не пришло еще мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед богом, велики винности перед государем; вряд ли простит меня батюшка-царь, а хоча бы и простил, так не приходится бросать товарищей!

— Как? — сказал удивленный царевич,— ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрос обещаю? Видно, грабить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить?

Перстень погладил черную бороду и лукавою усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее.

— Государь! — сказал он,— на то щука в море, чтобы карась не дремал! Не привычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу. Прости, государь; вон уж пыль сюда подвигается; пора назад; рыба ищет где поглубже, а наш брат — где место покрепче!

И Перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич сам-друг с Серебряным поехали к Слободе и вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов.

Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века.

Что возговорит грозный царь·
«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!
Надевайте платье черное,
Собирайтеся ко заутрени,
Слушать по царевиче панихиду,
Я всех вас, бояре, в котле сварю!»

Все бояре испугалися,
Надевали платье черное,
Собиралися ко заутрени,
Слушать по царевиче панихиду.
Приехал Никита Романович,
Нарядился в платье цветное,
Привел с собой млада царевича
И поставил за дверьми северны.
Что возговорит грозный царь:
«Ах ты гой еси, Никита Романович!
Что в глаза ль ты мне насмехаешься?
Как упала звезда поднебесная,
Что угасла свеча воску ярого,
Не стало у меня млада царевича».
Что возговорит Никита Романович:
«Ах ты гой еси, надежа, православный царь!
Мы не станем по царевиче панихиду петь,
А станем мы петь молебен заздравный!»
Он брал царевича за белу руку,
Выводил из-за северных дверей.
Что возговорит грозный царь:
«Ты, Никита, Никита Романович!
Еще чем мне тебя пожаловать?
Или тебе полцарства дать?
Или золотой казны сколько надобно?»
— «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Не сули мне полцарства, ни золотой казны,
Только дай мне злодея Скурлатова:
Я сведу на то болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую!»
Что возговорит царь Иван Васильевич:
«Еще вот тебе Малюта-злодей,
И делай с ним, что хочешь ты!»

Так гласит песня; но не так было на деле. Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского, но Малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Онуфревны, не приял своей муки в этой жизни и умер честною смертию. В обиходе монастыря св. Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит на государском деле под Пайдою.

Как оправдался Малюта в клевете своей — мы не знаем.

Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию; может быть, не вполне отказался от подозре-

ний на царевича. Как бы то ни было, Скуратов не только не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Малюту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич; Иоанн был отныне единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его верность.

Намек на Басманова также не прошел даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения и хотя не тотчас пустил в нем корни, но значительно охладил расположение его к своему кравчему, ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впоследствии и сам признал свое опасение напрасным.

ГЛАВА 15

ПОЦЕЛУЙНЫЙ ОБРЯД

Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от проницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его.

Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты; глубокие морщины бороздили чело; его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит,— подумал он,— она не будет ждать меня; пройдусь я по саду, авось освежу свою голову».

Морозов вышел; в саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферязь. Он стал всматриваться.

Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Ужели Вяземский успел своею настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что́ вчера возбуждало его ненависть! Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он

принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление, ему, лучшему другу отца его; ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева!

«Но нет,— подумал Морозов,— это не Серебряный! Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то, змея подколодная! Уж ее ли не любил я! Ее ли не держал как дочь родную! И не вольною ли волей вышла она за меня? Не благодарила ль меня, лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет, не надейся, Дружина Андреич, на верность женскую! Женская верность — терем высокий, дверь дубовая да запоры железные! Поторопился, Дружина Андреич, вручать девке честь свою! Обуяло тебя, старого, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змея; посмеются над тобою люди московские!»

Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед. Но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решился повременить.

Как нарочно, в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

— Я люблю тебя боле жизни, боле солнца красного! Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду.

Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею Дружина Андреич.

На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь, когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда Дружина Андреевич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозов сидел в брусяной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от жениной светлицы к садовой ограде.

Накануне этого дня Серебряный возвратился из Слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова.

Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем. Но, поздравляя его с счастливым возвратом и потчуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему; Морозов не узнал ничего.

И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутою книгой.

Размышления его перервал вошедший слуга, но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов вопросил его взглядом.

— Государь,— сказал слуга,— едут царские люди. Преди всех князь Афанасий Иваныч Вяземский; уж они близко; прикажешь встречать?

В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаною плетью, или вощагой, передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину.

— Вяземский едет ко мне? — сказал Морозов.— Что он, рехнулся? Да может, он едет мимо. Ступай к воротам и подожди! а если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

— Что еще? — спросил Морозов.

— Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

— Ступай! — закричал Морозов и топнул ногой.

— Боярин! — сказал, вбегая, дворецкий, — князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам! Князь говорит, я-де послан от самого государя.

— От государя? Он тебе сказал — от государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо с хлебом-солью! Вся дворня чтобы шла навстречу посланным государя!

Между тем ближе и ближе слышались звон и бряцанье бубна; человек двадцать всадников, а впереди их князь Афанасий Иванович на статном караковом жеребце, в серебряной сбруе, въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко

вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенною в два конца золотою бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги, с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икор. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером, которое качалось от каждого движения, играя солнечными лучами. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхнею губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен; вид молод и весел.

Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под уздцы шесть верховых коней в полном убранстве; из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а три совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья, на хребтах их пестрели звериные кожи или парчовые чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями, и все шестеро звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами.

При появлении Дружины Андреевича Вяземский и все опричники сошли с коней.

Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопи боярские.

— Князь,— сказал Морозов,— ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом-солью тебя и твоих! — И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона.

— Боярин,— ответил Вяземский,— великий государь велел тебе сказать свой царский указ: «Боярин Дружина! царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси

слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях; и быть тебе, боярину Дружине, по-прежнему в его, великого государя, милости, и служить тебе и напредки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж!»

Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа.

При начале речи Морозов опустился на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен.

— Да благословит же святая троица и московские чудотворцы нашего великого государя! — произнес он дрожащим голосом,— да продлит прещедрый и премилостивый бог без счету царские дни его! Не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя, войди в дом мой. Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозов подозвал холопа.

— Садись на конь, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день; царь-де пожаловал меня милостию великою, изволил-де снять с меня свою опалу!

Отдав это приказание и проводив в сени гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь; перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий да сколько нужно было людей для прислуги опричникам.

Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди.

Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопями, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести.

Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина.

Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчовом кафтане, с собольей шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, боро-

да тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол.

Зачался почестный пир, зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи.

Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом, и боярин придумал наконец средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно.

Уже много кубков осушили гости; пили они про государя, и про царицу, и про весь царский дом; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина; пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни.

Того-то и ожидал Морозов.

— Дорогие гости,— сказал он,— непригоже без хозяйки пить про хозяйку! Сходите,— продолжал он, обращаясь к слугам,— сходите за боярыней, пусть сойдет потчевать из своих рук дорогих гостей!

— Ладно, ладно! — зашумели гости,— без хозяйки и мед не сладок!

Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками; она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком, Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому, малым обычаем, в пояс. По мере того как гости выпивали чарку, дворецкий наполнял ее снова. Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям.

— Дорогие гости,— сказал он,— теперь, по старинной русской обыкности, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою! Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза.

— Князь, подходи! — сказал Морозов Вяземскому.

— Нет, нет, по обычаю! — закричали гости,— пусть хозяин поцелует первый хозяйку! Пусть будет по обычаю, как от предков повелось!

— Пусть же будет по обычаю,— сказал Морозов и, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели как огонь; как лед были холодны губы Дружины Андреевича.

За Морозовым подошел Вяземский.

Морозов стал примечать.

Глаза Афанасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном не боялась нахального князя.

«Не он»,— подумал Морозов.

Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену; но как поцелуй его длился долее, чем было нужно, она отвернулась с приметною досадой.

«Нет, не он!» — повторил про себя Морозов.

За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись, большим обычаем, в землю и потом целовали Елену; но Дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями.

«Он здесь!» — подумал Морозов.

Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и, с свойственною женскому сердцу сметливостию, она отгадала его мысли. Под этим тяжелым, неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенною. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды, в первый приезд Серебряного, живо представились ее памяти. Теперешнее ее положение и ожидающий ее поцелуй показались ей божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по ее членам.

— Я нездорова...— прошептала она,— отпусти меня, Дружина Андреич...

— Останься, Елена,— сказал спокойно Морозов,— подожди; ты не можешь теперь уйти; это не видано, не слыхано; надо кончить обряд!

И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.

— Ноги не держат меня!..— произнесла Елена.

— Что? — сказал Морозов, будто не расслышав,— угорела? эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенок; больно застенчива, ей в новинку обряд! Да к тому еще угорела! Подходите, дорогие гости, прошу вас!

«Да где же Серебряный?»— подумал Дружина Андреевич, пробегая глазами гостей.

Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу, но Елену окружали гости, муж не спускал с нее глаз; надо было на что-нибудь решиться.

Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов.

Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что может полюбить Дружину Андреевича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно; она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось про-

тивоположными ощущениями; ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета; но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести,— все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова:

— Пресвятая богородица! пожалей меня!

Морозов подхватил Елену.

— Эх! — сказал он,— вот женское-то здоровье! Посмотреть, так кровь с молоком, а немного угару, так и ноги не держат. Да ничего, пройдет! Подходите, дорогие гости!

Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он так же казался спокоен, так же был приветлив и доброхотен.

Серебряный остался в недоумении, в самом ли деле он проник его тайну?

Когда кончился обряд и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости, по приглашению Морозова, опять сели за стол.

Дружина Андреевич всех нудил и потчевал с прежнею заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников.

— Князь,— сказал один из них, наклонясь к Вяземскому,— пора бы за дело!

— Молчи! — отвечал шепотом Вяземский,— старик услышит!

— Хоть и услышит, не поймет! — продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного.

— Молчи! — повторил Вяземский.

— Я те говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак подам!

И опричник двинулся встать.

Вяземский сильною рукою пригвоздил его к скамье.

— Уймись,— сказал он ему на ухо,— не то вонжу этот нож тебе в горло!

— Ого, да ты еще грозишь! — вскричал опричник, вставая со скамьи,— вишь, ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалованье заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!

Слова эти были произнесены неверным языком, среди общего говора и шума; но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слыхал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.

— Дорогие гости! — сказал он, вставая из-за стола,— на дворе уж темная ночь! Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые!

Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе опочивальни.

Серебряный также хотел удалиться.

Морозов остановил его за руку.

— Князь,— сказал он шепотом,—обожди меня здесь!

И, оставя Серебряного, Дружина Андреевич отправился на половину жены.

ГЛАВА 16

ПОХИЩЕНИЕ

Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное

С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и наконец на самом дворе.

Люди Морозова не обратили на них внимания.

Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками.

Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя конюшни, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистал как-то особенно. Кто-то к нему подкрался.

— Все ли вы? — спросил стремянный.

— Все,— отвечал тот.
— Много ли вас?
— Пятьдесят.
— Добро, ожидайте знака.
— А скоро ли? Ждать надоело.
— Про то знает князь. Да слышь ты, Хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома!
— Не велит! Да что, он мне господин, что ли?
— Видно, господин, коли Григорий Лукьяныч велел быть тебе сегодня у него в приказе.
— Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потом уж и мне никто не указывай!
— Смотри, Хомяк, князь не шутит!
— Да что ты, с ума спятил? — сказал Хомяк, злобно усмехаясь.— Князь князем, а я сам по себе. Коли мне хочется погулять, кому какое дело?

В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая, полураспущенная коса упадала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаянье, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в радуницу, перед самой свадьбой, она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно христосовалась с матерью и просила благословения на любовь и союз с Морозовым.

Она верила в то время, что переможет первую любовь свою, верила, что будет счастлива за Морозовым; а теперь... Елена вспомнила о поцелуйном обряде, и ее обдало холодом. Боярин вошел, не примеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость.
— Елена! — сказал он,— отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа.

— Отчего смутилась ты? — повторил Морозов.

— Мне понездоровилось...— отвечала Елена шепотом.

— Так Тебе нездоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!

Боярыня дрожала.

— Когда сего утра,— продолжал Морозов,— Вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал Священное писание. Знаешь ли, что говорится в Писании о неверных женах?

— Боже мой! — произнесла Елена.

— Я читал,— продолжал Морозов,— о наказании за прелюбодейство...

— Господи! — умоляла боярыня,— будь милостив, Дружина Андреич, пожалей меня, я не столько виновна, как ты думаешь... Я не изменила тебе...

Морозов грозно сдвинул брови.

— Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай греха своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна...

— Дружина Андреич, пожалей меня!

— Ты никогда не была мне верна! Когда нас венчали, когда ты своею великою неправдой целовала мне крест, ты любила другого... Да, ты любила другого! — продолжал он, возвышая голос.

— Боже мой, боже мой! — прошептала Елена, закрыв лицо руками.

— Дмитриевна! А Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его!

Елена плакала и не отвечала ни слова.

— Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призна-

лась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслию с другим! Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь; но не женился бы на тебе, видит бог не женился бы! Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменною, а потом насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали: Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить!

— Нет, господин мой! — взрыдала Елена и упала на колени,— я никогда этого не думала! Ни в уме, ни в помышлении того не было! Да он же в ту пору был в Литве...

При слове *он* глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся

— Так. Вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся. Вы спознались ночью, в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужнею женой, смертию да умрут прелюбодей и прелюбодейца!

Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность.

— Дружина Андреич! — сказала она в испуге,— что ты хочешь сделать?

Боярин вынул из-под опашня длинную пистолю.

— Что ты делаешь? — вскричала боярыня и отступила назад.

Морозов усмехнулся.

— Не бойся за себя! — сказал он холодно,— тебя я не убью. Возьми свечу, ступай передо мною!

Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся.

— Свети мне! — повторил он повелительно.

В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался.

Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел.

Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодованье возвратило ей силы.

— Боярин! — вскричала она, и взор ее загорелся,— меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивление.

— Убей меня! — просила в отчаянье Елена,— я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмехалась тебе! Убей меня!

Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновенье, тот не решил бы, жалость или негодованье преобладали в его взоре.

— Дружина Андреич! — раздался голос снизу,— измена! Предательство! Опричники врываются к жене твоей! Остерегись, Дружина Андреич!

То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену; задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк.

Поспешные шаги послышались на лестнице, потом стук сабель, потом проклятия, борьба, громкий крик и падение.

Дверь затрещала от ударов.

— Боярин! — кричал Вяземский,— отопри, не то весь дом раскидаю по бревнам!

— Не верю, князь! — отвечал с достоинством Морозов.— Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его. Хмелен был мед мой; он вскружил тебе голову, князь, поди выспись; завтра всё забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

— Отопри! — повторил князь, напирая дверь.

— Афанасий Иваныч! вспомни, кто ты? Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин!

— Я опричник! слышишь, боярин, я опричник! Нет у меня чести! Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин! Не боюся студного дела; всю Москву пущу на дым, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб. В то же время

дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром, с переломленною саблей в руке.

Белая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы.

Морозов выстрелил в Вяземского почти в упор, но рука изменила боярину; пуля ударилась в косяк; князь бросился на Морозова.

Недолго продолжалась между ними борьба.

От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярыне, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенною косой.

У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвою боярыней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопи.

Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников. Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи Хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе, над грудой серебра и золота, заглушая голосом шум, крики и треск огня, стоял Хомяк в красном кафтане.

— Эх, весело! — говорил он, потирая руки,— вот пир так пир!

— Хомяк! — вскричал один опричник, — дворня увезла Морозова по реке. Догнать аль не надо?

— Черт с ним! Не до него теперь! Эй, вы! Все на двор, не то скоро задохнемся!

— Хомяк,— сказал другой,— что велишь делать с Серебряным?

— Не трогать его ни пальцем! Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к Слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасья Иваныча хватил? Как наших саблей крошил?

— Видели, видели!

— А будете в том крест целовать перед государем?

— Будем, будем! Все будем крест целовать!

— Ну ж, смотрите! Теперь чтоб никто не смел его обидеть, а как приедем домой, так уж Григорий Лукьяныч припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети!

Долго еще шумели и грабили опричники, и когда поехали они, навьючив лошадей тяжелою добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом Дружины Андреевича; и Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом.

ГЛАВА 17

ЗАГОВОР НА КРОВЬ

Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зарево над двором Морозова, спешили запирать ворота и гасить огонь.

— Господи! — говорили, крестясь, те из них, мимо которых скакал Вяземский с своими холопами,— господи, помилуй нас! пронеси беду мимо!

И лишь топот коней удалялся, и бряцанье броней замирало в пустых улицах, жители говорили: «Слава богу, миновала беда!» И опять крестились.

Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собою холопей. Он положил на мысль еще до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевезть Елену в свою рязанскую вотчину. Но не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился с дороги.

В то же время он почувствовал, что раны, на которые он сгоряча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль.

— Боярыня! — сказал он, останавливая коня,— мои холопи отстали... надо обождать!

Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва далекое зарево, потом стала различать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держат ее сильные руки. Мало-пома-

лу она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса.

— Боярыня,— сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой,— я тебе страшен? Ты клянешь меня? Не меня кляни, Елена Дмитриевна! Кляни долю свою! Напрасно хотела ты миновать меня. Не миновать никому судьбы, не объехать конем суженого! Видно, искони, боярыня, было тебе на роду написано, чтобы досталась ты мне!

— Князь! — прошептала Елена, дрожа от ужаса,— коли нет в тебе совести, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыд...

— Нет у меня чести, нет стыда! Все, все отдал я за тебя, Елена Дмитриевна!

— Князь, вспомни суд божий, не погуби души своей!

— Поздно, боярыня! — отвечал Вяземский со смехом.— Я уже погубил ее! Или ты думаешь, кто платит за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Нет, боярыня! Этою ночью я потерял ее навеки! Вчера еще было время, сегодня нет для меня надежды, нет уж мне прощения в моем окаянстве! Да и не хочу я райского блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна!

Вяземский слабел все более. Он видел свое изнеможение, но тщетно крепился. Бред отуманил его рассудок.

— Елена,— сказал он,— я истекаю кровью, холопи мои далеко... помощи взять неоткуда, быть может, чрез краткий час я отойду в пламень вечный... полюби меня, полюби на один час... чтоб не даром отдал я душу сатане!.. Елена! — продолжал он, собирая последние силы,— полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей!..

Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его, конь бросился в сторону, помчался лесом и унес с собою боярыню.

Долго мчались они в темном бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, и она, ухватясь за гриву, отдалася на божью волю. Конь мчал-

ся без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены, ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через поляны, освещенные месяцем, ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе. Она слышала отдаленный, однообразный шум, повторяемый отголосками. Леший ли то хохотал или что другое шумело, но звук становился все громче, сердце Елены замирало от ужаса, и она крепче держалась за конскую гриву. Как нарочно, конь скакал прямо на шум. Вот мелькнул огонек, вот как будто серебристый призрак махнул крыльями... вдруг конь остановился, и Елена лишилась чувств.

Она очнулась на мягкой траве. Вокруг нее разливалась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным запахом; шум еще продолжался, но в нем не было ничего страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал и усыплял Елену.

Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напомнили ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду в тот день, когда приехал Серебряный.

— Уж не в саду ли я у себя? — подумала Елена.— Ужель опять в саду? Девушки! Пашенька! Дуняша! Где вы?

Но вместо свежего девичьего лица седая сморщенная голова нагнулась над Еленой; белая как снег борода почти коснулась ее лица.

— Вишь, как господь тебя соблюл, боярыня,— сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены,— ведь возьми конь немного левее, прямо попала бы в плёс; ну да и конь-то привычный,— продолжал он про себя,— место ему знакомо; слава богу, не в первый раз на мельнице!

Появление старика испугало было Елену; она вспомнила рассказы про леших, и странно подействовали на нее морщины и белая борода незнакомца, но в голосе его было что-то добродушное; Елена, переменив внезапно мысли, бросилась ему в ноги.

— Дедушка, дедушка! — вскричала она,— оборони меня, укрой!

Мельник тотчас смекнул, в чем дело: конь, на котором прискакала Елена, принадлежал Вяземскому. По

всем вероятностям, она была боярыня Морозова, та самая, которую он пытался приворожить к князю. Он никогда ее не видел, но много узнал о ней через Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи, стало быть, она, вероятно, спаслась от князя на его же коне.

Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства.

— Господь с тобою, боярыня! — сказал он,— как мне оборонить тебя? Силен князь Афанасий Иваныч, длинны у него руки, погубит он меня, старика!

Елена со страхом посмотрела на мельника.

— Ты знаешь...— сказала она,— ты знаешь, кто я?

— Мало ли что я знаю, матушка Елена Дмитриевна! Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали деревья! Знаю я довольно; не обо всем говорить пригоже!

— Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стало быть, знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге, изрубленный. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопей княжеских... ради пречистой богородицы, дедушка, укрой меня!

— Ох-ох-ох! — сказал старик, тяжело вздыхая,— лежит Афанасий Иваныч на дороге изрубленный! Но не от меча ему смерть написана. Встанет князь Афанасий Иваныч, прискачет на мельницу, скажет: где моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дам я ему отповедь? Не таков он человек, чтобы толковать с ним. Изрубит в куски!

— Дедушка, вот мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дам тебе, коли спасешь меня!

Глаза мельника заблистали. Он взял жемчужное ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяце.

— Боярыня, лебедушка моя,— сказал он с довольным видом,— да благословит тебя прещедрый господь и московские чудотворцы! Нелегко мне укрыть тебя от княжеских людей, коль, неравно, они сюда наедут! Только уж послужу тебе своею головою, авось бог нас помилует!

Еще не успел старик договорить, как в лесу послышался конский топот.

— Едут, едут! — вскричала Елена.— Не выдавай меня, дедушка!

— Добро, боярыня, сюда ступай за мною!

Мельник поспешно повел Елену в мельницу.

— Притаись здесь за мешками,— сказал он, запер за нею дверь и побежал к коню.

— Ах, бог ты мой, как бы коня-то схоронить, чтоб не догадалися!

Он взял его за узду, отвел на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями.

Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе. Мельник заперся в каморе и задул лучину.

Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое из холопей шли пешие и несли на сплетенных ветвях бесчувственного князя. У мельницы они остановились.

— Полно, сюда ли мы заехали? — спросил старший из всадников.

— Сюда конь убежал! — отвечал другой.— Я след видел! Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит князя!

— Опустите на землю его милость, да с бережением! Что, кровь не унимается?

— Не дает бог легче,— отвечали холопи,— вот уж третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет! Коли мельник не остановит руды, так и не встать князю, истечет до капли!

— Да где он, колдун проклятый? Ведите его проворней!

Опричники стали стучать в мельницу и в камору. Долго стук их и крики оставались без ответу. Наконец в каморе послышался кашель, из прорубленного отверстия высунулась голова мельника.

— Кого это господь принес в такую пору? — сказал старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился выкашлять душу.

— Выходи, колдун, выходи скорее, кровь унять! Боярин князь Вяземский посечен саблей!

— Какой боярин? — спросил старик, притворяясь глухим.

— Ах ты бездельник! Еще спрашивает: какой? Ломайте двери, ребята!

— Постойте, кормильцы, постойте! Сам выйду, зачем ломать? Сам выйду!

— Ага, небось услышал, глухой тетерев!

— Не взыщи, батюшка,— сказал мельник, вылезая,— виноват, родимый, туг на ухо, иного сразу не пойму! Да к тому ж, нечего греха таить, как стали вы, родимые, долбить в дверь да в стену, я испужался, подумал, оборони боже, уж не станичники ли! Ведь тут, кормильцы, их самые засеки и притоны. Живешь в лесу со страхом, все думаешь: что коли, не дай бог, навернутся!

— Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь, как кровь бежит. Что, можно унять?

— А вот посмотрим, родимые! Эх, батюшки-светы! Да кто ж это так секанул-то его? Вот будь на полвершка пониже, как раз бы висок рассек! Ну, соблюл его бог! А здесь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эх, должно быть, ловок рубиться, кто так хватил его милость!

— Можно ль унять кровь, старик?

— Трудно, кормилец, трудно. Сабля-то была наговорная!

— Наговорная? Слышите, ребята, я говорил, наговорная. А то как бы ему одному семерых посечь!

— Так, так! — отозвалися опричники,— вестимо, наговорная; куды Серебряному на семерых!

Мельник все слушал и примечал.

— Ишь, как руда точится! — продолжал он,— ну как ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно б унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Как стану нашептывать, язык у меня отымется!

— Нужды нет, нашептывай!

— Да! нужды нет! Тебе-то нет нужды, родимый, а мне-то будет каково!

— Истома! — сказал опричник одному холопу,— подай сюда кошель с морозовскими червонцами. На̀ тебе, старик, горсть золотых! Коль уймешь руду, еще горсть дам; не уймешь — дух из тебя вышибу!

— Спасибо, батюшка, спасибо! награди тебя господь и все святые угодники! Нечего делать, кормильцы, по-

стараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые, дело глаза боится!

Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вяземским, перевязал ему раны, прочитал «Отче наш», положил руку на голову князя и начал шептать:

«Ехал человек стар, конь под ним кар, по ристаням, по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда жильная, жильная, телесная, остановись, назад воротись. Стар человек тебя запирает, на покой согревает. Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бывало. Пух земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крепко!»

По мере того как старик шептал, кровь текла медленнее и с последним словом совсем перестала течь. Вяземский вздохнул, но не открыл глаз.

— Подойдите, отцы родные,— сказал мельник,— подойдите без опасенья; унялась руда, будет жив князь; только мне худо... вот уж теперь замечаю, язык костенеет!

Опричники обступили князя. Месяц освещал лицо его, бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран.

— И впрямь унялась руда! Вишь, старичина, не ударил лицом в грязь!

— Нá тебе твои золотые! — сказал старший опричник.— Только это еще не все. Слушай, старик. Мы по следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский конь, а может, на нем и боярыня ускакала. Коли ты их видел, скажи!

Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал.

— Видел ты коня с боярыней?

Старик стал было колебаться, сказать или нет? Но тот же час он сделал следующий расчет:

Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него боярыню было б ой как опасно, а выдать ее куда как выгодно! Но Вяземский оправится ль, нет ли, еще бог весть! А Морозов не оставит услуги без награды. Да и Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню, коль порубил за нее князя. Стало быть, думал мельник, Вяземский меня теперь не обидит, а Серебряный и Морозов, каждый скажет мне спасибо, коль я выручу боярыню.

Этот расчет решил его сомнения.

— И слухом не слыхал, и видом не видал, родимые! — сказал он,— и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

— Эй, не соврал бы ты, старик!

— Будь я анафема! Не видать мне царствия небесного! Вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что знаю про коня либо про боярыню!

— А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на песке!

— Да нечего смотреть! — сказал один опричник.— Хотя бы и были следы, наши кони их затоптали. Теперь ничего не увидим!

— Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, камору, князя перенесть!

— Сейчас, родимые, сейчас. Эх, стар я, кормильцы, а то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам браги да вина зеленчатого!

— А дома разве нет?

— Нет, родимые. Куда мне, убогому! Нет ни вина, харчей, ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом дворе, там все есть. Там такое вино, что хоть бы царю на стол. Тесненько вам будет у меня, государи честные, и перекусить-то нечего; да ведь вы люди ратные, и без ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплют... вот одно худо, что трава-то здесь такая... иной раз наестся конь, да так его разопрет, что твоя гора! Покачается, покачается, да и лопнет!

— Черт тебя дери, боровик ты старый! Что ж ты хочешь, чтоб наши кони перелопались?

— Оборони бог, родимые! Коней можно привязать, чтоб не ели травы; одну ночку не беда, и так простоят! А вас, государи, прошу покорно, уважьте мою камору; нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то, что постоялый двор. Вот только, как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочитать молитву от ночного страха... оно здесь нечисто!

— Ах ты чертов кум этакий! Провались ты и с своею каморой! Вишь, чем потчевать вздумал! Ребята, едем на постоялый двор! Далеко ль дотудова, старик?

— Близко, родимые, совсем близко. Вот ступайте этою тропою; как выедете на большую дорогу, поверне-

те влево, проедете не более версты, тут вам будет и постоялый двор!

— Едем! — сказали опричники.

Вяземский все еще был в обмороке. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и поехали вслед.

Лишь только удалилась толпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу.

— Боярыня! Ушли! — сказал он.— Пожалуй в камору. Ах ты, сотик мой забрушенный, как притаилась-то! Пожалуй в камору, лебедушка моя, там тебе будет получше!

Он настлал свежего моху в углу каморы, зажег лучину и поставил перед Еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба.

— Ешь на здоровье, боярыня! — сказал он, низко кланяясь,— вот я тебе сейчас винца принесу.

Сбегав еще раз в мельницу, он вынес из нее большую сулею и глиняную кружку.

— Во здравие твое, боярыня!

Старик, как хозяин, первый опорожнил кружку. Вино его развеселило.

— Выпей, боярыня! — сказал он,— теперь некого тебе бояться! Они ищут постоялого двора! Найдут ли, не найдут ли, а уж сюда не вернутся; не по такой дороге я их послал, хе-хе! Да что ты, боярыня, винца не отведаешь? А впрочем, и не отведывай! Это вино дрянь! Плюнь на него; я тебе другого принесу!

Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воротился с баклагою под мышкой и с серебряным кубком в руках.

— Вот вино так вино! — сказал он, нагибая баклагу над кубком — Во здравие твое, боярыня! Это вино и с кубком подарил мне добрый человек... зовут его Перстнем... хе-хе! Здесь много живет добрых людей в лесу: все они со мной в дружбе! Ешь, боярыня! Да что же ты сотов не ешь? Это соты не простые. Таких сотов за сто верст не найдешь. А почему они не простые? Потому что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна. Я не так, как другие! Я кажинное лето самый лучший улей в болото бросаю водяному дедушке: нà тебе, дедушка, ку-

шай! Хе-хе! А он, боярыня, дай бог ему здоровья, мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня да бросил в болото, так от этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули невод да вместо рыбы и вытащили пчел... Эх, боярыня! мало ешь, мало пьешь! А вот посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... слушай, боярыня! Во здравие... хе-хе! Во здравие князя... князя, то есть, не того, а Серебряного! Дай бог ему здоровья, вишь, как порубил того-то, то есть Вяземского-то! А, боярин-то Дружина Андреич, хе-хе! Во здравие его, боярыня! Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом куда хошь ступай, хошь к Дружине Андреичу, хошь к Серебряному, мне какое дело! Во здравие твое!

Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее казались ему известны; он как будто читал в ее сердце; лучина, воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким светом; серые глаза его были отуманены хмелем, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось страшно, она стала громко молиться.

— Хе-хе! — сказал мельник,— молись, молись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаном не выкуришь... я сам умею причитывать... я не какой-нибудь такой... меня и водяной дед знает, и лесовой дед... меня знают русалки... и ведьмы... и кикиморы... меня все знают... меня... меня... вот хошь, я их позову? Шикалу! Ликалу!

— Господи! — прошептала Елена

— Шикалу! Ликалу! Что? нейдут? Постой, я их приведу! Бду, бду!

Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из каморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго мельник разговаривал за дверью сам с собою.

— Меня все знают! — повторял он хвастливым, но уже неверным голосом,— и лесовой дед... и водяной дед... и русалки... и кикиморы... я не какой-нибудь такой!.. меня все знают! Бду, бду!

Слышно было, как старик плясал и притопывал ногами. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, и вскоре раздалося его храпение, которое во всю ночь сливалось с шумом мельничного колеса.

ГЛАВА 18

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

На другой день после разорения морозовского дома пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дремучем лесу. Он беспрестанно снимал шапку и к чему-то прислушивался.

— Тише, Галка, полно те фыркать,— говорил он, трепля лошадь по крутой шее,— вишь, какая неугомонная, ничего расслушать не даст. Фу ты пропасть, никак и места не спознаю! Все липа да орешник; а когда в ту пору ночью ехали, кажись, смолою попахивало!

И всадник продолжал путь свой.

— Постой, Галка! — сказал он вдруг, натянув поводья,— вот теперь опять как будто слышу! Да стой ты смирно, эк тебя разбирает! И вправду слышу! Это уж не лист шумит, это мельничное колесо! Вишь, она, мельница, куда запряталась! Только уж постой! Теперь от меня не уйдешь, тетка твоя подкурятина!

И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился во всю прыть по направлению шума.

— Ну, слава ти, господи,— сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертящимся колесом,— насилу-то догнал; а то ведь чуть было не уморился: то впереди шум, то за самою спиной, ничего не разберешь! Вот она и мельница! Вон с той стороны мы в ту пору с бояриным подъехали, когда станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева; в ту пору камора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице! Тьфу ты, уж этот мне мельник! Вишь, как глаза отводит! Недаром же я и колесил целый день круг этого места; кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не приехал!

Михеич слез с своей Галки, привязал ее к дереву, подошел с некоторою боязнию к мельнице и постучался в дверь.

— Хозяин, а хозяин!

Никто не отвечал.

— Хозяин, а хозяин!

Внутри мельницы было молчание: только жернова гудели да шестерни постукивали.

Михеич попытался толкнуть дверь; она была заперта.

«Да что он, седой черт, спит али притаился?» — подумал Михеич и стал изо всей мочи стучать в дверь и руками и ногами. Ответу не было. Михеич начал горячиться.

— Эй ты, хрен! — закричал он,— вылезай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстие над дверью показалась белая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которых светились два глаза ярко-серого цвета.

Михеичу стало неловко в присутствии мельника.

— Здравствуй, хозяин! — сказал он ласковым голосом.

— Господь с тобою! — отвечал мельник,— чего тебе, добрый человек?

— Аль не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебяономнясь с боярином ночевал.

— С князем-то? Как не узнать, узнал! Что ж, батюшка, с чем бог принес?

— Да что ж ты, хозяин, забился, как филин в дупло! Или меня впусти, или сам выйди; так говорить несподручно!

— Постой, батюшка, дай только хлебушка подсыпать, вот я к тебе сейчас выйду!

«Да! — подумал Михеич,— посмотрел бы я, какого ты, чертов кум, хлеба подсыпешь? Я чай, кости жидовские ведьмам на муку перемалываешь! Тут и завозу быть не может; вишь, какая глушь, и колеи-то все травой заросли!»

— Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел,— сказал мельник, тщательно запирая за собою дверь.

— Насилу-то вышел! Довольно ты поломался, хозяин.

— Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу. Всякому отпирать не приходится; далеко ли до беды: видно, что человек, а почему знать, хлеб ли святой у него под полой или камень булыжник!

«Вишь, мухомор! — подумал Михеич,— прикидывается, что разбойников боится, а я чай, нет лешего, с которым бы детей не крестил!»

— Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи, а я послушаю!

— Да вот что, хозяин: беда случилась, хуже смерти пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли к Слободе с великою крепостью, сидит он теперь, должно быть, в тюрьме, горем крутит, горе мыкает; а за что сидит, одному богу ведомо; не сотворил никакого дурна ни перед царем, ни перед господом; постоял лишь за правду, за боярина Морозова да за боярыню его, когда они лукавством своим, среди веселья, на дом напали и дотла разорили.

Глаза мельника приняли странное выражение.

— Ох-ох-ох! — сказал он,— худо, кормилец; худо, кормилец; худо карасю, когда в шум заплывет. Худо князю твоему в темнице сидеть, хуже Морозову без жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены!

Михеич удивился.

— Да ты почем знаешь, что Вяземский Морозова жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал!

— Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается; иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется; когда под колесом воды убыло, знать есть засуха и за сто верст, и будет хлебу недород велик, а наш брат, старик, живи себе молча; слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо!

— Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь боярину? Я вот все думал да гадал, раскидывал умом-разумом, ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот молодец на уме все мотался, что проводил-то нас до тебя. Говорил мне тогда: коли понадоблюсь, говорит, боярину, приходи, говорит, на мельницу, спроси у дедушки, где Ванюха Перстень, а я, говорит, рад боярину служить; за него, говорит, и живот положу! Вот я к тебе и приехал, хозяин; сделай божескую милость, научи, как боярина вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита Романыч, да и я, горемычный, буду вечным слугою твоим.

«Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка твоя подкурятина,— прибавил мысленно Михеич,— вот кому довелось кланяться!»

— Что ж, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дело, что и говорить, да ведь ухватом из поломя горшки вымаются, а бывает инольды, и зернышко из-под жернова цело выскочит; всяко бывает, какое кому счастье!

— Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает, только бью тебе челом, научи уму-разуму, что мне теперь делать?

Мельник опустил голову и стал как будто прислушиваться к шуму колеса.

Прошло несколько минут. Старик покачал головой и заговорил, не обращая внимания на Михеича:

«Ходит, ходит колесо кругом, что́ было высоко, то будет низко, что было низко, будет высоко; слышу, далеко звонит колокол, невесть на похороны, невесть на свадьбу; а кого венчать, кого хоронить, не слыхать, вода шумит, не видать за великим дымом!

Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуют, летят да кричат! Наточен топор, наряжен палач; по дубовым доскам побегут, потекут теплой крови ручьи; слетят головы с плеч, да неведомо чьи!»

Михеич струсил.

— Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойнике?

Мельник, казалось, не слыхал Михеича. Он уже ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза смотрели тускло, как будто ничего не видели.

— Дедушка, а дедушка! — и Михеич дернул его за рукав.

— А? — отозвался мельник и обратился к Михеичу, будто теперь только его заметил.

— Что ты бормочешь, дедушка?

— Эх, куманек! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путем-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебе будет поворотов и вправо и влево, а ты все прямо ступай; верст пять проедешь, будет в стороне избушка, в той избушке нет живой души. По-

дожди там до ночи, придут добрые люди, от них больше узнаешь. А обратным путем заезжай сюда, будет тебе работа; залетела жар-птица в западню; отвезешь ее к царю Далмату, а выручку пополам!

И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и запер за собою дверь.

— Дедушка! — закричал ему вслед Михеич,— да скажи мне толком, про каких ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельник не отозвался на голос Михеича, и сколько тот ни прислушивался, он ничего не мог услышать, кроме шума воды и стука колес.

«Вишь, тетка его подкурятина! — подумал Михеич,— куда вздумал посылать! Верст пять будет избушка, в ней жди до ночи, а там черт знает кто придет, больше скажет. Послал бы я тебя самого туда, хрен этакий! Кабы не боярин, уж я бы дал тебе! Вишь, какой, в самом деле! Тьфу! Ну, Галка, нечего делать, давай искать чертовой избушки!»

И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился рысцой по направлению, указанному мельником.

ГЛАВА 19

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ДОБРО ПОМНИТ

Было уже поздно, когда Михеич увидел в стороне избушку, черную и закоптевшую, похожую больше на полуистлевший гриб, чем на человеческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались над высокою травой на небольшой расчищенной поляне. Было свежо и сыро. Птицы перестали щебетать, лишь иные время от времени зачинали сонную песнь и, не окончив ее, засыпали на ветвях. Мало-помалу и они замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимого ручья да изредка жужжание вечерних жуков.

— Вишь, куда заехали,— сказал Михеич, оглядываясь кругом,— и подлинно тут живой души нет! Подожду, посмотрю, кто такой придет, какого даст совета? Ну, а коли, не дай бог, кто-нибудь такой придет, что...

тьфу! С нами крестная сила! Дал бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать.

Михеич слез с своей Галки, стреножил ее путами, снял узду и пустил лошадку на волю божию.

— Щипли себе травку,— сказал он,— а я войду в избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего перекусить! Хозяйство, может, хоть и недоброе, да ведь и голод не тетка!

Он толкнул ногой низенькую косую дверь; странно раздался в этом безлюдном месте ее продолжительный скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в стену, Михеич нагнулся и вошел в избу. Его обдало темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом, он ощупал на столе краюху хлеба и принялся убирать ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе, нашел там горячие уголья, раздул их не без труда и зажег лучину, валявшуюся на лавке. Между печью и стеною были укреплены полати. На них лежало разное платье, между прочим один парчовый кафтан, шитый хоть бы на боярина. На стене висела мисюрка с богатою золотою насечкой. Но более всего привлек внимание Михеича стоявший на косяке образ, весь почерневший от дыма. Он примирил его с неизвестными хозяевами.

Михеич несколько раз на него перекрестился, потом погасил лучину, влез на полати, растянулся, покряхтел и заснул богатырским сном. Он спал довольно сладко, когда внезапный удар кулаком в бок свалил его с полатей.

— Это что? — вскричал Михеич, проснувшись уже на голой земле,— кто это дерется? смотри, тетка твоя...

Перед ним стоял детина со всклоченною бородой, с широким ножом за поясом и готовился попотчевать его новым ударом кулака.

— Не замай! — сказал ему другой дюжий парень, у которого только что ус пробивался,—что он тябе сделал? А? — При этом он оттер товарища плечом, а сам уставился на Михеича и выпучил глаза.

— Ишь, сядой! — заметил он с каким-то почтительным удивлением.

— Да ты, тюлень, чего ввязался! — закричал на него первый,— что он тебе, отец али сват?

— А то он мне, что старик. Ишь, сядой, потому старик. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкий смех раздался между людьми, вошедшими толпою в избу.

— Эй, Хлопко,— сказал один из них,— берегись! Коли Митька осерчает, плохо будет! С ним, брат, не связывайся!

— Леший с ним свяжется! — отвечал Хлопко, отходя в сторону.— Жили, жили в лесу, да и нажили медведя!

Другие молодцы, все вооруженные, обступили Михеича и смотрели на него не слишком ласково.

— Откуда кожан залетел? — спросил один из них, глядя ему прямо в глаза.

Михеич между тем успел оправиться.

«Эге! — подумал он,— да это они-то и есть, станичники-то!»

— Здравствуйте, добрые люди! А где у вас тот, что зовут Ванюхой Перстнем?

— Так тебе атамана надо? Чего ж ты прежде не говорил? Сказал бы сразу, так не отведал бы тумака!

— А вот и атаман! — прибавил другой, указывая на Перстня, который только что вошел в сопровождении старого Коршуна.

— Атаман! — закричали разбойники,— вот пришел человек, про тебя спрашивает!

Перстень окинул быстрым оком Михеича и тотчас узнал его.

— А, это ты, товарищ! — сказал он,— добро пожаловать! Ну, что его княжеская милость, как здравствует с того дня, как мы вместе Малютиных опричников щелкали? Досталось им от нас на Поганой Луже! Жаль только, что Малюта Лукьяныч ускользнул да что этот увалень, Митька, Хомяка упустил. Несдобровать бы им у меня в руках! Что, я чай, батюшка-царь куда как обрадовался, как царевича-то увидал! Я чай, не нашел, чем пожаловать князь Никиту Романыча!

— Да! — отвечал со вздохом Михеич,— жалует царь, да не жалует псарь! Батюшка-государь Иван Васильич, дай бог ему здоровья, таки миловал господина моего. Только, видно, не угодил Никита Романыч опричникам окаянным. Правда, не за что им и любить нас.

Перво в Медведевке мы их плетьми отшлепали, да вдругорь на Поганой Луже Малюте оплеуху дали, да вот вчера на Москве боярин таки порубил их порядком. А они, окаянные, навалились на него многолюдством, опрокинули, связали, да и повезли к Слободе. Оно бы все ничего, да этот Малюта, песий сын, обнесет нас перед государем, выместит на князе свою оплеуху!

— Гм! — сказал Перстень, садясь на скамью,— так царь не велел повесить Малюту? Как же так? Ну, про то знает его царская милость. Что ж ты думаешь делать?

— Да что, батюшка Иван, не знаю, как и величать твое здоровье по изотчеству...

— Величай Ванюхой, и дело с концом!

— Ну, батюшка Ванюха, я и сам не знаю, что делать. Авось ты чего не пригадаешь ли? Ведь один-то ум хорош, а два лучше! Вот и мельник ни к кому другому, а к тебе послал: ступай, говорит, к атаману, он поможет; уж я, говорит, по приметам вижу, что ему от этого будет всякая удача и корысть богатая! Ступай, говорит, к атаману!

— Ко мне! Так и сказал, ко мне?

— К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, говорит, к атаману, отдай от меня поклон, скажи, чтобы во что б ни стало выручил князя. Я-де, говорит, уж вижу, что ему от этого будет корысть богатая, по приметам, дескать, вижу. Пусть, во что б ни стало, выручит князя! Я-де, говорит, этой службы не забуду. А не выручит атаман князя, всякая, говорит, будет напасть на него; исчахнет, говорит, словно былинка; совсем, говорит, пропадет!

— Вот что! — сказал Перстень, потупя голову и как будто задумавшись.— Ужель и вправду исчахну?

— Да, батюшка, и руки и ноги, говорит, отсохнут; а на голове такая, говорит, пойдет дрянь, что не приведи господи!

Перстень поднял голову и пристально взглянул на Михеича.

— А еще ничего не сказал мельник?

— Как же, батюшка! — продолжал Михеич, поглядывая сбоку на дымящийся горшок щей, который разбойники поставили на стол,— еще мельник сказал так: скажи, дескать, атаману, чтоб он тебя накормил и напоил хорошенько, примерно, как бы самого меня. А главное,

говорит, чтоб выручил князя. Вот что, батюшка, мельник сказал.

И Михеич посматривал на атамана, изведывая, какое впечатление произвели его слова?

Но Перстень взглянул на него еще пристальнее и вдруг залился самым громким, самым веселым смехом.

— Эх, старина, старина! Так тебе и вправду мельник сказал, что коли не выручу князя, так вот и пропаду?

— Да, батюшка,— отвечал стремянный, немного запинаясь,— и руки и ноги...

— Хитер же ты, брат! — перебил Перстень, ударив его по плечу и продолжая смеяться,— только меня-то напрасно надувать вздумал! Садись с нами,— прибавил он, придвигаясь к столу,— хлеб да соль! Нá тебе ложку, повечеряем; а коли можно помочь князю, я и без твоих выдумок помогу. Только как и чем помочь? Ведь князь-то в тюрьме сидит?

— В тюрьме, батюшка.

— В той самой, что на площади, у Малютина дома?

— Да уж ни в какой другой. Эта будет покрепче!

— А ключи ведь у кого? У Малюты?

— Да как были мы в Слободе, так, бывало, видели, как он хаживал в тюрьму пытать людей. Ключи, бывало, всегда с ним. А к ночи, бывало, он их к царю относит, а уж царь, всем ведомо, под самое изголовье кладет.

— Ну так вишь ли! — сказал Перстень, опуская ложку в щи,— какой тут бес твоему князю поможет? Ну говори сам: какой бес ему поможет?

Михеич почесал затылок.

— Так ты видишь, что нельзя помочь?

— Вижу,— отвечал Михеич и ложку бросил.— Стало, и мне не жить на белом свете! Пойду к господину, сложу старую голову подле его головы, стану ему на том свете служить, коль на этом заказано!

— Ну, ну, уж и отходную затянул! Еще, может, князь твой и не в тюрьме. Тогда и плакать нечего; а коли в тюрьме, так дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю; я туда прошедшего месяца медведя водил, и дворец знаю, все высмотрел; думал себе: когда-нибудь пригодится!.. Постой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

— Нашел! — вскричал он вдруг и вскочил с места.— Дядя Коршун! Нас с тобой князь от смерти спас — спасем и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дело?

Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявою головой.

— Что, Коршун, нешто не хочется тебе?

— Да что ты, атаман, с ума, что ли, спятил? Аль не слыхал, где сидит князь? Аль не слыхал, что ключи днем у Малюты, а ночью у царя под изголовьем? Что тут делать? Плетью обуха не перешибешь. Пропал он, так и пропал! Нешто из-за него и нам пропадать? Легче ему, что ли, будет, когда с нас шкуру сдерут?

— Оно так, Коршун, да ведь недаром пословица говорится: долг платежом красён! Ведь не спаси нас в то время князь, где бы мы теперь были? Висели бы где-нибудь на березе, ветер бы нас покачивал! А каково-то ему теперь? Я чай, думает себе: вот, я в ту пору ребятушек вызволил из беды, теперь и они меня вызволят! А как бросим мы его, да как поведут его казнить,— тьфу! скажет,— чтой-то за люди были, воровать-разбойничать умеют, а добра-то не помнят! Только, скажет, кровь неповинную проливают, а христианина спасти не их дело! Я, скажет, за них господу богу и доброго слова не замолвлю! Пусть себе, скажет, и на этом свету и на том пропадают! Вот что скажет князь!

Коршун еще более нахмурил брови. Внутренняя борьба отразилась на суровом лице его. Заметно было, что Перстень удачно тронул живую струну в очерствелом его сердце.

Но недолго продолжалась эта борьба. Старик махнул рукою.

— Нет, брат,— сказал он,— пустое затеваешь; своя рубаха ближе к телу! Не пойду!

— Ну нет так нет! — сказал Перстень.— Подождем утра, авось что другое придумаем, утро вечера мудренее! А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть! Кто может богу молиться, молись, а кто не может, так ложись!

Атаман посмотрел искоса на Коршуна. Видно, знал он что-нибудь за стариком, ибо Коршун слегка вздрог-

нул и, чтоб никто того не заметил, стал громко зевать, а потом напевать себе что-то под нос.

Разбойники встали. Иные тотчас влезли на полати; другие еще долго молились перед образом. Из числа последних был Митька. Он усердно клал земные поклоны, и если б одежда и вооружение не обличали ремесла его, никто бы по добродушному лицу Митьки не узнал в нем разбойника.

Не таков был старый Коршун. Когда все улеглись, Михеич увидел при слабом мерцании огня, как старик слез с лежанки и подошел к образу. Несколько раз он перекрестился, что-то пробормотал и наконец сказал с сердцем:

— Нет, не могу! А чаял, будет легче сегодня!

Долго слышал Михеич, как Коршун ворочался с боку на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед рассветом он разбудил атамана.

— Атаман,— сказал он,— а атаман!

— Чего тебе, дядя?

— Пожалуй, я пойду с тобой; веди куда знаешь!

— Что так?

— Да так, спать не могу. Вот уж которую ночь не спится.

— А назад не попятишься?

— Уж сказал иду, так не попячусь!

— Ну, ладно, дядя Коршун, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а более не надо! Много ли ночи осталось?

— Уж, слышно, птахи заиграли.

— Ну, так уже вволю полежано, и вставать пора, Митька! — сказал Перстень, толкая под бок Митьку.

— А? — отвечал, раскрыв глаза, парень.

— Хочешь идти с нами?

— Кудь?

— Тебе что за дело? Спрашивают тебя, хочешь ли идти со мной да с дедушкой Коршуном?

— А для ча? — отвечал Митька, зевая, и свесил ноги с полатей.

— Ну, за это люблю. Иди куда поведут, а не спрашивай: кудь? Расшибут тебе голову, не твое дело, про то мы будем знать, а тебе какая нужда! Ну, смотри ж,

взялся за гуж, не говори: не дюж; попятишься назад, раком назову!

— Ня назовешь! — отвечал Митька и стал обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одеваться.

В чем состояла выдумка Перстня и удачно ль он исполнил ее,— узнаем из следующих глав.

ГЛАВА 20

ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

В глубокой и темной тюрьме, которой мокрые стены были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ожидал себе смерти. Не знал он наверно, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в подземелье; но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более трех дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден, оставленный ковш с водою давно выпит, и голод и жажда начинали его мучить, как непривычный шум привлек его внимание. Над головой его отпирали замок. Заскрипела первая, наружная дверь темницы. Шум раздался ближе. Загремел другой замок, и вторая дверь заскрипела. Наконец отперли третью дверь, и послышались шаги, спускающиеся в подземелье. Сквозь щели последней двери блеснул огонь, ключ с визгом повернулся, несколько засовов отодвинулось, ржавые петли застонали, и яркий, нестерпимый свет ослепил Серебряного.

Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл глаза, перед ним стояли Малюта Скуратов и Борис Годунов. Сопровождавший их палач держал высоко над ними смоляный светоч.

Малюта, скрестив руки, глядел, улыбаясь, в лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

— Здравствуй, батюшка-князь! — проговорил он таким голосом, которого никогда еще не слыхивал Никита

Романович, голосом протяжно-вкрадчивым и зловеще-мягким, напоминающим кровожадное мяуканье кошки, когда она подходит к мышеловке, в которой сидит пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но вид Годунова подействовал на него благотворно.

— Борис Федорович,— сказал он, отворачиваясь от Малюты,— спасибо тебе, что ты посетил меня. Теперь и умереть будет легче!

И он протянул к нему скованную руку. Но Годунов отступил назад, и на холодном лице его ни одна черта не выразила участия к князю.

Рука Серебряного, гремя цепью, опять упала к нему на колени.

— Не думал я, Борис Федорович,— сказал он с упреком,— что ты отступишься от меня. Или ты только пришел на мою казнь посмотреть?

— Я пришел,— ответил спокойно Годунов,— быть у допроса твоего вместе с Григорьем Лукьяновичем. Отступаться мне не от чего; я никогда не мыслил к тебе и только, ведая государево милосердие, остановил в ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебряного болезненно сжалось, и перемена в Годунове показалась ему тяжелее самой смерти.

— Время милосердия прошло,— продолжал Годунов хладнокровно,— ты помнишь клятву, что дал государю? Покорись же теперь его святой воле, и если признаешься нам во всем без утайки, то минуешь пытку и будешь казнен скорою смертию. Начнем допрос, Григорий Лукьянович!

— Погоди, погоди маленько! — отвечал Малюта, улыбаясь.— У меня с его милостью особые счеты! Укороти его цепи, Фомка,— сказал он палачу.

И палач, воткнув светоч в железное кольцо, вделанное в стену, подтянул руки Серебряного к самой стене, так что он не мог ими двинуть.

Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго смотрел на него, не изменяя своей улыбки.

— Батюшка, князь Никита Романыч! — заговорил он наконец,— не откажи мне в милости великой!

Он стал на колени и поклонился в землю Серебряному.

— Мы, батюшка-князь,— продолжал он с насмешливою покорностью,— мы перед твоею милостью малые люди; таких больших бояр, как ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытывали! И к допросу-то приступить робость берет! Кровь-то, вишь, говорят, не одна у нас в жилах течет...

И Малюта остановился, и улыбка его сделалась ядовитее, и глаза расширились более, и зрачки запрыгали чаще.

— Дозволь, батюшка-князь,— продолжал он, придавая своему голосу умоляющее выражение,— дозволь перед допросом, для смелости-то, на твою боярскую кровь посмотреть!

И он вынул из-за пояса нож и подполз на коленях к Серебряному.

Никита Романович рванулся назад и взглянул на Годунова.

Лицо Бориса Федоровича было неподвижно.

— А потом,— продолжал, возвышая голос, Малюта,— потом дозволь мне, худородному, из княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозволь мне, холопу, боярскую кожу твою на конский чепрак снять! Дозволь мне, смрадному рабу, вельможным мясом твоим собак моих накормить!

Голос Малюты, обыкновенно грубый, теперь походил на визг шакала, нечто между плачем и хохотом.

Волосы Серебряного стали дыбом. Когда в первый раз Иоанн осудил его на смерть, он твердо шел на плаху; но здесь, в темнице, скованный цепями, изнуренный голодом, он не в силах был вынести этого голоса и взгляда.

Малюта несколько времени наслаждался произведенным им действием.

— Батюшка-князь,— взвизгнул он вдруг, бросая нож свой и подымаясь на ноги,— дозволь мне прежде всего тебе честно долг заплатить!

И, стиснув зубы, он поднял ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебряного отхлынула к сердцу, и к негодованию его присоединился тот ужас омерзения, какой производит на нас близость нечистой твари, грозящей своим прикосновением.

Он устремил отчаянный взор свой на Годунова.

В эту минуту подъятая рука Малюты остановилась на воздухе, схваченная Борисом Федоровичем.

— Григорий Лукьянович,— сказал Годунов, не теряя своего спокойствия,— если ты его ударишь, он расшибет себе голову об стену, и некого будет нам допрашивать. Я знаю этого Серебряного.

— Прочь! — заревел Малюта,— не мешай мне над ним потешиться! Не мешай отплатить ему за Поганую Лужу!

— Опомнись, Григорий Лукьянович! мы отвечаем за него государю!

И Годунов схватил Малюту за обе руки.

Но как дикий зверь, почуявший кровь, Малюта ничего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился он в Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; светоч, задетый одним из них, упал на землю и погас под ногою Годунова.

Малюта пришел в себя.

— Я скажу государю,— прохрипел он, задыхаясь,— что ты стоишь за его изменника!

— А я,— ответил Годунов,— скажу государю, что ты хотел убить его изменника без допроса, потому что боишься его показаний!

Нечто вроде рычания вырвалось из груди Малюты, и он бросился из темницы, позвав с собою палача.

Между тем как они ощупью взбирались по лестнице, Серебряный почувствовал, что ему отпускают цепи и что он опять может двигаться.

— Не отчаивайся, князь! — шепнул ему на ухо Годунов, крепко сжимая его руку,— главное — выиграть время!

И он поспешил вслед за Малютой, заперев предварительно за собою дверь и тщательно задвинув засовы.

— Григорий Лукьянович,— сказал он Скуратову, догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии стражи,— ты не запер тюрьмы. Этак делать не годится; неравно, подумают, ты заодно с Серебряным!

В то самое время, как описанное происходило в тюрьме, Иоанн сидел в своем тереме, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-помалу им овла-

дело. Чувство это было невольное уважение к Серебряному, которого смелые поступки возмущали его самодержавное сердце, а между тем не подходили под собственные его понятия об измене. Доселе Иоанн встречал или явное своеволие, как в боярах, омрачавших своими раздорами время его малолетства, или гордое непокорство, как в Курбском, или же рабскую низкопоклонность, как во всех окружавших его в настоящее время. Но Серебряный не принадлежал ни к одному из этих разрядов. Он разделял убеждения своего века в божественной неприкосновенности прав Иоанна; он умственно подчинялся этим убеждениям и, более привыкший действовать, чем мыслить, никогда не выходил преднамеренно из повиновения царю, которого считал представителем божией воли на земле. Но несмотря на это, каждый раз, когда он сталкивался с явною несправедливостью, душа его вскипала негодованием, и врожденная прямота брала верх над правилами, принятыми на веру. Он тогда, сам себе на удивление и почти бессознательно, действовал наперекор этим правилам, и на деле выходило совсем не то, что они ему предписывали. Эта благородная непоследовательность противоречила всем понятиям Иоанна о людях и приводила в замешательство его знание человеческого сердца. Откровенность Серебряного, его неподкупное прямодушие и неспособность преследовать личные выгоды были очевидны для самого Иоанна. Он понимал, что Серебряный его не обманет, что можно на него вернее положиться, чем на кого-либо из присяжных опричников, и ему приходило желание приблизить его к себе и сделать из него свое орудие; но вместе с тем он чувствовал, что орудие это, само по себе надежное, может неожиданно ускользнуть из рук его, и при одной мысли о такой возможности расположение его к Серебряному обращалось в ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Иоанна и побуждала его иногда отказываться от кровавых дел своих и предаваться раскаянию, но то были исключения; в обыкновенное же время он был проникнут сознанием своей непогрешимости, верил твердо в божественное начало своей власти и ревниво охранял ее от посторонних посягательств; а посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение. Так случилось и теперь. Мысль простить Серебряного

мелькнула в душе его, но тотчас же уступила место убеждению, что Никита Романович принадлежит к числу людей, которых не должно терпеть в государстве.

«Аще,— подумал он,— целому стаду, идущу одесную, единая овца идет ошую, пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию предает!» Так подумал Иоанн и решил в сердце своем участь Серебряного. Казнь ему была назначена на следующий день; но он велел снять с него цепи и послал ему вина и пищи от своего стола.

Между тем, чтобы разогнать впечатления, возбужденные в нем внутреннею борьбою, впечатления непривычные, от которых ему было неловко, он вздумал проехаться в чистом поле и приказал большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольничий, подсокольничий, начальные люди и все чины сокольничья пути выехали верхами, в блестящем убранстве, с соколами, кречетами и челигами на рукавицах и ожидали государя в поле.

Недаром искони говорилось, что полевая потеха утешает сердца печальные, а кречетья добыча веселит весельем радостным старого и малого. Сколь ни пасмурен был царь, когда выехал из Слободы с своими опричниками, но при виде всей блестящей толпы сокольников лицо его прояснилось. Местом сборища были заповедные луга и перелески верстах в двух от Слободы по Владимирской дороге.

Сокольничий, в красном бархатном кафтане с золотою нашивкой и золотою перевязью, в парчовой шапке, в желтых сапогах и в нарядных рукавицах, слез с коня и подошел к Иоанну, сопровождаемый подсокольничим, который нес на руке белого кречета, в клобучке и в колокольцах.

Поклонившись до земли, сокольничий спросил:

— Время ли, государь, веселью быть?

— Время,— отвечал Иоанн,— начинай веселье!

Тогда сокольничий подал царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, приняв кречета от подсокольничего, посадил его государю на руку.

— Честные и доброхвальные охотники! — сказал сокольничий, обращаясь к толпе опричников,— забавляйтеся и утешайтеся славною, красною и премудрою охо-

той, да исчезнут всякие печали и да возрадуются сердца ваши!

Потом, обратясь к сокольникам:

— Добрые и прилежные сокольники,— сказал он,— напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольников рассеялась по полю. Иные с криком бросились в перелески, другие поскакали к небольшим озерам, разбросанным как зеркальные осколки между кустами.

Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколов. Утки бросились было обратно к озерам, но там встретили их другие соколы, и они в испуге разметались, как стрелы, по всем направлениям.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на уток, кто вдогонку, кто наперехват, кто прямым боем, сверху вниз, падая, как камень, на спину добычи.

Отличилися в этот день и Бедряй, и Смеляй, сибирские челиги, и Арбаси Анпрас, соколы-дикомыты, и Хорьяк, и Худяк, и Малец, и Палец. Досталось от них и уткам и тетеревам, которых рядовые сокольники выпугивали бичами из зарослей. Чуден и красносмотрителен был лет разнопородных соколов. Тетерева беспрестанно падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в отчаянье бросались лошадям под ноги и были схвачены охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Молодик Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего очень низко, ударился грудью оземь и убился на месте.

Астрец и Сородум, два казанские розмытя, улетели из виду охотников, несмотря ни на свист поддатней, ни на голубиные крылья, которыми они махали.

Но всех славнее и удивительнее выказал себя царский кречет, честник, по прозванию Адраган. Два раза напускал его царь, и два раза он долго оставался в воздухе, бил без промаху всякую птицу и, натешившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. В третий раз Адраган пришел в такую ярость, что начал бить не только полевую птицу, но и самих соколов, которые неосторожно пролетали мимо него. Сокол Смыш-

ляй и соколий челиг Кружок упали на землю с подрезанными крыльями. Тщетно царь и все бывшие при нем сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в небе широкие круги, подымался на высоту невидимую и подобно молнии стремился на добычу; но вместо того чтоб опускаться за нею на землю, Адраган после каждой новой победы опять взмывал кверху и улетал далеко.

Сокольничий, потеряв надежду достать Адрагана, поспешил подать царю другого кречета. Но царь любил Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Он спросил у сокольничего, кому из рядовых указано держать Адрагана? Сокольничий отвечал, что указано рядовому Тришке.

Иоанн велел позвать Тришку. Тришка, чуя беду, явился бледный.

— Человече,— сказал ему царь,— так ли ты блюдешь честника? На что у тебя вабило, коли ты не умеешь наманить честника? Слушай, Тришка, отдаю в твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя так, что никому из вас такого времени не будет; а коли пропадет честник, велю, не прогневайся, голову с тебя снять,— и то будет всем за страх; а я давно замечаю, что нет меж сокольников доброго строения и гибнет птичья потеха!

При последних словах Иоанн покосился на самого сокольничего, который, в свою очередь, побледнел, ибо знал, что царь ни на кого не косится даром.

Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поскакал искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтоб указал он ему потерянного кречета.

Охота меж тем шла своим чередом. Уже не по один час тешился государь, и уже много всякой добычи было ввязано в торока, как новое зрелище обратило на себя внимание Иоанна.

По Владимирской дороге тащились двое слепых, один средних лет, другой старик с седою кудрявою головой и длинною бородой. На них были белые, изношенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через плечи крест-накрест, висели с одной стороны мешок для сбирания милостыни, а с другой — изодранный кафтан, скинутый по

случаю жары. Остальные пожитки, как-то: гусли, балалайки и торбу с хлебом,— они взвалили на дюжего молодого парня, служившего им вожатым. Сначала тот из слепых, который был помоложе, держался за плечо вожатого, а сам тащил за собою старика. Только молодой парень, видно, зазевался на охоту и забыл про товарищей. Слепые отстали от зрячего. Держась один за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на них, Иван Васильевич не мог удержаться от смеха. Он подъехал к ним ближе. В это время передний слепой оступился, упал в лужу и потянул за собою товарища. Оба встали покрытые грязью, отплевываясь и браня вожатого, который смотрел, разиня рот, на блестящих опричников. Царь громко смеялся.

— Кто вы, молодцы? — спросил он.— Откуда и куда идете?

— Проваливай! — отвечал младший слепой, не снимая шапки,— много будешь знать, скоро состаришься.

— Дурень! — закричал один опричник,— аль не видишь, кто перед тобой!

— Сам ты *дурень*,— отвечал слепой, выкатив на опричника белки свои,— где мне видеть, коли глаз нетути. Вот ты — дело другое; у тебя без двух четыре, так видишь ты и дале и шире; скажи, кто передо мной, так буду знать!

Царь приказал молчать опричнику и ласково повторил вопрос свой.

— Мы люди веселые,— отвечал слепой,— исходили деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подсадить, кого спешить!

— Вот как! — сказал царь, которому нравились ответы слепого,— так вы муромцы, калашники, вертячие бобы! А есть еще у вас богатыри в Муроме?

— Как не быть! — отвечал слепой, не запинаясь,— этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам себя за волосы на вершок от земли подымает; есть тетка Ульяна: одна ходит на таракана.

Все опричники засмеялись. Царю давно уже не было так весело.

«Вот и вправду веселые люди,— подумал он,— видно, что не здешние. Надоели мне уже мои сказочники.

Всё одно и то же наладили, да уж и скоморохи мне наскучили. С тех пор как пошутил я с одним неосторожно, стали все меня опасаться; смешного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко в теле сидела!»

— Слушай, молодец: что, сказки сказывать умеешь?

— Какова сказка,— отвечал слепой,— и кому сказывать. Вот мы ономнясь рассказали старицкому воеводе сказку про козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама воеводша, так он нас со двора и велел согнать, накостылявши затылок. Вперед не расскажем.

Трудно описать хохот, который раздался между опричниками. Старицкий воевода был в немилости у царя. Насмешка слепого пришлась как нельзя более кстати.

— Слушайте, человеки,— сказал царь,— ступайте в Слободу, прямо во дворец, там ждите моего приезда, царь-де вас прислал. Да чтоб вас накормили и напоили, а приеду домой, послушаю ваших сказок!

При слове «царь» слепые оробели.

— Батюшка-государь! — сказали они, упав на колени,— не взыщи за нашу грубую, мужицкую речь! Не вели нам головы сечь, по неведенью согрешили!

Царь усмехнулся испугу слепых и поехал опять в поле продолжать охоту, а слепые с вожатым побрели по направлению Слободы.

Пока толпа опричников могла их видеть, они держались один за другого и беспрестанно спотыкались, но лишь только поворот дороги скрыл их из виду, младший слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал товарищу:

— А что, дядя Коршун, устал небось спотыкаться? Ведь пока дело-то недурно идет; что-то будет дале? Да чего ты так брови-то понасупил, дядя? Аль жаль тебе, что дело затеяли?

— Не то,— отвечал старый разбойник,— уж взялся идти, небось оглядываться не стану; да только вот сам не знаю, что со мной сталось; так тяжело на сердце, как отродясь еще не бывало, и о чем ни задумаю, все опять то же да то же на ум лезет!

— А что тебе лезет на ум?

— Слушай, атаман. Вот уж двадцать лет минуло с той поры, как тоска ко мне прикачнулась, привалила-

ся, а никто ни на Волге, ни на Москве про то не знает; никому я ни слова не вымолвил; схоронил тоску в душе своей, да и ношу двадцать лет, словно жернов на шее. Пытался было раз говеть в великий пост, хотел попу все на духу рассказать, да молиться не смог — и говеть бросил. А вот теперь опять оно меня и душит и давит; кажется, вот как вымолвлю, так будет легче. Тебе-то сказать и не так тяжело, как попу: ты ведь и сам такой же, как я.

Глубокая грусть изображалась на лице Коршуна. Перстень слушал и молчал. Оба разбойника сели на краю дороги.

— Митька,— сказал Перстень вожатому,— садись-ка поодаль да гляди в оба; коли кого дозришь, махни нам; да смотри не забудь: ты глух и нем; слова не выброни!

— Добро,— сказал Митька,— нябось ня выроню!

— Типун тебе на язык, дурень этакий, нишкни! И с нами не говори. Привыкай молчать; не то как раз при ком-нибудь языком брякнешь, тогда и нас и тебя поминай как звали!

Митька отошел шагов на сто и лег на брюхо, уперев локти в землю, а подбородок в руки.

— Ведь добрый парень,— сказал Перстень, глядя ему вслед,— а глуп, хоть кол на голове теши. Пусти его только, разом проврется! Да нечего делать, лучше его нет; он, по крайней мере, не выдаст; постоит и за себя и за нас, коли, не дай бог, нам круто придется. Ну что, дядя, теперь никто нас не услышит: говори, какая у тебя кручина? Эх, не вовремя она тебя навестила!

Старый разбойник опустил кудрявую голову и провел ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать было трудно.

— Вишь, атаман,— сказал он,— довольно я людей перегубил на своем веку, что и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купец ли заартачится, баба ли запищит, хвачу ножом в бок — и конец. Даже и теперь, коли б случилось кого отправить — рука не дрогнет! Да что тут! не тебя уверять стать; я чай, и ты довольно народу на тот свет спровадил; не в диковинку тебе, так ли?

— Ну, что ж с того? — отвечал Перстень с приметным неудовольствием.

— Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красные девицы; много у нас крови на душе; а ты мне вот что скажи, атаман: приходилось ли тебе так, что как вспомнишь о каком-нибудь своем деле, так тебя словно клещами за сердце схватит и холодом и жаром обдаст с ног до головы, а потом гложет, гложет, так что хоть бы на свет не родиться?

— Полно, дядя, о чем спрашивать вздумал, не такое теперь время.

— Вот, — продолжал Коршун, — я много уж и позабыл дел своих, одного не могу забыть. Тому будет полсорока годов, жили мы на Волге, ходили на девяти стругах; атаманом был у нас Данило Кот; о тебе еще и помину не было, меня уже знали в шайке и тогда уже величали Коршуном. Разбивали мы и суда богатые, и пристани грабили, а что, бывало, добудем, то всегда поровну делим, и никакого спору Данило Кот не терпел. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одеты. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны, как заломим шапки, да ударим в весла, да затянем удалую, так в деревнях и городах народ на берег и валит, на молодцов посмотреть, на соколов ясных полюбоваться! А мы себе гребем да поем, во всю глотку заливаемся, из пищалей на ветер постреливаем, красным девкам подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями да с рогатинами, так струги наши словно лесом поросли! Хорошо было житье, да подбил меня бес проклятый. Думаю себе раз: что ж? я ведь больше других работаю, а корысть идет мне со всеми ровная! И положил себе на мысль: пойти одному на промысел, зашибить добычи, да не отдавать в артель, а взять на себя одного. Оделся нищим, почитай как теперь, повесил на шею торбу, всунул засапожник за онучу, да и побрел себе по дороге к посаду, не проедет ли кто? Жду себе, жду: ни обозу, ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Добро ж, говорю, не дает бог корысти, так теперь кто б ни прошел, будь он хоть отец родной, дочиста оберу! Только лишь подумал, идет по дороге баба убогая, несет что-то в лукошке, лукошко холстом обернуто. Лишь только поравнялась она со мной, я и выскочил из-за куста. Стой, говорю, ба-

ба! Давай лукошко! Она мне в ноги: что хошь бери, а лукошко не тронь! Эге, думаю я, так у тебя, видно, казна там спрятана, да и ухватился рукой за лукошко. А баба голосить, ругать меня, кусать за руку. Я уж был больно сердит, что день даром пропал, а тут осерчал еще пуще. Бес толкнул меня под бок, я вытащил засапожник, да и всадил бабе в горло. Как только свалилась она, страх меня взял. Ударился было бежать, да одумался и воротился за лукошком. Думаю себе: уж убил бабу, так пусть же недаром! Взял лукошко, не раскрывая, да и пустился лесом. Отошел не более, как на песий брех, ноги стали подкашиваться, думаю себе: сяду, отдохну да посмотрю, много ли казны добыл? Развернул лукошко, гляжу: ан там лежит малый ребенок, чуть живой, и еле дышит. «Ах ты бесенок! — подумал я,— так вот зачем баба не хотела лукошка отдавать! Так из-за тебя, проклятого, я грех на душу взял!»

Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался.

— Что ж ты с ребенком сделал? — спросил Перстень.

— Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Вестимо что!

Старик опять замолчал.

— Атаман,— сказал он вдруг,— как подумаю об этом, так сердце и защемит. Вот особливо сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю с чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того ни с другого станешь вдруг вспоминать, что̀ уж из памяти вышиб!..

Старик тяжело вздохнул.

Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья,— и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кречет Адраган плавно нырнул в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на свою жертву.

Митька махнул рукою. Вдали показались сокольники.

— Дядя! — сказал поспешно Перстень,— забудь прошлое; мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь Живо, дядя, приосанься, закидай их прибаутками!

Старый разбойник покачал головою.

— Несдобровать мне,— сказал он, показывая на убитого коршуна.— Это меня срезал белый кречет. Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал!

Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок.

— Слушай, дядя,— сказал он,— кто тебя знает, что с тобою сегодня сталось! Только я тебя неволить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и недаром чует беду. Оставайся, я один пойду в Слободу.

— Нет,— отвечал Коршун,— я не к тому вел речь. Уж если такая моя доля, чтобы в Слободе голову положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду написано. А вот к чему я речь вел. Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое?

— Как не знать, знаю.

— А около того села, верстах в пяти, место, что зовут Попов Круг?

— И Попов Круг знаю.

— А на Поповом Кругу дуб старый помнишь?

— И дуб помню; только нет уже того дуба, срубили его.

— Дуб-то срубили, да пень оставили.

— Так что ж с того?

— А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не увижу, а ты, еще статься может, вернешься на родимую сторонушку. Так когда будешь на Волге, ступай на Попов Круг. Отыщи пень старого дуба. Как отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закат солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю на том месте Там,— продолжал Коршун, понизив голос,— я в былое время закопал казну богатую. Довольно там лежит корабленников золотых, и червонцев, и рублев серебряных. Откроешь клад, все будет твое. Не взять мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подумаешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь делал, так в ночное время индо мороз по коже дерет! Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду отслужить. Оно все вернее. Да не жалей денег на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужит как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты знаешь, Амельяном. Это так только люди Коршуном прозвали; а крести-

ли ведь меня Амельяном; так пусть поп отслужит панихиду по Амельяне; а ты уж заплати ему хорошенько, не пожалей денег, атаман; я тебе казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станет!

Коршуна прервали подскакавшие сокольники.

— Эй вы, убогие! — закричал один из них,— говорите, куда полетел кречет?

— И рад бы сказать, родимые,— отвечал Перстень,— да вот уж сорок годов глаза запорошило!

— Как так?

— Да пошел раз в горы, с камней лыки драть, вижу, дуб растет, в дупле жареные цыплята пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу! Как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорил; с тех пор ничего не вижу: иной раз щи хлебаю, ложку в ухо сую; чешется нос, а я скребу спину!

— Так это вы,— сказал, смеясь, сокольник,— те слепые, что с царем говорили! Бояре еще и теперь вам смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку-государя, а вам придется ночью тешить его царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать!

— Дай бог здоровья его царской милости,— подхватил Коршун, внезапно переменив приемы,— почему не послушать! Коли до ночи не свихнем языков, можем скрозь до утра рассказывать!

— Добро, добро,— сказали сокольники,— в другой раз побалякаем с вами. Теперь едем кречета искать, товарища выручать. Не найдет Трифон Адрагана, быть ему без головы; батюшка-царь не шутит!

Сокольники поскакали в поле.

Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и побрели по дороге в Слободу.

Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые брянчали на балалайках и пели во все горло:

Как у нашего соседа
Весела была беседа!

Когда разбойники с ними поравнялись, один из песенников, рыжий детина с павлиньим пером на шапке, нагнулся к Перстню.

— Уж дней пять твой князь в тюрьме! — сказал он шепотом, продолжая перебирать лады.— Я все разузнал. Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме, против Малютина дома. С которого конца петуха пускать?

— Вон с того! — отвечал Перстень, мигнув на сторону, противоположную тюрьме.

Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от Перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом:

Как у нашего соседа
Весела была беседа!

ГЛАВА 21

СКАЗКА

Иван Васильевич, утомленный охотою, удалился ранее обыкновенного в свою опочивальню.

Вскоре явился Малюта с тюремными ключами.

На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего не случилось, что Серебряный повинился в том, что стоял за Морозова на Москве, где убил семерых опричников и рассек Вяземскому голову.

— Но,— прибавил Малюта,— не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова также показывать не хочет. После заутрени учиним ему пристрастный допрос, а коли он и с пытки и с огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить с ним.

Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать, но в опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

— Батюшка,— сказала она,— ты утром прислал сюда двух слепых: сказочники они, что ли; ждут здесь в сенях.

Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать слепых.

— Да ты их, батюшка, знаешь ли? — спросила Онуфревна.

— А что?

— Да полно, слепые ли они?

— Как? — сказал Иоанн, и подозрение мигом им овладело.

— Послушай меня, государь,— продолжала мамка,— берегись этих сказочников; чуется мне, что они недоброе затеяли; берегись их, батюшка, послушай меня.

— Что знаешь ты про них? Говори! — сказал Иоанн.

— Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье словами не сказывается; чуется мне, что они недобрые люди, а почему чуется, не спрашивай. Даром я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, может, и теперь бы здравствовала еще!

Малюта поглядел со страхом на мамку.

— Ты чего на меня смотришь? — сказала Онуфревна.— Ты только безвинных губишь, а лихого человека распознать, видно, не твое дело. Чутья-то у тебя на это не хватит, рыжий пес!

— Государь,— воскликнул Малюта,— дозволь мне попытать этих людей. Я тотчас узнаю, кто они и от кого подосланы!

— Не нужно,— сказал Иоанн,— я их сам попытаю. Где они?

— Тут, батюшка, за дверью,— отвечала Онуфревна,— в сенях стоят.

— Подай мне, Малюта, кольчугу со стены; да ступай, будто домой, а когда войдут они, вернись в сени да притаись с ратниками за этою дверью. Лишь только я кликну, вбегайте и хватайте их. Онуфревна, подай сюда посох.

Царь вздел кольчугу, надел поверх нее черный стихарь, лег на постель и положил возле себя тот самый посох, или осён, которым незадолго перед тем пронзил ногу гонцу князя Курбского.

— Теперь пусть войдут! — сказал он.

Малюта положил ключи под царское изголовье и вышел вместе с мамкою. Иконные лампады слабо освещали избу. Царь с видом усталости лежал на одре.

— Войдите, убогие,— сказала мамка,— царь велел!

Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокруг себя руками.

Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и находившиеся в ней предметы

Налево от двери была лежанка; в переднем углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было

проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые лучи солнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее играл на пестрых изразцах лежанки.

— Здравствуйте, слепые, муромские калашники, вертячие бобы! — сказал царь, пристально, но неприметно вглядываясь в черты разбойников.

— Много лет здравствовать твоей царской милости! — отвечали Перстень и Коршун, кланяясь земно.— Заступи, спаси и помилуй тя мати божия, что жалеешь ты нас, скудных, убогих людей, по̀ земли ходящих, по́ воды бродящих, света божия не видящих! Сохрани тебя святый Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма со Демьяном, хутынские чудотворцы и все святые угодники! Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь! Вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось, сладко спалось! А супостатам твоим вечно б икалось и голодалось; каждый бы день их дугою корчило, бараньим рогом коробило!

— Спасибо, спасибо, убогие! — сказал Иоанн, продолжая вглядываться в разбойников.— Что ж вы, давно, знать, ослепли?

— Смолоду, батюшка-государь,— отвечал Перстень, кланяясь и сгибая колени,— оба смолоду ослепли! И не припомним, когда солнышко божее видели!

— А кто же вас научил песни петь и сказки сказывать?

— Сам господь, батюшка, сам господь сподобил, еще в стародавние времена!

— Как так? — спросил Иоанн.

— Старики наши рассказывают,— отвечал Перстень,— и гусляры о том поют. В стародавние-то было времена, когда возносился Христос-бог на̀ небо, расплакались бедные, убогие, слепые, хромые, вся, значит, нищая братия: куда ты, Христос-бог, полетаешь? На кого нас оставляешь? Кто будет нас кормить-поить? И сказал им Христос, царь небесный:

«Дам вам, говорит, гору золотую, реку медвяную, сады-винограды, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одеты!» Тут возго́ворил Иван Богослов: «Ай же ты спас милосердый! Не давай им ни горы зо-

лотые, ни реки медвяные, ни садов-виноградов, ни яблонь кудрявых. Не сумеют они ими владети; наедут к ним сильные богатые, добро-то у них отымут. А ты дай им, Христос, царь небесный, дай-ко-се имя твое Христовое, дай-ко-се им те песни сладкие, сказаньица великие про стару старину да про божьих людей. Пойдут нищие по земли ходити, сказаньица великие говорити, всякий их приобует-приоденет, хлебом-солью напитает». И рече Христос, царь небесный: «Ин пусть будет по-твоему, Иване! Пусть же им будут песни сладкие, гусли звонкие, сказанья великие; а кто их напоит-накормит, от темныя ночи оборонит, тому я дам в раю место; не заперты в рай тому двери!»

— Аминь! — сказал Иоанн.— Какие же вы знаете сказки?

— Всякие знаем, батюшка-царь, какие твоя милость послушать соизволит. Могу сказать тебе о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, о семи Семионах, о змие Горынище, о гуслях-самогудах, о Добрыне Никитиче, об Акундине...

— Что же,— перебил Иоанн,— разве ты один сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобою пришел?

Перстень спохватился, что Коршун почти все время молчал, и чтобы вызвать его из неестественной для сказочника угрюмости, он вдруг переменил приемы и начал говорить прибаутками.

— Старик-то? — сказал он, наступая неприметно на ногу Коршуна.— Это, вишь, мой товарищ, Амелька Гудок; борода у него длинна, да ум коро́ток: когда я речь веду скоромную, не постную, несу себе околесную, он мне поддакивает, потакает да присвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки; не сбиться бы нам с дорожки!

— Вестимо, так! — подхватил Коршун, опомнясь.— Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна! Вот как, дядя, петушиный голосок, кротовое око; пошли ходить, заберемся далёко!

— Ай люли тарарах, пляшут козы на горах! — сказал Перстень, переминая ногами,— козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросиньи в левом ухе звенит!..

— Ай люлюшеньки люли! — перебил Коршун, также

переминая ногами,— ай люлюшеньки люли, сидит рак на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет вода, так пройдет беда!

— Эх, батюшка-государь,— закончил Перстень с низким поклоном,— не смотри на нас искоса; это не сказка, а только присказка!

— Добро! — сказал Иоанн, зевая,— люблю молодцов за обычай; начинайте сказку про Добрыню, убогие; авось я, слушая вас, сосну!

Перстень еще раз поклонился, откашлялся и начал:

— «Во гриднице княженецкой, у Владимира князя киевского, было пированье почестный стол, был пир про князей, бояр и могучих богатырей. А и был день к вечеру, а и был стол во полустоле, и послышалось всем за диво: затрубила труба ратная. Возговорил Владимир князь киевский, солнышко Святославьевич: «Гой еси вы, князья, бояре, сильны могучие богатыри! Пошлите опроведать двух могучих богатырей: кто смеловал стать перед Киевом? Кто смеловал трубить ко стольному князю Владимиру?»

Зашумели буйны молодцы посередь двора; зазвенели мечи булатные по крутым бедра̀м; застучали палицы железные у красна́ крыльца, закидали шапки разнорядь по подне́бесью. Надевают могучи богатыри сбрую ратную, садятся на добрых коней, выезжают во чисто́ поле...»

— Погоди-ка! — сказал Иоанн, с намерением придать более правдоподобия своему желанию слушать рассказчика,— я эту сказку знаю. Расскажи лучше про Акундина!

— Про Акундина? — сказал Перстень с замешательством, вспомнив, что в той сказке величается опальный Новгород.— Про Акундина, батюшка-государь, сказка-то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужики новгородские; да я, батюшка-царь, как будто и забыл-то ее...

— Рассказывай, слепой! — сказал Иоанн строго,— рассказывай всю, как есть, и не смей пропустить ни единого слова!

И царь внутренно усмехнулся трудному положению, в которое он ставил рассказчика.

Перстень хотя досадовал на себя, что сам предложил эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже из-

вестна Иоанну, решился, очертя голову, начать свой рассказ, ничего не выкидывая.

— «Как во старом было городе,— начал он,— в Новéгороде, как во том ли во Новѐгороде, со посадской стороны, жил Акундин-молодѐц, а и тот ли Акундин, молодой молоде́ц, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу не торговал; а ходил он, Акундин, со повольницей, и гулял он, Акундин, по Волхву́ по реке на суденышках. Садится он, Акундин, на суденышко осна́щенное, кладет весельца кленовые во замкѝ дубовые, а сам садится на́ корму. Поплыло суденышко по Волхв по реке, и прибыло суденышко ко круту́ бережку́. Как во ту пору по круту бережку идет калечище перехожее. Берет калечище Акундина за белы́ руки, ведет его, Акундина, на высок курган, а становивши его на высок курган, говорил такие речи: «Погляди-ка, молодой моло́дец, на город Ростиславль, на Оке-реке, а поглядевши, поведай, что деется в городе Ростиславле?» Как глянул Акундин в город во Ростиславль, а там беда великая: исконные слуги молодȁ князя рязанского, Глеба Олеговича, стоят посередь торга, хотят войной город отстоять, да силы не хватит. А по Оке-реке плывет чудовище невиданное, змей Тугарин. Длиною-то был тот змей Тугарин во триста сажен, хвостом бьет рать рязанскую, спиною валит круты берега, а сам все просит стару дань. В ту пору калечище берет Акундина за его белы руки, молвит таково слово: «Ты гой еси, добрый мо́лодец, назовись по имени по изотчеству!» На те ли речи спросные говорит Акундин: «Родом я из Новȁгорода, зовут меня Акундин Акундиныч».

«Тебя-то, Акундин Акундиныч, я ждал ровно тридцать лет и три года; спознай своего дядюшку родимого Замятию Путятича; а и ведь мой-то брат, Акундин Путятич, был тебе родимый батюшка! А и вот тебе меч-кладенец твоего родимого батюшки, Акундина Путятича!» Не домолвивши речи вестные, стал Замятня Путятич кончатися, со белым светом расставатися; и, кончаяся, учал отповедь чинить: „А и гой ты еси, мое милое детище, Акундин Акундиныч! Как и будешь ты во славно́м во Новéгороде, и ты ударь челом ему, Новуго́роду, и ты скажи, скажи ему, Новуго́роду: а и дай же то, боже, тебе ли, Новуго́роду, век вековать, твоим ли детуш-

кам славы добывать! Как и быть ли тебе, Новугороду, во могучестве, а твоим детушкам во богачестве...''»

— Довольно! — перебил с гневом царь, забывая в эту минуту, что цель его была только следить за рассказчиком.— Начинай другую сказку!

Перстень, как будто в испуге, согнул колени и поклонился до земли.

— Какую же сказку соизволишь, батюшка-государь? — спросил он с притворным, а может быть, и с настоящим страхом.— Не рассказать ли тебе о Бабе-яге? О Чуриле Пленковиче? О Иване Озере? Или не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное рассказать?

Иоанн вспомнил, что он не должен запугивать слепых, а потому еще раз зевнул и спросил уже сонным голосом:

— А что же ты знаешь божественное, убогий?

— Об Алексее божьем человеке, батюшка, о Егории Храбром, об Иосифе Прекрасном или, пожалуй, о Голубиной книге...

— Ну,— сказал Иоанн, которого глаза, казалось, уже смыкались,— расскажи о Голубиной книге. Оно нам грешным, и лучше будет на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпрямился и начал нараспев:

— «Как из тучи было из грозныя, из грозныя тучи страховитыя, подымалась погода божия; во той ли во погоде божией выпадала с небес книга Голубиная. Ко той ли ко книге Голубиной соезжалось сорок царей и царевичей, сорок королей и королевичей, сорок князей со князевичам, сорок попов со поповичам, много бояр, люду ратного, люду ратного, разного, мелких християн православныих. Из них было пять царей на̀большыих: был Исай-царь, Василей-царь, Костянтин-царь, Володимер-царь Володимерыч, был премудрый царь Давид Евсиевич.

Как проговорил Володимер-царь: «Кто из нас, братцы, горазд в грамоте? Прочел бы эгу книгу Голубиную? Сказал бы нам про божий свет: Отчего началось солнце красное? Отчего начался млад светёл месяц? Отчего начались звезды частыя? Отчего начались зори светлыя? Отчего зачались ветры буйныя? Отчего зачались тучи

грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у нас пошел мир-народ? Отчего у нас на земли цари пошли? Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестьяне православные?»

На то все цари приумолкнули. Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: «Я вам, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая; сорока сажéн долина ее, поперечина двадцати сажéн; приподнять книгу, не поднять будет; на руцех держать, не сдержать будет; по строкам глядеть, все не выглядеть; по листам ходить, все не выходить, а читать книгу — ее некому, а писал книгу Богослов Иван, а читал книгу Исай-пророк, читал ее по три годы, прочел в книге только три листа; уж мне честь книгу — не прочесть, божию! Сама книга распечатывалась, сами листы расстилалися, сами слова прочиталися. Я скажу вам, государи, не выглядя, скажу вам, братцы, не по грамоте, не по грамоте, всё по памяти, про старое, про стародавнее, по-старому, по-писàному:

Началось у нас солнце красное от светлого лица божия; млад светёл месяц от грудей его; звезды частые от очей божиих; зори светлыя от риз его; буйны ветры-то — дыханье божее; тучи грозныя — думы божии; ночи темныя от опашня его! Мир-народ у нас от Адамия; от Адамовой головы цари пошли; от мощей его князи со боярами; от колен крестьяне православные; от того ж начался и женский пол!»

Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, мудрейший царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи, про то скажи, ты поведай нам:

Который царь над царями царь? Кая земля всем землям мати? Которо море всем морям мати? Котора река всем рекам мати? Кая гора всем горам мати? Который город все городам мати?"»

Здесь Перстень украдкою посмотрел на Ивана Васильевича, которого, казалось, все более клонило ко сну. Он время от времени, как будто с трудом, открывал глаза и опять закрывал их; но всякий раз незаметно бросал на рассказчика испытующий, проницательный взгляд.

Перстень перемигнулся с Коршуном и продолжал:

— «Им ответ держал премудрый царь, премудрый

царь Давид Евсиевич: „Я вам, братцы, и про то скажу, про то скажу, вам поведаю: в Голубиной книге есть написано: у нас Белый царь будет над царями царь; он верует веру крещеную, крещеную богомольную; он в матерь божию богородицу и в троицу верует неразделимую. Ему óрды все преклонилися, все языци ему покорилися; область его надо всей землей, над вселенною; всех выше его рука царская, благоверная, благочестивая; и все к царю Белому приклонятся, потому Белый царь над царями царь! Свято-Русь-земля всем землям мати; на ней строят церкви апостольские, богомольные, соборные. Окиян-море всем морям мати; выходила из него церковь соборная; что во той ли во церкви во соборныя почивают мощи попа римского, попа римского Климентия; обошло то море окóл всей земли; все реки к морю собегалися, все к окиян-морю приклонилися. Ердань-река всем рекам мати; во славнóй матушке во Ердань-реке окрестился сам Исус Христос, небесный царь. А Фавор-гора всем горам мати; как на славныя на Фавор-горы преобразился на ней сам Исус Христос, показал славу ученикам своим. Ерусалим-город всем городам мати; что стоит тот город посреди земли, а в том городе церковь соборная; пребывает во церкви господень гроб, почивают в нем ризы самого Христа, фимиамы-ладаны рядом курятся, свещи горят неугасимые..."»

Здесь Перстень опять взглянул на Иоанна. Глаза его были закрыты, дыхание ровно. Грозный, казалось, почивал.

Атаман тронул Коршуна локтем. Старик подался шага на два вперед. Перстень продолжал нараспев:

— «Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: котора рыба всем рыбам мать? Котора птица птицам есть мать? Который зверь над зверями зверь? Который камень всем каменя́м отец? Которо древо древа́м всем мать? Кая трава всем трава́м мати?»

Им ответ держал премудрый царь: „Я еще вам, братцы, про то скажу: у нас Кит-рыба всем рыбам мать: на трех на китах земля стоит; Естрафиль-птица всем птицам мати; что живет та птица на сине́м море; когда птица вострепе́нется, все синё море всколебается, потоп-

ляет корабли гостиные, побивает суда поморские; а когда Естрафиль вострепещется, во втором часу после полунощи, запоют петухи по всей земли, осветится в те поры вся земля..."»

Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомкнутыми глазами; рот его был раскрыт, как у спящего. В то же время, как будто в лад словам своим, Перстень увидел в окно, что дворцовая церковь и крыши ближних строений осветились дальним заревом.

Он тихонько толкнул Коршуна, который подался еще одним шагом ближе к Ивану Васильевичу.

— «У нас Индра-зверь (продолжал Перстень) над зверями зверь, и он ходит, зверь, по подзе́мелью, яко солнышко по подне́бесью; он копает рогом сыру мать-землю, выкопает ключи всё глубокие; он пущает реки, ручьявиночки, прочищает ручьи и проточины, дает людям питанийца, питанийца, обмыванийца. Алатырь-камень всем камня́м отец; на бело́м Ала́тыре на камени сам Исус Христос опочив держал, царь небесный беседовал со двунадесяти со апостолам, утверждал веру христианскую; утвердил он веру на камени, распущал он книги по всей земле. Кипарис-древо всем древа́м мати; из того ли из древа кипарисного был вырезан чуден покло́нен крест; на тем на кресте, на животворящиим, на распятье был сам Исус Христос, сам Исус Христос, сам небесный царь, промежду двух воров, двух разбойников. Плакун-трава всем трава́м мати. Когда Христос-бог на распятье был, тогда шла мати божия, богородица, ко своему сыну ко распятому; от очей ея слезы наземь капали, и от тех от слез, от пречистыих, зародилася, вырастала мати плакун-трава; из того плакуна́, из корени у нас режут на Руси чудны кресты, а их носят старцы иноки, мужие́ их носят благоверные».

Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень стал опасаться, что тревога подымется прежде, чем они успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с места, чтобы царь не заметил его движения по голосу, он указал Коршуну на пожар, потом на спящего Иоанна и продолжал:

— «Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, мудрейший царь Давид Евсиевич!

Ты горазд сказать по памяти, говоришь будто по грамоты!» Тут возго́ворит Володимер-царь: «Ты еси, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты скажи еще, ты поведай мне: ночеся́ мне мало спалося, мало спалося, много виделось: кабы два зверья сходилися, один белый зверь, другой серый зверь, промежду собой подиралися; кабы белый зверь одолеть хочет?» Что ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Ах ты гой еси, Володимер-царь, Володимер Володимерыч! То не два зверья сходилися, промежду собой подиралися; и то было у нас на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси; сходилися правда со кривдою; это белая зверь — то-то правда есть, а серая зверь — то-то кривда есть; правда кривду передàлила, правда пошла к богу на́ небо, а кривда осталась на сырой земле; а кто станет жить у нас правдою, тот наследует царство небесное; а кто станет жить у нас кривдою, отрешен на муки на вечные..."»

Здесь послышалось легкое храпение Иоанна. Коршун протянул руку к царскому изголовью, Перстень же придвинулся ближе к окну, но, чтобы внезапным молчанием не прервать сна Иоаннова, он продолжал рассказ свой тем же однообразным голосом:

— «Ему все цари поклонилися: «Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: каким грехам прощенье есть, а каким грехам нет прощения?» Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Кабы всем грехам прощенье есть, трем грехам тяжкое покаяние: кто спознался с кумою крестовыя, кто бранит отца с матерю, кто..."»

В это мгновение царь внезапно открыл глаза. Коршун отдернул руку, но уже было поздно: взор его встретился со взором Иоанна. Несколько времени оба неподвижно глядели друг на друга, как бы взаимно скованные обаятельною силой.

— Слепые! — сказал вдруг царь, быстро вскакивая,— третий грех: когда кто нарядится нищим и к царю в опочивальню войдет!

И он ударил острым посохом Коршуна в грудь. Разбойник схватился за посох, закачался и упал.

— Гей! — закричал царь, выдергивая острие из груди Коршуна.

Опричники вбежали, гремя оружием.

— Хватайте их обоих! — сказал Иоанн.

Как ярый пес, Малюта бросился на Перстня, но с необычайною ловкостью атаман ударил его кулаком под ложку, вышиб ногою оконницу и выскочил в сад.

— Оцепите сад! Ловите разбойника! — заревел Малюта, согнувшись от боли и держась обеими руками за живот.

Между тем опричники подняли Коршуна.

Иоанн в черном стихаре, из-под которого сверкала кольчуга, стоял с дрожащим посохом в руке. вперив грозные очи в раненого разбойника. Испуганные слуги держали зажженные свечи. Сквозь разбитое окно виден был пожар. Слобода приходила в движение, вдали гудел набатный колокол.

Коршун стоял, насупив брови, опустив глаза, поддерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

— Слепой! — сказал царь,— говори, кто ты и что умышлял надо мною?

— Нечего мне таить! — отвечал Коршун. — Я хотел добыть ключи от твоей казны, а над тобой ничего не умышлял!

— Кто подослал тебя? Кто твои товарищи?

Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна.

— Надёжа, православный царь! Был я молод, певал я песню: «Не шуми, мати сыра-дуброва». В той ли песне царь спрашивает у добра молодца, с кем разбой держал? А молодец говорит: «Товарищей у меня было четверо: уж как первый мой товарищ черная ночь; а второй мой товарищ...»

— Будет! — прервал его Малюта,— посмотрим, что ты запоешь, как станут тебя с дыбов рвать, на козел подымать! Да кой прах! — продолжал он, вглядываясь в Коршуна,— я где-то уже видал эту кудластую голову!

Коршун усмехнулся и отвесил поклон Малюте.

— Виделись мы, батюшка, Малюта Скурлатыч, виделись, коли припомнишь, на Поганой Луже...

— Хомяк! — перебил его Малюта, обернувшись к своему стремянному,— возьми этого старика, потолкуй с ним, попроси его рассказать, зачем приходил к его царской милости. Я сейчас сам в застенок приду!

— Пойдем, старина! — сказал Хомяк, ухватя Коршуна за ворот,— пойдем-ка вдвоем, потолкуем ладком!

— Постой! — сказал Иоанн.— Ты, Малюта, побереги этого старика: он не должен на пытке кончиться. Я придумаю ему казнь примерную, еще не бывалую, не слыханную; такую казнь, что самого тебя удивлю, отец паракλисиарх!

— Благодари же царя, пес! — сказал Малюта Коршуну, толкая его,— доведется тебе, должно быть, пожить еще. Мы сею ночью тебе только суставы повывернем!

И вместе с Хомяком он вывел разбойника из опочивальни.

Между тем Перстень, пользуясь общим смятением, перелез через садовый частокол и прибежал на площадь, где находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народ повалил на пожар.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стены, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощупал убитого человека.

— Атаман! — шепнул, подходя к нему, тот самый рыжий песенник, который остановил его утром,— часового-то я зарезал! Давай проворней ключи, отопрем тюрьму, да и прощай; пойду на пожар грабить с ребятами! А где Коршун?

— В руках царя! — отвечал отрывисто Перстень.— Все пропало! Сбирай ребят, да и тягу! Тише; это кто?

— Я! — отвечал Митька, отделяясь от стены.

— Убирайся, дурень! Уноси ноги! Все выбирайтесь из Слободы! Сбор у кривого дуба!

— А князь-то? — спросил Митька протяжно.

— Дурень! Слышишь, все пропало! Дедушку схватили, ключей не дóбыли!

— А нешто тюрьма на запоре?

— Как не на запоре? Кто отпер?

— А я!

— Что ты, болван? Говори толком.

— Что ж говорить? Прихожу, никого нет; часовой лежит, раскидамши ноги. Я говорю: дай, мол, испробую, крепка ль дверь? Понапер в нее плечиком; а она, как была, так с заклепами и соскочи с петлей!

— Ай да дурень! — воскликнул радостно Перстень.—

Вот, правду говорят: дураками свет стоит! Ах, дурак, дурак! Ах, губошлеп, губошлеп ты этакий!

И Перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его в обе щеки, причем Митька протянул, чмокая, и свои толстые губы, а потом хладнокровно утерся рукавом.

— Иди же за мной, такой-сякой сын, право! А ты, балалайка, здесь погоди. Коли что будет, свистни!

Перстень вошел в тюрьму. За ним ввалился и Митька.

За первою дверью были еще две другие двери, но те, как менее крепкие, еще легче подались от богатырского натиска Митьки.

— Князь! — сказал Перстень, входя в подземелье,— вставай!

Серебряный подумал, что пришли вести его на казнь.

— Ужели теперь утро? — спросил он,— или тебе, Малюта, до рассвета не терпится?

— Я не Малюта! — отвечал Перстень.— Я тот, кого ты от смерти спас. Вставай, князь! Время дорого. Вставай, я выведу тебя!

— Кто ты? — сказал Серебряный,— я не знаю твоего голоса!

— И не мудрено, боярин; где тебе помнить меня! Только вставай, вставай! Нам некогда мешкать!

Серебряный не отвечал. Он подумал, что Перстень один из Малютиных палачей, и принял слова его за насмешку!

— Аль ты не веришь мне, князь? — продолжал атаман с досадою.— Вспомни Медведевку, вспомни Поганую Лужу: я Ванюха Перстень!

Запылала радость в груди Серебряного. Взыграло его сердце и забилось любовью к свободе и к жизни. Запестрели в его мыслях и леса, и поля, и новые славные битвы, и явился ему, как солнце, светлый образ Елены.

Уже он вспрянул с земли, уже готов был следовать за Перстнем, как вдруг вспомнил данную царю клятву, и кровь его отхлынула к сердцу.

— Не могу! — сказал он,— не могу идти за тобою. Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где бы я ни был, суда его!

— Князь! — отвечал удивленный Перстень,— мне некогда толковать с тобою. Люди мои ждут; каждый миг

может нам головы стоить; завтра тебе казнь, теперь еще время, вставай, ступай с нами!

— Не могу! — повторил мрачно Серебряный,— я целовал ему крест на моем слове!

— Боярин! — вскричал Перстень, и голос его изменился от гнева,— издеваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажег Слободу, для тебя погубил своего лучшего человека, для тебя, может быть, мы все наши головы положим, а ты хочешь остаться? Даром мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебе, что ли, дались? Да я бы посмотрел, кто бы стал глумиться надо мной! Говори в последний раз, идешь али нет?

— Нет! — отвечал решительно Никита Романович и лег на сырую землю.

— Нет? — повторил, стиснув зубы, Перстень,— нет? Так не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно! — И в тот же миг атаман бросился на князя и замотал ему рот кушаком.

— Теперь не заспоришь! — сказал он злобно.

Митька загреб Никиту Романовича в охапку и, как малого ребенка, вынес из тюрьмы.

— Живо! Идем! — сказал Перстень.

В одной улице попались им опричники.

— Кого несете? — спросили они.

— Слободского на пожаре бревном пришибло! — отвечал Перстень.— Несем в скудельницу!

При выходе из Слободы их остановил часовой. Они хотели пройти мимо; часовой разинул рот крикнуть; Перстень хватил его кистенем, и он свалился, не пикнув.

Разбойники вынесли князя из Слободы без дальнейшего препятствия.

ГЛАВА 22

МОНАСТЫРЬ

Мы оставили Максима ненастною ночью, на выезде из Александровой слободы. Косматый Буян лаял и прыгал вокруг него и радовался, что удалось ему сорваться с цепи.

Максим, покидая родительский дом, не успел определить себе никакой цели. Он хотел только оторваться от ненавистной жизни царских любимцев, от их нечестивого веселья и ежедневных казней. Оставя за собою страшную Слободу, Максим вверился своей судьбе. Сначала он торопил коня, чтобы не догнали его отцовские холопи, если бы вздумалось Малюте послать за ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную дорогу и поехал шагом.

К утру гроза утихла. На востоке заалело, и Максим яснее стал различать предметы. По сторонам дороги росли кудрявые дубы; промеж них виднелись кусты орешника. Было свежо; дождевые капли бежали с деревьев и лениво хлопали по широким листьям. Вскоре мелкие птички запорхали и защебетали в зелени; дятел застучал в сухое дерево, и вершины дубов озолотились восходящим солнцем. Природа оживлялась все более; конь ступал бодрее. Раскинулась перед Максимом родная Русь; весело мог бы он дышать в ее вольном пространстве; но грусть легла ему на сердце, широкая русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о своем одиночестве, обо многом, в чем и сам не отдавал себе отчета; задумался и затянул, в раздумье, протяжную песню...

Чудны задушевные русские песни! Слова бывают ничтожны; они лишь предлог; не словами, а только звуками выражаются глубокие, необъятные чувства.

Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир, Максим пел о горемычной своей доле, о золотой волюшке, о матери сырой-дуброве. Он приказывал коню нести себя в чужедальнюю сторону, что без ветру сушит, без морозу знобит. Он поручал ветру отдать поклон матери. Он начинал с первого предмета, попадавшегося на глаза, и высказывал все, что приходило ему на ум; но голос говорил более слов, а если бы кто услышал эту песню, запала б она тому в душу и часто, в минуту грусти, приходила бы на память...

Наконец, когда тоска стала глубже забирать Максима, он подобрал поводья, поправил шапку, свистнул, крикнул и полетел во всю конскую прыть.

Вскоре забелели перед ним стены монастыря.

Обитель была расположена по скату горы, поросшей

дубами. Золотые главы и узорные кресты вырезывались на зелени дубов и на синеве неба.

Навстречу Максиму попался отряд монастырских служек в шишаках и кольчугах. Они ехали шагом и пели псалом: «Возлюблю тя, господи, крепосте моя». Услыша священные слова, Максим остановил коня, снял шапку и перекрестился.

Небольшая речка протекала под горою. Несколько мельниц вертели на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокруг монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объезд казался излишним. Даже птицы на дубах щебетали как будто вполголоса, ветер не шелестел в листьях, и только кузнечики, притаясь в траве, трещали без умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствие.

«Вот где отдохну я!— подумал Максим.— За этими стенами проведу несколько дней. пока отец перестанет искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою душу, авось он даст мне на время убежище».

Максим не ошибся. Престарелый игумен, с длинною седою бородой, с кротким взглядом, в котором было совершенное неведение дел мирских, принял его ласково. Двое служек взяли под уздцы усталого коня. Третий вынес хлеба и молока для Буяна; все радушно хлопотали около Максима. Игумен предложил ему отобедать, но Максим захотел прежде всего исповедаться.

Старик взглянул на него испытующим взором, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повел его через обширный двор к низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильных крестов и длинного ряда келий, обсаженных цветами. Попадавшиеся им навстречу братия кланялись молча. Надгробные плиты звенели от шагов Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполовину надписи, полные смирения; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцание. Церковь, к которой игумен вел Максима, стояла среди древних дубов, и столетние ветви их почти совсем закрывали узкие продольные окна, пропускавшие свет сквозь пыльную слюду, вставленную в мелкие свинцовые оконницы. Когда они вошли, их обдало прохладой и темнотою. Лишь

сквозь одно окно, менее других заслоненное зеленью; косые столбы света падали на стенное изображение Страшного суда. Остальные части церкви казались от этого еще мрачнее; но кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки паникадил, венцы на образах да шитые серебром кресты, тропари и кондаки на черном бархате, покрывающем гробницы князей Воротынских, основателей монастыря. Позолота на прорезных травах иконостаса походила местами на уголья, тлеющие под золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаном. Мало-помалу глаз Максима стал привыкать к полумраку и различать другие подробности храма: над царскими дверьми виден был спаситель в силах, с херувимами и серафимами, а над ним шестнадцать владычных праздников. Большой местный образ Иоанна Предтечи представлял его крылатым и держащим на блюде отсеченную главу свою. На боковых дверях были написаны грубо и неискусно притча о блудном сыне, прение смерти и живота да исход души праведного и грешного. Мрачные эти картины глубоко подействовали на Максима; все понятия о смирении духа, о безусловной покорности родительской власти, все мысли, в которых он был воспитан, оживились в нем снова. Он усомнился, прав ли был, что уехал от отца против его воли? Но совесть отвечала ему, что он прав; а между тем она не была спокойна. Картина Страшного суда потрясала его воображение. Когда тень дубовых листьев, колеблемых ветром снаружи окна, трепетала на стене подвижною сеткой, ему казалось, что грешники и диаволы, писанные в человеческий рост, дышат и движутся...

Благоговейный ужас проник его сердце. Он пал ниц перед игуменом.

— Отец мой,— сказал он,— должно быть, я великий грешник!

— Молись,— отвечал кротко старик,— велико милосердие божие; много поможет тебе раскаяние, сын мой!

Максим собрался с силами.

— Тяжело мое преступление,— начал он дрожащим голосом.— Отец мой, слушай! Страшно мне вымолвить: оскудела моя любовь к царю, сердце мое от него отвратилось!

Игумен с удивлением взглянул на Максима.

— Не отвергай меня, отец мой! — продолжал Максим,— выслушай меня! Долго боролся я сам с собою, долго молился пред святыми иконами. Искал я в своем сердце любви к царю — и не обрел ее!

— Сын мой! — сказал игумен, глядя с участием на Максима,— должно быть, сатанинское наваждение помрачило твой рассудок; ты клевещешь на себя. Того быть не может, чтобы ты возненавидел царя. Много тяжких преступников исповедовал я в этом храме: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы в нелюбви к государю!

Максим побледнел.

— Стало, я преступнее церковного татя и смертного убойцы! — воскликнул он.— Отец мой, что мне делать? Научи, вразуми меня, душа моя делится надвое!

Старик смотрел на исповедника и все более дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушия и отваги, одно из тех русских лиц, которые еще ныне встречаются между Москвой и Волгой, в странах, отдаленных от больших дорог, куда не проникло городское влияние.

— Сын мой,— продолжал игумен,— я тебе не верю; ты клевещешь на себя. Не верю, чтобы сердце твое отвратилось от царя. Этого быть не может. Подумай сам: царь нам более чем отец, а пятая заповедь велит чтить отца. Скажи мне, сын мой, ведь ты следуешь заповеди?

Максим молчал.

— Сын мой, ты чтишь отца своего?

— Нет! — произнес Максим едва внятно.

— Нет? — повторил игумен и, отступив назад, осенился крестным знамением.

— Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таков?

— Я...— сказал молодой опричник,— я Максим Скуратов, сын Скуратова-Бельского!

— Сын Малюты?

— Да! — сказал Максим и зарыдал.

Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Максимом. Неподвижно смотрели на них мрачные лики угодников. Грешники на картине Страшного суда жалобно подымали руки к небу, но все молчало. Спокойствие церк-

ви прерывали одни рыдания Максима, щебетанье ласточек под сводами да изредка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читал про себя игумен.

— Сын мой,— сказал наконец старик,— поведай мне все по́ ряду, ничего не утай от меня: как вошла в тебя нелюбовь к государю?

Максим рассказал о жизни своей в Слободе, о последнем разговоре с отцом и о ночном своем отъезде.

Он говорил медленно, с расстановкой, и часто собирался с мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить от духовного отца своего.

Окончив рассказ, он опустил глаза и долго не смел взглянуть на игумена, ожидая своего приговора

— Все ли ты поведал мне? — сказал игумен.— Не тяготит ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над святою Русью?

Глаза Максима заблистали.

— Отец мой, скорей дам отсечь себе голову, чем допущу ее замыслить что-нибудь против родины! Грешен я в нелюбви к государю, но не грешен в измене!

Игумен накрыл его эпитрахилью.

— Очищается раб божий Максим! — сказал он,— отпускаются ему грехи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла в душу Максима.

— Сын мой,— сказал игумен,— твоя исповедь тебя очистила. Святая церковь не поставляет тебе в вину, что ты бросил Слободу. Бежать от соблазна волен и должен всякий. Но бойся прельститься на лесть врага рода человеческого Бойся примера Курбского, который из высокого русского боярина учинился ныне сосуд дьяволу! Премилостивый бог,— продолжал со вздохом старик,— за великие грехи наши попустил ныне быть времени трудному. Не нам суемудрием человеческим судить о его неисповедимом промысле. Когда господь наводит на нас глады и телесные скорби, что нам остается, как не молиться и покоряться его святой воле? Так и теперь: настал над нами царь немилостивый, грозный. Не ведаем, за что он нас казнит и губит; ведаем только, что он послан от бога, и держим поклонную голову не пред Иваном Васильевичем, а перед волею пославшего его. Вспомним пророческое слово: «Аще кая земля оправдится пе-

ред богом, поставляет им царя и судью праведна и всякое подает благодеяние; аще же которая земля прегрешит пред богом, и поставляет царя и судей не праведна, и наводит на тое землю вся злая!» Останься у нас, сын мой; поживи с нами. Когда придет тебе пора ехать, я вместе с братиею буду молиться, дабы, где ты ни пойдешь, бог везде исправил путь твой! А теперь,— продолжал добродушно игумен, снимая с себя эпитрахиль,— теперь пойдем к трапезе. После духовной пищи не отвергнем телесной. Есть у нас изрядные щуки, есть и караси; отведай нашего творогу, выпей с нами меду черемхового во здравие государя и высокопреосвященного владыки!

И в дружеском разговоре старик повел Максима к трапезе.

ГЛАВА 23

ДОРОГА

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь. В свободное время монахи собирали травы и составляли целебные зелья. Другие занимались живописью, вырезывали из кипариса кресты иль иконы, красили и золотили деревянные чаши.

Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как текло время. Но прошла неделя, и он решился ехать. Еще в Слободе слышал Максим о новых набегах татар на рязанские земли и давно уже хотел вместе с рязанцами испытать над врагами ратной удачи. Когда он поведал о том игумену, старик опечалился.

— Куда тебе ехать, сын мой? — сказал он.— Мы все тебя любим, все к тебе привыкли. Кто знает, может, и тебя посетит благодать божия, и ты навсегда останешься с нами! Послушай, Максим, не уезжай от нас!

— Не могу, отец мой! Давно уже судьба зовет меня в дальнюю сторону. Давно слышу звон татарского лука, а иной раз как задумаюсь, то будто стрела просвистит над ушами. На этот звон, на этот свист меня тянет и манит!

И не стал игумен долее удерживать Максима, отслужил ему напутный молебен, благословил его, и грустно простилась с ним братия.

И снова очутился Максим на коне, среди зеленого леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед. Максим уже схватился за саблю, в ожидании недоброй встречи, как из-за поворота показался всадник в желтом кафтане с черным двоеглавым орлом на груди.

Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрой рукавице белого кречета в клобучке и колокольцах.

Максим узнал одного из царских сокольников.

— Трифон! — вскричал он.

— Максим Григорьич!—отвечал весело сокольник,— доброго здоровья! Как твоя милость здравствует? Так вот где ты, Максим Григорьич! А мы в Слободе думали, что ты и невесть куда пропал! Ну ж как батюшка-то твой осерчал! Упаси господи! Смотреть было страшно! Да еще многое рассказывают про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебряного. Не знаешь, чему и верить. Ну, слава богу, добро, что ты сыскался, Максим Григорьич! Обрадуется же твоя матушка!

Максим досадовал на встречу с сокольником. Но Трифон был добрый малый и при случае умел молчать. Максим спросил его, давно ли он из Слободы?

— Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел! — отвечал сокольник, показывая своего кречета.— Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьич! Ну уж набрался я было страху, как царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердый бог и святой мученик Трифон! проявил надо мною свое чудо!

Сокольник снял шапку и перекрестился.

— Вишь, Максим Григорьич; выехал государь, будет тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана раза два; как на беду, третий-то раз дурь нашла на Адрагана. Стал он бить соколов, сбил Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя и с глаз долой. Я было скакать за ним, да куды! Пропал, будто и не бывало Вот доложил сокольничий царю, что пропал Адраган. Царь велел меня позвать, да и говорит, что ты-де, Тришка, мне головой за

него отвечаешь; достанешь — пожалую тебя, не достанешь — голову долой! Как быть! Батюшка-царь ведь не шутит! Поехал я искать Адрагана; шесть ден промучился; стало мне уж вокруг шеи неловко; думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать; плакал, плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, явилось мне, сонному, видение: сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел по лесу. И, слыша тот звон, я, сонный, сам себе говорю: то звонят Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, весь облитый светом, молодой ратник и держит на руке Адрагана: «Трифоне! — сказал ратник,— не здесь ищи Адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна, на той сосне сидит Адраган». Проснулся я, и сам не знаю с чего, стало мне понятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьич, поверишь ли? как приехал на то урочище, вижу: в самом деле сосна, и на ней сидит мой Адраган, точь-в-точь как говорил святой!

Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его.

— Максим Григорьич! — прибавил он, утирая слезы,— теперь хоть все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековечную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На том самом месте построю, где нашел Адрагана. И образ велю на стене написать точь-в-точь, как явился мне святой: на белом коне, высоко подняв руку, а на ней белый кречет. Заповедую и детям и внукам славить его, служить ему молебны и ставить писаные свечи, что не захотел он моей погибели, спас от плахи раба своего! Вишь,— продолжал сокольник, глядя на кречета,— вот он, Адраган, цел-целехонек! Дай-ка я сниму с тебя клобучок! Чего кричишь? Небось полетать хочется! Нет, брат, погоди! Довольно, налетался, не пущу!

И Трифон дразнил кречета пальцем.

— Вишь, злобный какой! Так и хватает! А кричит-то как! Я чай, за версту слышно!

Рассказ сокольника запал в душу Максима.

— Возьми ж и мое приношение! — сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона.— Вот все мои деньги;

они мне не нужны, а тебе еще много придется сбирать на часовню.

— Да наградит тебя бог, Максим Григорьич! С твоими деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою! Как приду домой, в Слободу, отслужу молебен и выну просвиру во здравие твое! Вечно буду твоим холопом, Максим Григорьич! Что хочешь приказывай!

— Слушай, Трифон! Сослужи мне службу нетрудную: как приедешь в Слободу, никому не заикнись, что меня встретил; а дня через три ступай к матушке, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слыхал, скажи, что сын-де твой, дал бог, здоров, бьет тебе челом.

— Только-то, Максим Григорьич?

— Еще, слушай, Трифон, я еду в далекий путь. Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд, наведывайся от поры до поры к матери, да говори ей каждый раз: я-де, говори, слышал от людей, что сын твой, помощию божиею, здоров, а ты-де о нем не кручинься! А будет матушка спросит: от каких людей слышал? и ты ей говори: слышал-де от московских людей, а им-де другие люди сказывали, а какие люди, того не говори, чтоб и концов не нашли, а только бы ведала матушка, что я здравствую.

— Так ты, Максим Григорьич, и вправду не вернешься в Слободу?

— Вернусь ли, нет ли, про то бог знает; ты же никому не сказывай, что меня встретил.

— Уж положись на меня, Максим Григорьич, не скажу никому! Только коли ты едешь в дальний путь, так я не возьму твоих денег. Меня бог накажет.

— Да на что мне деньги? Мы не в басурманской земле!

— Воля твоя, Максим Григорьич, а мне взять не можно. Добро бы ты ехал домой. А то, что ж я тебя оберу на дороге, как станишник какой! Воля твоя, хоть зарежь, не возьму!

Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона несколько золотых.

— Коли ты не берешь,— сказал он,— авось кто другой возьмет, а мне их не надо.

Он простился с сокольником и поехал далее.

Уже солнце начинало заходить. Длинные тени дерев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно темный великан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал дорогу, всползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным баснословным зверем. Мало-помалу и Буян, и конь, и Максим исчезли и с травы и с дерев; наступили сумерки; кое-где забелел туман; вечерние жуки поднялись с земли и, жужжа, стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу; там и сям по темнеющему небу зажглися звезды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мне в позднюю пору проезжать по твоим пустыням! Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена, и так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем. Хорошо, хорошо ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звезды!

Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня. Вскоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дым выходил прямо из крыши. В низеньком окне светился огонь. Внутри слышался однообразный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина освещала домашнюю утварь; все было дрянно и ветхо. В потолочине торчал наискось гибкий шест, и на конце его висела люлька. Женщина лет тридцати, бледная, хворая, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее сидел, согнувшись, мужичок с реденькою бородкой и плел лапти. Двое детей ползали у ног их.

Максиму показалось, что женщина в песни поминает его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивления, он стал прислушиваться.

— Спи, усни, мое дитятко! — пела женщина.

Спи, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдет,
Покуль беда минет!

Баю-баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!
Скоро минет беда наносная,
Скоро царь велит отсечь голову
Злому псу Малюте Скурлатову!
Баю-баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Вся кровь Максима бросилась ему в лицо. Он слез с коня и привязал его к плетню.

Голос продолжал:

Как и он ли, злой пес Малюта
Задушил святого старца,
Святого старца Филиппа!
Баю-баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Максим не выдержал и толкнул дверь ногою.

При виде богатой одежды и золотой сабли опричника хозяева оробели.

— Кто вы? — спросил Максим.

— Батюшка! — отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха,— меня-то, не взыщи, меня зовут Федотом, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовут Марьею!

— Чем вы живете, добрые люди?

— Лыки дерем, родимый, лапти плетем да решета делаем. Купцы проедут и купят.

— А, знать, мало проезжают?

— Малость, батюшка, совсем малость! Иной раз, придется, и есть нечего. Того и смотри, с голоду али с наготы помрешь. А лошадки-то нет у нас товар в город отвезти. Другой год волки съели.

Максим поглядел с участием на мужика и его хозяйку и высыпал свои червонцы на стол.

— Бог с вами, бедные люди! — сказал он и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему в ноги.

— Батюшка, родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты? За кого нам богу молиться?

— Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко ль до Рязанской дороги?

— Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самом кресте живем. Вот прямо пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда вправо на Рязань! Да не езди теперь, родимый ты наш, не езди теперь, не такая пора; больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили. А теперь еще, говорят, татары опять проявились. Переночуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш, сохрани бог, долго ль до беды!

Но Максиму не хотелось остаться в избе, где недавно еще проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега.

— Батюшка,— кричали ему вслед хозяева,— вернись, родимый, послушай нашего слова! Несдобровать тебе ночью на этой дороге!

Но Максим не послушался и поехал далее.

Не много верст проехал он, как вдруг Буян бросился к темному кусту и стал лаять так зло, так упорно, как будто чуял скрытого врага.

Тщетно отсвистывал его Максим. Буян бросался на куст, возвращался весь ощетиненный и снова рвался вперед.

Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и поскакал прямо на куст. Несколько человек с поднятыми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый голос крикнул:

— Долой с коня!

— Вот тебе! — сказал Максим, отвешивая удар тому, который был ближе.

Разбойник зашатался.

— Это тебе не в почет! — продолжал Максим и хотел отвесить ему второй удар; но сабля встретила плашмя дубину другого разбойника и разлетелась наполы.

— Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричник! Хватай его живьем! — закричал грубый голос.

— И впрямь опричник! — завизжал другой,— вот потешимся над ним с ребятами!

— Ай да Хлопко! уж ты и рад тешиться!

И в тот же миг все вместе навалились на Максима и стащили его с коня.

ГЛАВА 24

БУНТ СТАНИЧНИКОВ

Версты полторы от места, где совершилось нападение на Максима, толпы вооруженных людей сидели вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и берестовые черпала ходили из рук в руки. Пылающие костры освещали резкие черты, всклокоченные бороды и разнообразные одежды. Были тут знакомые нам лица: и Андрюшка, и Васька, и рыжий песенник; но не было старого Коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая из черпал и осушая чарки.

— Эх,— говорил один,— что-то с нашим дедушкой теперь!

— Вестимо что! — отвечал другой,— рвут его с дыбов, а может, на виске потряхивают.

— А ведь не выдаст старый черт; я чай, словечка не выронит!

— Вестимо, не выронит, не таковский; этого хоть на клочья разорви, не выдаст!

— А жаль седой бороды! Ну да и атаман-то хорош! Сам небось цел, а старика-то выдал!

— Да что он за атаман! Разве это атаман, чтобы своих даром губить из-за какого-то князя!

— Да вишь ты, они с князем-то в дружбе. И теперь, вишь, в одном курене сидят. Ты про князя не говори, неравно атаман услышит, сохрани бог!

— А что ж, коль услышит! Я ему в глаза скажу, что он не атаман. Вот Коршун, так настоящий атаман! Небось был у Перстня как бельмо на глазу, так вот его нарочно и выдал!

— А что, ребята, ведь, может, и в самом деле он нарочно выдал Коршуна!

Глухой ропот пробежал меж разбойников.

— Нарочно, нарочно выдал! — сказали многие.

— Да что это за князь? — спросил один.— Зачем его держат? Выкупа за него ждет атаман, что ли?

— Нет, не выкупа! — отвечал рыжий песенник.— Князя, вишь, царь обидел, хотел казнить его; так князь-то от царя и ушел к нам; говорит: я вас, ребятушки, сам

на Слободу поведу; мне, говорит, ведомо, где казна лежит. Всех, говорит, опричников перережем, а казною поделимся!

— Вот как! Так что ж он не ведет нас? Уж третьи сутки здесь даром стоим!

— Оттого не ведет, что атаман у нас баба!

— Нет, этого не говори, Перстень не баба!

— А коли не баба, так и хуже того. Стало, он нас морочит!

— Стало,— сказал кто-то,— он хочет царскую казну на себя одного взять, а нам чтоб и понюхать не досталось!

— Да, да, Перстень продать нас хочет, как Коршуна продал!

— Да не на таковских напал!

— А старика-то выручить не хочет!

— Да что он нам! Мы и без него дедушку выручим!

— И без него казну возьмем; пусть князь один ведет нас!

— Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на богомолье; в Слободе и половины опричников не осталось!

— Зажжем опять Слободу!

— Перережем слободских!

— Долой Перстня! Пусть князь ведет нас!

— Пусть князь ведет! Пусть князь ведет! — послышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова от толпы до толпы, пронеслися до самых отдаленных костров, и все поднялось и закипело, и все обступили курень, где Серебряный сидел в жарком разговоре с Перстнем.

— Воля твоя, князь,— говорил атаман,— сердись не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтоб ты опять голову на плаху понес!

— В голове своей я один волен! — отвечал князь с досадою.— Незачем было меня из тюрьмы вызволять, коли я теперь в неволе сижу!

— Эх, князь, велико дело время. Царь может одуматься, царь может преставиться; мало ли что может случиться; а минует беда, ступай себе с богом на все четыре стороны! Что ж делать,— прибавил он, видя возрастающую досаду Серебряного,— должно быть, тебе на роду написано пожить еще на белом свете. Ты норовом

крут, Никита Романыч, да и я крепко держусь своей мысли; видно, уж нашла коса на камень, князь!

В это мгновение голоса разбойников раздались у самого куреня.

— В Слободу, в Слободу! — кричали пьяные удальцы.

— Пустим красного гуся в Слободу!

— Пустим целое стадо гусей!

— Выручим Коршуна!

— Выручим дедушку!

— Выкатим бочки из подвалов!

— Выгребем золото!

— Вырежем опричнину!

— Вырежем всю Слободу!

— Где князь? Пусть ведет нас!

— Пусть ведет князь!

— А не хочет, так на осину его!

— На осину! На осину!

— Перстня туда же!

— На осину и Перстня!

Перстень вскочил с места.

— Так вот что они затевают! — сказал он.— А я уж давно прислушиваюсь, что они там голосят. Вишь, как расходились, вражьи дети! Теперь их сам черт не уймет! Ну, князь, нечего делать, вышло по-твоему; не держу тебя доле: вольному воля, ходячему путь! Выйди к ним, скажи, что ведешь их на Слободу!

Серебряный вспыхнул.

— Чтоб я повел вас на Слободу? — сказал он,— да скорей вы меня на клочья разорвете!

— Эх, князь, притворись хоть для виду. Народ, ты видишь, нетрезвый, завтра образумятся!

— Князь! — кричали голоса,— тебя зовут, выходи!

— Выйди, князь,— повторил Перстень,— ввалятся в курень, хуже будет!

— Добро ж! — сказал князь, выходя из куреня,— посмотрим, как они меня заставят вести их на Слободу!

— Ага! — закричали разбойники,— вылез!

— Веди на Слободу!

— Атаманствуй над нами, не то тебе петлю на шею!

— Так, так! — ревели голоса.

— Бьем тебе челом! — кричали другие,— будь нам атаманом, не то повесим!

— Ей-богу, повесим!

Перстень, зная горячий нрав Серебряного, поспешил также выйти.

— Что вы, братцы,— сказал он,— белены, что ль, объелись? Чего вы горла-то дерете? Поведет вас князь, куда хотите; поведет чем свет; а теперь дайте выспаться его милости, да и сами ложитесь; уже вволю повеселились!

— Да ты что нам указываешь! — захрипел один,— разве ты нам атаман!

— Слышь, братцы,— закричали другие,—он не хочет сдать атаманства!

— Так на осину его!

— На осину, на осину!

Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил враждебные лица.

— Ах вы дураки, дураки! — сказал он.— Да разве я держусь вашего атаманства? Поставьте над собой кого знаете, а я и сам не хочу; наплевать мне на вас.

— Хорошо! — закричал кто-то.

— Красно говорит! — прибавил другой.

— Наплевать мне на вас! — продолжал Перстень,— мало, что ли, таких, как вы? Эка честь над вами атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не таких наберу!

— Нет, брат, дудки. От себя не пустим; еще, пожалуй, продашь, как Коршуна продал!

— Не пустим, не пустим; оставайся с нами; слушайся нового атамана!

Дикие крики заглушили голос Перстня.

Разбойник огромного роста подошел к Серебряному с чаркой в руке.

— Батька! — сказал он, ударив его широкою лапой по плечу,— пробазарил ты свою голову, стал нашим братом; так выпьем вместе да поцелуемся!

Бог знает, что бы сделал Серебряный. Пожалуй, вышиб бы он чарку из рук разбойника и разорвала б его на клочья пьяная толпа; но, к счастию, новые крики отвлекли его внимание.

— Смотрите, смотрите! — раздалось в толпе,— оп-

ричника поймали! Опричника ведут! Смотрите, смотрите!

Из глубины леса шло несколько людей в изодранных одеждах, с дубинами в руках. Они вели с собой связанного Максима. Разбойник, которого он ударил саблей, ехал на Максимовом коне. Впереди шел Хлопко, присвистывая и приплясывая. Раненый Буян тащился сзади.

— Гей, братцы,— пел Хлопко, щелкая пальцами.

Гости съехались ко вдовушкам во дворики,
Заходили по головушкам топорики!..

И Хлопко опрокидывался навзничь, бил в ладоши и кружился, словно кубарь.

Глядя на него, рыжий песенник не вытерпел, схватил балалайку и пустился вприсядку помогать товарищу.

Оба стали наперерыв семенить ногами и кривляться вокруг Максима.

— Вишь, дьяволы! — сказал Перстень Серебряному.— Ведь они не просто убьют опричника, а замучат медленною смертью; я знаю обоих: уж коли эти пустились, значит, плохо дело; несдобровать молодцу!

В самом деле, поимка опричника была для всей шайки настоящим праздником. Они собрались выместить на Максиме все, что претерпели от его товарищей.

Несколько человек с зверскими лицами тотчас занялись приготовлениями к его казни.

В землю вколотили четыре кола, укрепили на них поперечные жерди и накалили гвоздей.

Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно было ему умирать в муках; грустно было умереть без меча, со связанными руками, и не слыхать в предсмертный час ни бранного окрика, ни ржания коней, а слышать лишь дикие песни да пьяный смех своих мучителей.

«Обмануло меня вещее,— подумал он,— не такого я чаял себе конца. Да будет же надо мной божья воля!»

Тут он заметил Серебряного, узнал его и хотел к нему подойти. Но рыжий песенник схватил его за ворот.

— Постлана постель,— сказал он,— сымай кафтан, ложись, что ли!

— Развяжите мне руки!—отвечал Максим,— не могу перекреститься!

Хлопко ударом ножа разрезал веревки, которыми руки Максима были спутаны.

— Крестись, да недолго! — сказал он, и когда Максим помолился, Хлопко и рыжий сорвали с него платье и стали привязывать его руки и ноги к жердям.

Тут Серебряный выступил вперед.

— Ребята! — сказал он голосом, который привык раздаваться в ратном строю,— слушайте!

И звонкие слова резко пронеслись по толпе и, несмотря на шум и крики, долетели до самых отдаленных разбойников.

— Слушайте! — продолжал князь.— Все ли вы хотите, чтоб я был над вами старшим? Может, есть меж вами такие, что не хотят меня?

— Э! — закричал кто-то,— да ты, никак, на попятный двор!

— Слышь ты, с нами не шути!

— Дают атаманство, так бери!

— Принимай честь, пока цел!

— Подайте ж мне атаманский чекан! — сказал Серебряный.

— Дело! — закричали разбойники.— Так-то лучше подобру-поздорову!

Князю подали чекан Перстня.

Никита Романович подошел прямо к рыжему песеннику.

— Отвязывай опричника! — сказал он.

Рыжий посмотрел на него с удивлением.

— Отвязывай тотчас! — повторил грозно Серебряный.

— Вишь ты! — сказал рыжий,— да ты за него, что ль, стоишь! Смотри, у самого крепка ль голова?

— Окаянный! — вскричал князь,— не рассуждай, когда я приказываю!

И, взмахнув чеканом, он разрубил ему череп.

Рыжий повалился, не пикнув.

Поступок Серебряного смутил разбойников. Князь не дал им опомниться.

— Отвязывай ты! — сказал он Хлопку, подняв чекан над его головой.

Хлопко взглянул на князя и поспешил отвязать Максима.

— Ребята! — продолжал Никита Романович,— этот молодец не из тех, что вас обидели; я его знаю; он такой же враг опричнине, как и вы. Сохрани вас бог тронуть его хоть пальцем! А теперь нечего мешкать: берите оружие, стройтесь по сотням, я веду вас!

Твердый голос Серебряного, повелительная осанка и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников.

— Эге,— сказали некоторые вполголоса,— да этот не шутит!

— И впрямь атаман! — говорили другие,— хоть кого перевернет!

— С ним держи ухо востро, не разговаривай! Вишь, как уходил песенника!

Так рассуждали разбойники, и никому не приходило более в голову трепать Серебряного по плечу или с ним целоваться.

— Исполать тебе, князь! — прошептал Перстень, с почтением глядя на Никиту Романовича.— Вишь ты, как их приструнил! Только не давай им одуматься, веди их по дороге в Слободу, а там что бог даст!

Трудно было положение Серебряного. Став в главе станичников, он спас Максима и выиграл время; но все было бы вновь потеряно, если б он отказался вести буйную ватагу. Князь обратился мыслию к богу и предался его воле.

Уже начали станичники готовиться к походу, и только поговаривали, что недостает какого-то Федьки Поддубного, который с утра ушел с своим отрядом и еще не возвращался.

— А вот и Федька! — сказал кто-то,— эвот идет с ребятами!

Поддубный был сухощавый детина, кривой на один глаз и со множеством рубцов на лице.

Зипун его был изодран. Ступал он тяжело, сгибая колени, как человек, через силу уставший.

— Что? — спросил один разбойник.

— Я чай, опять досталось? — прибавил другой.

— Досталось, да не нам! — сказал Поддубный, садясь к огню.— Вот, ребятушки, много у меня лежало грехов на душе, а сегодня, кажись, половину сбыл!

— Как так?

Поддубный обернулся к своему отряду.

— Давайте сюда языка, братцы!

К костру подвели связанного детину в полосатом кафтане. На огромной голове его торчала высокая шапка с выгнутыми краями. Сплюснутый нос, выдававшиеся скулы, узенькие глаза свидетельствовали о нерусском его происхождении.

Один из товарищей Поддубного принес копье, саадак и колчан, взятые на пленном.

— Да это татарин! — закричала толпа.

— Татарин,— повторил Поддубный,— да еще какой! Насилу с ним справились, такой здоровяк! Кабы не Митька, как раз ушел бы!

— Рассказывай, рассказывай! — закричали разбойники.

— А вот, братцы, пошли мы с утра по Рязанской дороге, остановили купца, стали обшаривать; а он нам говорит: «Нечего, говорит, братцы, взять с меня! Я, говорит, еду от Рязани, там всю дорогу заложила татарва, ободрали меня дочиста, не с чем и до Москвы дотащиться».

— Вишь, разбойники! — сказал один из толпы.

— Что ж вы с купцом сделали? — спросил другой.

— Дали ему гривну на дорогу и отпустили,— ответил Поддубный.— Тут попался нам мужик, рассказал, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскоре мы сами перешли великую сакму: сметили, по крайнему счету, с тысячу лошадей. А там идут другие мужики с бабами да с детьми, воют да голосят: и нашеде село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святые иконы, из риз поделали чепраки...

— Ах они окаянные! — вскричали разбойники,— да как еще их, проклятых, земля держит!

— Попа,— продолжал Поддубный,— к лошадиному хвосту привязали...

— Попа? Да как их, собачьих детей, громом не убило!

— А бог весть!

— Да разве у русского человека рук нет на проклятую татарву!

— Вот то-то и есть, что рук-то мало; все полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басур-

манам-то и любо, что нет ратных людей, что некому поколотить их порядком!

— Эх, дал бы я им!

— И я бы дал!

— Да как вы языка-то достали?

— А вот как. Слышим мы лошадиный топ по дороге Я и говорю ребятам: схоронимся, говорю, в кусты, посмотрим, кто такой едет? Схоронились, видим: скачет человек тридцать, вот в этаких шапках, с копьями, с колчанами, с луками. Братцы, говорю я, ведь это они, сердечные! Жаль, что нас маленько, а то можно б поколотить! Вдруг у одного отторочился какой-то мешок и упал на землю. Тот остановился, слез с коня подымать мешок да вторачивать, а товарищи его меж тем ускакали. Братцы, говорю я, что бы нам навалиться на него? Ну-тка, робятушки, за мной, разом! И, сказамши, бросились все на татарина. Да куды! Тот только повел плечами, так всех нас и стряхнул. Мы опять на него, он нас опять стряхнул, да и за копье. Тут уж Митька говорит: посторонитесь, братцы, говорит, не мешайте! Мы дали ему место, а он вырвал у татарина копье, взял его за шиворот, да и пригнул к земле. Тут мы ему рукавицу в рот, да и связали, как барана.

— Ай да Митька! — сказали разбойники.

— Да, этот хоть быка за рога свалит! — заметил Поддубный.

— Эй, Митька! — спросил кто-то,— свалишь ты быка?

— А для ча! — ответил Митька и отошел в сторону, не желая продолжать разговора.

— Что ж было в мешке у татарина? — спросил Хлопко.

— А вот смотрите, ребята!

Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дарохранительницу, две-три панагии да золотой крест.

— Ах он собака! — закричала вся толпа,— так это он церковь ограбил!

Серебряный воспользовался негодованием разбойников.

— Ребята! — сказал он,— видите, как проклятая татарва ругается над Христовою верой? Видите, как ба-

сурманское племя хочет святую Русь извести? Что ж, ребята, разве уж и мы стали басурманами? Разве дадим мы святые иконы на поругание! Разве попустим, чтобы нехристи жгли русские села да резали наших братьев?

Глухой ропот пробежал по толпе.

— Ребята,— продолжал Никита Романович,— кто из нас богу не грешен! Так искупим же теперь грехи наши, заслужим себе прощение от господа, ударим все, как мы есть, на врагов церкви и земли Русской!

Сильно подействовали на толпу слова Серебряного. Проняла мужественная речь не одно зачерствелое сердце, не в одной косматой груди расшевелила любовь к родине. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули друг на друга. Громкие восклицания вырвались из общего говора.

— Что ж! — сказал один,— ведь и вправду не приходится отдавать церквей божиих на поругание!

— Не приходится, не приходится! — повторил другой.

— Двух смертей не бывать, одной не миновать! — прибавил третий,— лучше умереть в поле, чем на виселице!

— Правда! — отозвался один старый разбойник,—в поле и смерть красна!

— Эх, была не была! — сказал, выступая вперед, молодой сорвиголова.— Не знаю, как другие, а я пойду на татарву!

— И я пойду! и я! и я! — закричали многие.

— Говорят про вас,— продолжал Серебряный,— что вы бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни совести. Так покажите ж теперь, что врут люди, что есть у вас и душа и совесть. Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постоите не хуже стрельцов, не хуже опричников!

— Постоим! постоим! — закричали все разбойники в один голос.

— Не дадим поганым ругаться над святою Русью!

— Ударим на нехристей!

— Веди нас на татарву!

— Веди нас, веди нас! Постоим за святую веру!

— Ребята! — сказал князь,— а если поколотим поганых да увидит царь, что мы не хуже опричников, отпус-

тит он нам вины наши, скажет: не нужна мне боле опричнина; есть у меня и без нее добрые слуги!

— Пусть только скажет,— закричали разбойники,— уж послужим ему нашими головами!

— Не по своей же я охоте в станичники пошел! — сказал кто-то.

— А я разве по своей? — подхватил другой.

— Так ляжем же, коли надо, за Русскую землю! — сказал князь.

— Ляжем, ляжем! — повторили разбойники.

— Что ж, ребята,— продолжал Серебряный,— коли бить врагов земли Русской, так надо выпить про русского царя!

— Выпьем!

— Берите ж чарки и мне чару подайте!

Князю поднесли стопу; все разбойники налили себе чарки.

— Да здравствует великий государь наш, царь Иван Васильевич всея Руси! — сказал Серебряный.

— Да здравствует царь! — повторили разбойники.

— Да живет земля Русская! — сказал Серебряный.

— Да живет земля Русская! — повторили разбойники.

— Да сгинут все враги святой Руси и православной Христовой веры! — продолжал князь.

— Да сгинет татарва! Да сгинут враги русской веры,— кричали наперерыв разбойники.

— Веди нас на татарву! Где они, басурманы, что жгут наши церкви?

— Веди нас, веди нас! — раздавалось отовсюду.

— В огонь татарина! — закричал кто-то.

— В огонь его! В полымя! — повторили другие.

— Постойте, ребята! — сказал Серебряный,— расспросим его наперед порядком. Отвечай,— сказал князь, обращаясь к татарину,— много ль вас? Где вы станом стоите?

Татарин сделал знак, что не понимает.

— Постой, князь,— сказал Поддубный,— мы ему развяжем язык! Давай-ка, Хлопко, огоньку. Так. Ну что, будешь говорить?

— Буду, бачка! — вскрикнул обожженный татарин.

— Много ль вас?

— Многа, бачка, многа!

— Сколько?

— Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а завтра пришла сто тысяча!

— Так вы только передовые! Кто ведет вас?

— Хан тащил!

— Сам хан?

— Не сама! Хан пришла завтра; теперь пришла ширинский князь Шихмат!

— Где его стан?

Татарин опять показал знаками, что не понимает.

— Эй, Хлопко, огоньку! — крикнул Поддубный.

— Близка стан, бачка, близка! — поспешил отвечать татарин,— не больше отсюда, как десята верста!

— Показывай дорогу! — сказал Серебряный.

— Не можно, бачка! Не можно теперь видеть дорога! Завтра можно, бачка!

Поддубный поднес горячую головню к связанным рукам татарина.

— Найдешь дорогу?

— Нашла, бачка, нашла!

— Хорошо,— сказал Серебряный,—теперь перекусите, братцы, накормите татарина, да тотчас и в поход! Покажем врагам, что значит русская сила!

ГЛАВА 25

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К БИТВЕ

В шайке началось такое движение, беготня и крики, что Максим не успел сказать и спасибо Серебряному. Когда наконец станичники выстроились и двинулись из лесу, Максим, которому возвратили коня и дали оружие, поравнялся с князем.

— Никита Романыч,— сказал он,— отплатил ты мне сегодня за медведя!

— Что ж, Максим Григорьич,— ответил Серебряный,— на то на свете живем, чтоб помогать друг другу!

— Князь,— подхватил Перстень, ехавший также вер-

хом возле Серебряного,— смотрел я на тебя и думал: эх, жаль, что не видит его один низовой молодец, которого оставил я на Волге! Хоть он и худой человек, почитай мне ровня, а полюбил бы ты его, князь, и он тебя полюбил бы! Не в обиду тебе сказать, а схожи вы нравом. Как заговорил ты про святую Русь да загорелись твои очи, так я и вспомнил Ермака Тимофеича. Любит он родину, крепко любит ее, нужды нет, что станичник. Не раз говаривал мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, кабы теперь его на татар! Он один целой сотни стоит. Как крикнет: за мной, ребята! так, кажется, сам станешь и выше и сильнее, и ничто тебя уже не остановит, и все вокруг тебя так и валится. Похож ты на него, ей-богу похож, Никита Романыч, не в укор тебе сказать!

Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно, вглядываясь в темную даль; Максим молчал. Глухо раздавались по дороге шаги разбойников; звездная ночь безмолвно раскинулась над спящею землей. Долго шла толпа по направлению, указанному татарином, которого вели под саблей Хлопко и Поддубный.

Вдруг принеслися издали какие-то странные, мерные звуки.

То был не человеческий голос, не рожок, не гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы тростник мог звенеть, как стекло или струны.

— Что это? — спросил Никита Романыч, останавливая коня.

Перстень снял шапку и наклонил голову почти до самой луки.

— Погоди, князь, дай порасслушать!

Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемого леса,— вдруг замолкли, как будто в порыве степного ветра.

— Кончил! — сказал Перстень, смеясь. — Вишь, грудь-то какова! Я чай, с полчаса дул себе, не переводя духа!

— Да что это? — спросил князь.

— *Чебузга́!* — отвечал Перстень.— Это у них, почитай, что у нас рожок или жалейка. Должно быть, башкирцы. Ведь тут разный сброд с ханом, и казанцы, и аст

раханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вот опять наигрывать стали!

Вдали начался как будто новый порыв вихря, обратился в длинные, грустно-приятные переливы и через несколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканью.

— Ага! — сказал Перстень,— это колено вышло покороче; должно быть, надорвался, собачий сын!

Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее. Казалось, множество колокольцев звенели безостановочно.

— А вот и горло! — сказал Перстень.— Ведь издали подумаешь и невесть что; а они это горлом выделывают. Вишь, их разобрало, вражьих детей!

Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалось дикое величие кочующего племени, и попрыски табунов, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и тоска по неизвестной, первобытной родине.

— Князь,— сказал Перстень,— должно быть, близко стан; я чаю, за этим пригорком и огни будут видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и как; мне это дело обычное, довольно я их за Волгой встречал; а ты бы пока ребятам дал вздохнуть да осмотреться.

— Ступай с богом,— сказал князь, и Перстень соскочил с коня и исчез во мраке.

Разбойники оправились, осмотрели оружие и сели на землю, не изменя боевого порядка. Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лилися по-прежнему, месяц и звезды освещали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль серебристыми струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь стал уже терять терпение, но вдруг шагах в трех от него поднялся из травы человек. Никита Романович схватился за саблю.

— Тише, князь, это я! — произнес Перстень, усмехаясь.— Вот так точно подполз я и к татарам; все высмотрел, теперь знаю их стан не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десяток молодцов, пуг-

ну табун да переполошу татарву; а ты тем часом, коли рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым криком; так будь я татарин, коли мы их половины не перережем! Это я так говорю, только для почину; ночное дело мастера боится; а взойдет солнышко, так уж тебе указывать, князь, а нам только слушаться!

Серебряный знал находчивость и сметливость Перстня и дал ему действовать по его мысли.

— Ребятушки,— сказал Перстень разбойникам,— повздорили мы немного, да кто старое помянет, тому глаз вон! Есть ли промеж вас человек десять охотников со мной вместе к стану идти?

— Выбирай кого знаешь,— отвечали разбойники,— мы все готовы.

— Спасибо же вам, ребятушки; а коли уж вы меня уважили, так я беру вот каких: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятел, и ты, Лесников, и ты Решето, и Степка, и Мишка, и Шестопер, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал; оставайся с князем, ты к нашему делу непригоден. Сымайте, ребята, сабли, с ними ползти неладно, будет с нас и ножей. Только, ребята, чур слушать моего слова, без меня ни на шаг! Пошли в охотники, так уж что́ укажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так, я ему тут же и карачун!

— Добро, добро!—отвечали выбранные Перстнем,— как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело, небось не повздорим!

— Видишь, князь, этот косогор? — продолжал атаман.— Как дойдешь до него, будут вам их костры видны. А мой совет — ждать вам у косогора, пока не услышите моего визга. А как пугну табун да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристей; а им деться некуды; коней-то уж не будет; с одной стороны мы, с другой пришла речка с болотом.

Князь обещался сделать все по распоряжению Перстня.

Между тем атаман с десятью удальцами пошли на звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал бы, что они тут же и притаились; но зоркое око могло бы заметить колебание травы, независимое от ветра и не по его направлению.

Через полчаса Перстень и его товарищи были уже близко к татарским кибиткам.

Лежа в ковыле, Перстень приподнял голову.

Шагов пятьдесят перед ним горел костер и озарял несколько башкирцев, сидевших кружком, с поджатыми под себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копья торчали возле них и докидывали длинные тени свои до самого Перстня. Табун из нескольких тысяч лошадей, вверенный страже башкирцев, пасся неподалеку густою кучей. Другие костры, шагах во сто подале, освещали бесчисленные войлочные кибитки.

Не зорко смотрели башкирцы за своим табуном. Пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде отпора; знали, что наши войска распущены, и не ожидали себе неприятеля; а от волков, думали, обережемся чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние зубы концы длинных репейных дудок и набрав в широкие груди сколько могли ветру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побагровевшие от натуги.

Несколько минут Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчас с ножом на башкирцев и, не дав им опомниться, перерезать всех до одного? Или сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать?

И то и другое его прельщало. «Вишь, какой табун,— думал он, притаив дыхание,— коли пугнуть его умеючи, так он, с напуску, все их кибитки переломает; такого задаст переполоху, что они своих не узнают. А и эти-то вражьи дети хорошо сидят, больно хорошо! Вишь, как наяривают; можно к ним на два шага подползти!»

И не захотелось атаману отказаться от кровавой потехи над башкирцами.

— Решето,— шепнул он притаившемуся возле него товарищу,— что, у тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть?

— А ты-то что ж? — ответил шепотом Решето.

— Да как будто осип маненько.

— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?

— Постой, рано. Заползи-ка вон оттоль как можно ближе к табуну; ползи, пока не сметят тебя кони; а лишь начнут ушьми трясти, ты и гикни, да пострашнее, да и гони их прямо на кибитки!

Решето кивнул головой и исчез в ковыле.

— Ну, братцы,— шепнул Перстень остальным товарищам,— ползите за мной под нехристей, только чур осторожно. Вишь, их всего-то человек двадцать, а нас девятеро; на каждого из вас будет по два, а я на себя четырех беру. Как послышите, что Решето взвизгнул, так всем разом и загикать да прямо на них! Готовы, что ли?

— Готовы! — отвечали шепотом разбойники.

Атаман перевел дыхание, оправился и начал потихоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.

ГЛАВА 26

ПОБРАТИМСТВО

Пока все это происходило у татарского стана, Серебряный, за полверсты оттуда, ожидал нетерпеливо условленного знака.

— Князь,— сказал ему Максим, не отходивший все время от него,— недолго нам ждать, скоро зачнется бой; как взойдет солнышко, так уже многих из нас не будет в живых, а мне бы хотелось попросить тебя...

— О чем, Максим Григорьич?

— Дело-то нетрудное, да не знаю, как тебе сказать, совестно мне...

— Говори, Максим Григорьич, было бы вмоготу!

— Видишь ли, князь, скажу тебе всю истину. Я ушел из Слободы тайно, против воли отца, без ведома матери. Невтерпеж мне стало служить в опричниках; такая нашла тошнота, что хоть в воду кинуться. Видишь ли, боярин, я один сын у отца у матери, брата у меня никогда не бывало. От покрова пошел мне девятнадцатый год, а поверишь ли, до сей поры не с кем было добрым словом перемолвиться. Живу промеж них один-одинешенек, ни-

кто мне не товарищ, все чужие. Всяк только и думает, как бы другого извести, чтобы самому в честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Из церкви, почитай, не выходят, а губят народ хуже станичников. Было б им поболе казны да поместий, так, по них, хоть вся Русь пропадай! Как царь ни грозен, а ведь и тот иногда слушает истину; так у них, хоть бы у одного, язык повернулся правду вымолвить! Все так ему и поддакивают, так и лезут выслужиться! Поверишь ли, князь, как увидел тебя, на сердце у меня повеселело, словно родного встретил! Еще и не знал я, кто ты таков, а уж полюбился ты мне, и очи у тебя не так глядят, как у них, и речь звучит иначе. Вот Годунов, пожалуй, и лучше других, а все не то, что ты. Смотрел я на тебя, как ты без оружия супротив медведя стоял; как Басманов, после отравы того боярина, и тебе чашу с вином поднес; как тебя на плаху вели; как ты с станичниками сегодня говорил. Так меня и тянуло к тебе, вот так бы и кинулся к тебе на шею! Не дивись, князь, моей глупой речи,— прибавил Максим, потупя очи,— я не набиваюсь к тебе на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что ж мне делать, коли не могу слов удержать; сами рвутся наружу, сердце к тебе само так и мечется!

— Максим Григорьич,— сказал Серебряный и крепко сжал его руку,— и ты полюбился мне, как брат родной!

— Спасибо, князь, спасибо тебе! А коли уж на то пошло, то дай мне разом высказать, что у меня на душе. Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мне, князь, теперь, перед битвой, по древнему христианскому обычаю, побрататься с тобой! Вот и вся моя просьба; не возьми ее во гнев, князь. Если бы знал я наверно, что доведется нам еще долгое время жить вместе, я б не просил тебя; я помнил бы, что тебе непригоже быть моим названым братом; а теперь. .

— Полно бога гневить, Максим Григорьич! — прервал его Серебряный,— чем ты не брат мне? Знаю, что мой род честнее твоего, да то дело думное и разрядное; а здесь, перед татарами, в чистом поле, мы равны, Максим Григорьич, да везде равны, где стоим пред богом, а не пред людьми. Побратаемся, Максим Григорьич!

И князь снял с себя крест-тельник на узорной золотой цепи и подал Максиму.

Максим также снял с шеи крест, простой, медный, на шелковом гайтане, поцеловал его и перекрестился.

— Возьми его, Никита Романыч; им благословила меня мать, когда еще мы были бедными людьми, не вошли еще в честь у Ивана Васильича Береги его, он мне всего дороже

Тогда оба еще раз перекрестились и, поменявшись крестами, обняли друг друга.

Максим просветлел

— Теперь,— сказал он радостно,— ты мне брат, Никита Романыч! Что бы ни случилось, я с тобой неразлучен; кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг, тот и мне враг; буду любить твоею любовью, опаляться твоим гневом, мыслить твоею мыслию! Теперь мне и умирать веселее, и жить не горько; есть с кем жить, за кого умереть!

— Максим,— сказал Серебряный, глубоко тронутый,— видит бог, и я тебе всею душой учинился братом; не хочу разлучаться с тобою до скончания живота!

— Спасибо, спасибо, Никита Романыч, и не след нам разлучаться! Коли, даст бог, останемся живы, подумаем хорошенько, поищем вместе, что бы нам сделать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не может, чтобы все на Руси пропало, чтоб уж нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках!

Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг остановился и схватил Серебряного за руку.

Пронзительный визг раздался в отдалении. Воздух как будто задрожал, земля затряслась, смутные крики, невнятный гул принеслись от татарского стана, и несколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Серебряного и Максима.

— Пора! — сказал Серебряный, садясь в седло, и вынул саблю — Чур меня слушаться, ребята, не сбиваться в кучу, не рассыпаться врозь, каждый знай свое место. С богом за мной!

Разбойники вспрянули с земли.

— Пора, пора! — раздалось во всех рядах.— Слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебряным и перевалилась через холм, заграждавший им дотоле неприятельские костры.

Тогда новое неожиданное зрелище поразило их очи.

Справа от татарского стана змеился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану.

— Ай да Перстень! — вскричали разбойники,— ай да наши! Вишь, зажгли степь, пустили *огонь пó* ветру, прямо на басурманов!

Пожар рос с неимоверною быстротой, вся степь по правую сторону стана обратилась в пылающее море, и вскоре огненные волны охватили крайние кибитки и озарили стан, похожий на встревоженный муравейник.

Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке навстречу разбойникам.

— На них, ребята! — загремел Серебряный,— топчите их в воду, гоните в огонь!

Дружный крик отвечал князю, разбойники бросились на татар, и закипела резня . . . .

. . . .

Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усеяно убитыми татарами.

Теснимые с одной стороны пожаром, с другой — дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам речки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга и резались между собою, думая отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою Шихматом, переплыла через речку и построилась на другом берегу. Тысячи стрел сыпались оттуда на торжествующих русских. Разбойники, не имея другого оружия, кроме рукопашного, и видя стреляющих врагов, защищенных топкою речкой, не выдержали и смешались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать их. Уже отряды татар начали, под прикрытием стрел, обратно переплывать речку, грозя ударить Серебряному в тыл, как Перстень явился внезапно возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была изодрана, с ножа капала кровь.

— Стойте, други! стойте, ясные соколы! — закричал он на разбойников.— Аль глаза вам запорошило? Аль не видите, к нам подмога идет?

В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке; ее копья и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца.

— Да это те же татары! — сказал кто-то.

— Сам ты татарин! — возразил Перстень, негодуя.— Разве так идет орда? Разве бывает, чтоб татары шли пешие? А этого не видишь впереди на сером коне? Разве на нем татарская бронь?

— Православные идут! — раздалось между разбойниками.— Стойте, братцы, православные к нам на помощь идут!

— Видишь, князь,—сказал Перстень,— они, вражьи дети, и стреляют-то уж не так густо, значит, смекнули, в чем дело! А как схватится с ними та дружина, я покажу тебе брод, перейдем да ударим на них сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ее вооружение и одежду, почти столь же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами ратников болтались цепы, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их светились бердыши и копья. Тут же ехало человек сто вершников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь серебристо-серой масти то взвивался на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю.

Туча стрел встретила вождя и дружину.

Между тем Никита Романович вместе с своими перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время наперла с другой стороны вновь пришедшая подмога.

Уже с час кипела битва.

Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и подскакал к нему.

— Ну, Никита Романыч,—сказал он весело,—видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коли наша не возьмет!

— Да,— ответил Серебряный,— спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишь, как рубит вправо и влево! Кто он таков? Я как будто видал его где-то?

— Как, Никита Романыч, ты не признал его?

— А ты его разве знаешь?

— Мне-то как не знать его, бог с ним! Много грехов отпустится ему за нынешний день. Да ведь и ты знаешь его, Никита Романыч. Это Федька Басманов.

— Басманов? Этот! Неужто он!

— Он самый, и на себя не похож стал. Бывало, и подумать соромно, в летнике, словно девушка, плясывал; а теперь, видно, разобрало его: поднял крестьян и дворовых и напал на татар; должно быть, и в нем русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь! Да как и не перемениться в этакий день,—продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блистали радостью.— Поверишь ли, Никита Романыч, я сам себя не узнаю. Когда ушел я из Слободы, все казалось, что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло померяться с нехристями, только не с тем, чтобы побить их; на то, думал, найдутся лучше меня; а с тем, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то; теперь мне хочется жить! Слышишь, Никита Романыч, когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки звенят? Вот так же весело звенит и у меня на сердце! Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря занялась! Так стало мне ясно, так понятно, сколько добра еще можно сделать на родине! Тебя царь помилует; быть того не может, чтоб не помиловал. Пожалуй, еще и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе; давай вместе думать и делать, как Адашев с Сильвестром. Все, все расскажу тебе, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романыч, пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть он и худой человек, а надо выручить!

Серебряный посмотрел на Максима почти отеческим взором.

— Побереги себя, Максим,— сказал он,— не мечись в сечу даром; смотри, ты и так уж в крови!

— То, должно быть, вражья кровь,— ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху,— а на мне и царапины нет; твой крест соблюл меня!

В это время притаившийся в камышах татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима.

Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белу грудь, угодила каленáя под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть добру молодцу, но доспел ему час на роду написанный, и свалился он на сыру землю, зацепя стремя ногою. Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать сыру-землю, и бежит за ним пó полю кровавый след.

Придет в Слободу весть недобрая, разрыдается мать Максимова, что не стало ей на помин души поминщика и некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами горючими, не воротить своего детища!

Придет в Слободу весть недобрая, заскрежещет Малюта зубами, налетит на пленных татар, насечет в тюрьмах копны голов и упьется кровью до жадной души: не воротить своего детища!

Забыл Серебряный и битву и татар, не видит он, как Басманов гонит нехристей, как Перстень с разбойниками перенимают бегущих; видит только, что конь волочит по полю его названого брата. И вскочил Серебряный в седло, поскакал за конем и, поймав его за узду, спрянул на землю и высвободил Максима из стремени.

— Максим, Максим! — сказал он, став на колени и приподымая его голову,—жив ли ты, названый брат мой? Открой очи, дай мне отповедь!

И Максим открыл туманные очи и протянул к нему руки.

— Прости, названый брат мой! Не довелося пожить нам вместе. Сделай же один, чтó хотели мы вдвоем сделать!

— Максим,— сказал Серебряный, прижимая губы к горячему челу умирающего,— не заповедаешь ли мне чего?

— Отвези матери последний поклон мой, скажи ей, что я умер, ее поминая...

— Скажу, Максим, скажу,— ответил Серебряный, едва удерживаясь от слез.

— А крест,— продолжал Максим,— тот, что на мне, отдай ей... а мой носи на память о брате твоем...

— Брат мой,— сказал Серебряный,— нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце? Не стыдись, Максим, кого еще жаль тебе, кроме матери?

— Жаль мне родины моей, жаль святой Руси! Любил я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максим закрыл глаза. Лицо его горело, дыхание делалось чаще.

Через несколько мгновений он опять взглянул на Серебряного.

— Брат,— сказал он,— кабы мне напиться воды, да постуденее!

Река была недалеко, князь встал, зачерпнул в шлем воды и подал Максиму.

— Теперь как будто полегчало,— сказал умирающий,— приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнял Максима. Он повел кругом угасающим взором, увидел бегущих татар и улыбнулся.

— Я говорил, Никита Романыч, что бог стоит за нас... смотри, как они рассыпались... а у меня уж и в глазах темнеет... ох, не хотелось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула из уст его.

— Господи, прими мою душу! — проговорил Максим и упал мертвый.

ГЛАВА 27

БАСМАНОВ

Люди Басманова и разбойники окружили Серебряного.

Татары были разбиты наголову, многие отдались в плен, другие бежали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тем Басманов велел раскинуть на берегу речки свой персидский шатер, а дворецкий его, один из начальных людей рати, доложил Серебря-

ному, что боярин бьет ему челом, просит не побрезгать походным обедом.

Лежа на шелковых подушках, Басманов, уже расчесанный и надушенный, смотрелся в зеркало, которое держал перед ним молодой стремянный, стоя на коленях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, изнеженного разврата и беспечной удали; и сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при виде земского. Предполагая, что Серебряный должен презирать его, он, даже исполняя долг гостеприимства, придумывал заране, как бы отомстить гостю, если тот, неравно, выкажет свое презрение. При входе Серебряного Басманов приветствовал его наклонением головы, но не тронулся с места.

— Ты ранен, Федор Алексеич? — спросил Серебряный простодушно.

— Нет, не ранен,— сказал Басманов, принимая эти слова за насмешку и решившись встретить ее бесстыдством,— нет, не ранен, а только уморился немного, да вот лицо как будто загорело. Как думаешь, князь,—прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправляя свои жемчужные серьги,— как думаешь, скоро сойдет загар?

Серебряный не знал, что и отвечать.

— Жаль,—продолжал Басманов,—сегодня не поспеем в баню; до вотчины моей будет верст тридцать, а завтра, князь, милости просим, угощу тебя лучше теперешнего, увидишь мои хороводы: девки все на подбор, а парни — старшему двадцати не будет.

Говоря это, Басманов сильно картавил.

— Спасибо, боярин, я спешу в Слободу,— отвечал сухо Серебряный.

— В Слободу? Да ведь ты, никак, из тюрьмы убежал.

— Не убежал, Федор Алексеич, а увели меня насильно. Давши слово царю, я сам бы не ушел, и теперь опять отдаюсь на его волю.

— Тебе, стало, хочется на виселицу? Вольному воля, спасенному рай! А я уж не знаю, вернуться ли мне?

— Что так, Федор Алексеич?

— Да что! — сказал Басманов, предаваясь досаде

или, может быть, желая только внушить Серебряному доверие,— служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а он, того и смотри, посадит тебе какого-нибудь Годунова на голову!

— Да тебя-то, кажется, жалует царь

— Жалует! До сей поры и окольничим сделать не хочет! А уж кажется, я ли ему не холоп! Небось Годунов не по-моему служит. Этот бережет себя, как бы земские про него худо не подумали. «Эй, Борис, ступай в застенок, боярина допрашивать!» — «Иду, государь, только как бы он не провел меня, я к этому делу не привычен, прикажи Григорию Лукьянычу со мной идти!» — «Эй, Борис, вон за тем столом земский боярин мало пьет, поднеси ему вина, разумеешь?» — «Разумею, государь, да только он на меня подозрение держит, ты бы лучше Федьку Басманова послал!» А Федька не отговаривается, куда пошлют, туда и идет. Поведи лишь царь очами, брата родного отравил бы и не спросил бы за что. Помнишь, как я тебе за столом чашу от Ивана Васильича-то поднес? Ведь я думал, она с ядом, ей-богу, думал!

Серебряный усмехнулся.

— А где ему,— продолжал Басманов, как бы подстрекаемый к большей наглости,— где ему найти слугу краше меня? Видал ли ты такие брови, как у меня? Чем эти брови не собольи? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай, ведь шелк, право-ну шелк!

Отвращение выразилось на лице Серебряного. Басманов это заметил и продолжал, как будто желая подразнить своего гостя:

— А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не девичьи? Только вот сегодня намозолил маленько. Такой уж у меня нрав, ни в чем себя не жалею!

— И подлинно не жалеешь,— сказал Серебряный, не в силах более сдержать своего негодования,— коли все то правда, что про тебя говорят...

— А что же про меня говорят? — подхватил Басманов, лукаво прищурясь.

— Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказываешь; а то говорят про тебя, что ты перед царем, прости господи, как девушка, в летнике пляшешь!

Краска бросилась в лицо Басманова, но он призвал на помощь свое обычное бесстыдство.

— А что ж,— сказал он, принимая беспечный вид,— если и в самом деле пляшу?

— Тогда прости,— сказал Серебряный,—мне не только с тобой обедать, но и смотреть на тебя соромно!

— Ага! — вскричал Басманов, и поддельная беспечность его исчезла, и глаза засверкали, и он уже забыл картавить,— ага! выговорил наконец! Я знаю, что вы все про меня думаете! Да мне, вот видишь ли, на всех вас наплевать!

Брови Серебряного сдвинулись, и рука опустилась было на крыж его сабли, но он вспомнил, с кем говорит, и только пожал плечами.

— Да что ты за саблю-то хватаешься? — продолжал Басманов.— Меня этим не испугаешь. Как сам примусь за саблю, так еще посмотрим, чья возьмет!

— Прости! — сказал Серебряный и приподнял завесу шатра, чтобы выйти.

— Слушай,— вскричал Басманов, хватая его за полу кафтана,— кабы на меня кто другой так посмотрел, я, видит бог, не спустил бы ему, но с тобой ссориться не хочу; больно хорошо татар рубишь!

— Да и ты,— сказал добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнив, как дрался Басманов,— да и ты не хуже меня рубил их. Что ж ты опять вздумал ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сделалось беспечно.

— Ну, не сердись, князь! Я ведь не всегда таков был; а в Слободе, сам знаешь, поневоле всему научишься!

— Грешно, Федор Алексеич! Когда сидишь ты на коне, с саблей в руке, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показал ты сегодня, любо смотреть было. Брось же свой бабий обычай, остриги волосы, как бог велит, сходи на покаяние в Киев или в Соловки, да и вернись на Москву христианином!

— Ну, не сердись, не сердись, Никита Романыч! Сядь сюда, пообедай со мной, ведь я не пес же какой, есть и хуже меня; да и не все то правда, что про меня говорят; не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досады на себя наклеплю!

Серебряный обрадовался, что может объяснить поведение Басманова в лучшую сторону.

— Так это неправда,— поспешил он спросить,— что ты в летнике плясал?

— Эх, дался тебе этот летник! Разве я по своей охоте его надеваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что мне, в святые себя прочить, что ли? Уж я и так в Слободе пощусь ему в угождение; ни одной заутрени не проспал; каждую середу и пятницу по сту земных поклонов кладу; как еще лба не расшиб! Кабы тебе пришлось по целым неделям в стихаре ходить, небось и ты б для перемены летник надел!

— Скорей пошел бы на плаху! — сказал Серебряный.

— Ой ли? — произнес насмешливо Басманов, и, бросив злобный взгляд на князя, он продолжал с видом доверчивости: — А ты думаешь, Никита Романыч, мне весело, что по царской милости меня уже не Федором, а Федорой величают? И еще бы какая прибыль была мне от этого! А то вся прибыль ему, а мне один сором! Вот хоть намедни, еду вспольем мимо Дорогомиловской слободы, ан мужичье-то пальцами на меня показывают, а кто-то еще закричи из толпы: «Эвот царская Федора едет!» Я было напустился на них, да разбежались. Прихожу к царю, говорю, так и так, не вели, говорю, дорогомиловцам холопа твоего корить, вот уж один меня Федорой назвал. «А кто назвал?» — «Да кабы знал кто, не пришел бы докучать тебе, сам бы зарезал его».— «Ну, говорит, возьми из моих кладовых сорок соболей на душегрейку».— «А на что мне она! Небось ты не наденешь душегрейки на Годунова, а чем я хуже его?» — «Да что же тебе, Федя, пожаловать?»—«А пожалуй меня окольничим, чтоб люди в глаза не корили!» — «Нет, говорит, окольничим тебе не бывать; ты мне потешник, а Годунов советник; тебе казна, а ему почет. А что дорогомиловцы тебя Федорой назвали, так отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царский обиход!» Вот тебе и потешник! Да с тех пор, как бросили Москву, и потехи-то не было. Всё постились да богу молились. Со скуки уж в вотчину отпросился, да и там надоело. Не век же зайцев да перепелов травить! Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А ведь хорошо мы их отколотили, ейбогу, хорошо! Довольно и полону пригоним к Москве!

Да я было и забыл про полон! Стреляешь ты из лука, князь?

— А что?

— Да так. После обеда привяжем татарина шагах во сто: кто первый в сердце попадет. А что не в сердце, то не в почет. Околеет, другого привяжем.

Открытое лицо Серебряного омрачилось.

— Нет,— сказал он,— я в связанных не стреляю.

— Ну так велим ему бежать: кто первый на бегу свалит.

— И того не стану, да и тебе не дам! Здесь, слава богу, не Александрова слобода!

— Не дашь? — вскричал Басманов, и глаза его снова загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчет ссориться с князем, и, внезапно переменив приемы, он сказал ему весело: — Эх, князь! Разве не видишь, я шучу с тобой! И про летник ты поверил! Вот уж полчаса я потешаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду примаешь! Да мне хуже, чем тебе, слободской обычай постыл! Разве ты думаешь, я лажу с Грязным, али с Вяземским, али с Малютой? Вот те Христос, они у меня как бельмо на глазу! Слушай, князь,— продолжал он вкрадчиво,— знаешь ли что? Дай мне первому в Слободу вернуться, я тебе выпрошу прощение у царя, а как войдешь опять в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит только шепнуть царю сперва про Вяземского, а там про Малюту, а там и про других, так посмотри, коли мы с тобой не останемся сам-друг у него в приближении. А я уж знаю, что ему про кого сказать, да только лучше, чтоб он со стороны услышал. Я тебя научу, как говорить, ты мне спасибо скажешь!

Странно сделалось Серебряному в присутствии Басманова. Храбрость этого человека и полувысказанное сожаление о своей постыдной жизни располагали к нему Никиту Романовича. Он даже готов был подумать, что Басманов в самом деле перед этим шутил или с досады клепал на себя, но последнее предложение его, сделанное, очевидно, не в шутку, возбудило в Серебряном прежнее отвращение.

— Ну,— сказал Басманов, нагло смотря ему в глаза,— пополам, что ли, царскую милость? Что ж ты молчишь, князь? Аль не веришь мне?

— Федор Алексеич,— сказал Серебряный, стараясь умерить свое негодование и быть повежливее к угощавшему его хозяину,— Федор Алексеич, ведь то, что ты затеял, оно... как бы тебе сказать? ведь это...

— Что? — спросил Басманов.

— Ведь это скаредное дело! — выговорил Серебряный и подумал, что, смягчив голос, он скрасил свое выражение.

— Скаредное дело! — повторил Басманов, перемогая злобу и скрывая ее под видом удивления.— Да ты забыл, про кого я тебе говорю. Разве ты мыслишь к Вяземскому или к Малюте?

— Гром божий на них и на всю опричнину! — сказал Серебряный.— Пусть только царь даст мне говорить, я при них открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а кольми паче с твоих слов, Федор Алексеич!

Ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц Басманова.

— Так ты не хочешь, чтоб я с тобой царскою милостью поделился?

— Нет,— отвечал Серебряный.

Басманов повесил голову, схватился за нее обеими руками и стал перекачиваться со стороны на сторону.

— Ох, сирота, сирота я! — заговорил он нараспев, будто бы плача,— сирота я горькая, горемычная! С тех пор как разлюбил меня царь, всяк только и норовит, как бы обидеть меня! Никто не приласкает, никто не приголубит, все так на меня и плюют! Ой, житье мое, житье нерадостное! Надоело ты мне, собачье житье! Захлесну поясок за перекладинку, продену в петельку головушку бесталанную!

Серебряный с удивлением смотрел на Басманова, который продолжал голосить и причитывать, как бабы на похоронах, и только иногда, украдкой, вскидывал исподлобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление.

— Тьфу! — сказал наконец Серебряный и хотел было выйти, но Басманов опять поймал его за полу.

— Эй! — закричал он,— песенников!

Вошло несколько человек, вероятно ожидавших снаружи. Они загородили выход Серебряному.

— Братцы,— начал Басманов прежним плаксивым голосом,— затяните-ка песенку, да пожалобнее, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась, да и разлучилась бы с телом!

Песенники затянули длинную, заунывную песню, вроде похоронной, в продолжение которой Басманов все переваливался со стороны на сторону и приговаривал:

— Протяжнее, протяжнее! Еще протяжнее, други! Отпевайте своего боярина, отпевайте! Вот так! Вот хорошо! Да что ж душа не хочет из тела вон! Или не настал еще час ее? Или написано мне еще на свете помаяться? А коли написано, так надо маяться! А коли сказано жить, так надо жить! Плясовую! — крикнул он вдруг, без всякого перехода, и песенники, привыкшие к таким переменам, грянули плясовую.

— Живей! — кричал Басманов и, схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна о другую.— Живей, соколы! Живей, бесовы дети! Я вас, разбойники!

Вся наружность Басманова изменилась. Ничего женоподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал того удальца, который утром бросался в самую сечу и гнал перед собою толпы татар.

— Вот этак-то получше!—проговорил князь, одобрительно кивнув головой.

Басманов весело на него взглянул.

— А ведь ты опять поверил мне, князь! Ты подумал, я и вправду расхныкался! Эх, Никита Романыч, легко ж тебя провести! Ну, выпьем же теперь про наше знакомство. Коли поживем вместе, увидишь, что я не такой, как ты думал!

Беспечный разгул и бешеное веселье подействовали на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова.

— Кто тебя разберет, Федор Алексеич! Я никогда таких не видывал. Может, и вправду ты лучше, чем кажешься. Не знаю, что про тебя и думать, но бог свел нас на ратном поле, а потому: во здравие твое!

И он осушил кубок до дна.

— Так, князь! Так, душа моя! Видит бог, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всех татар, что остались на Руси!

Серебряный был крепок к вину, но после второй стопы мысли его стали путаться. Напиток ли был хмельнее

обыкновенного или подмешал туда чего-нибудь Басманов, но у князя голова заходила кругом; заходила кругом, и ничего не стало видно Никите Романовичу; слышалась только бешеная песня с присвистом и топанием да голос Басманова:

— Живей, ребята! Во сне, что ли, поете? Кого хороните, воры!

Когда Серебряный пришел в себя, пение еще продолжалось, но он уже не стоял, а полусидел, полулежал на персидских подушках, Басманов старался, с помощью стремянного, напялить на него женский летник.

— Надевай же свой опашень, боярин,— говорил он,— на дворе уже сыреть начинает!

Песенники в это время, окончив колено, переводили дух.

В глазах Серебряного еще рябило, мысли его еще не совсем прояснились, и он готов был вздеть летник, принимая его за опашень, как среди наставшей тишины послышалось протяжное завыванье.

— Это что? — спросил гневно Басманов.

— На Скуратова могиле пес воет! — ответил стремянный, выглянув из шатра.

— Подай сюда лук да стрелу, я научу его выть, когда мы с гостем веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

— Постой, Федор Алексеич! — сказал он, вставая,— это Максимов Буян, не тронь его. Он зовет меня на могилу моего названого брата; не в меру я с тобой загулялся; прости, пора мне в путь!

— Да надень же сперва опашень, князь.

— Не на меня шит,— сказал Серебряный, распознавая летник, который протягивал ему Басманов,— носи его сам, как доселе нашивал.

И, не дожидаясь ответа, он плюнул и вышел из шатра.

За ним посыпались проклятия, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на них внимания, он подошел к могиле Максима, положил поклон своему названому брату и, сопровождаемый Буяном, присоединился к разбойникам, которые под начальством Перстня уже расположились на отдых вокруг пылающих костров.

ГЛАВА 28

РАССТАВАНИЕ

Едва занялась заря, как уж Перстень поднял шайку.

— Ребятушки! — сказал он разбойникам, когда они собрались вокруг него и Серебряного.— Настал мне час расстаться с вами. Простите, ребятушки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чем согрубил перед вами.

И Перстень поклонился в пояс разбойникам.

— Атаман! — заговорила в один голос вольница,— не оставляй нас! Куда мы пойдем без тебя!

— Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним делом заслужили вины свои; можете опять учиниться, чем прежде были; а князь не оставит вас!

— Добрые молодцы,— сказал Серебряный,— я дал царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете, что я из тюрьмы не по своей воле ушел. Теперь должен я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите ль идти со мною?

— А простит ли он нас? — спросили разбойники.

— Это в божьей воле; не хочу вас обманывать. Может, простит, а может, и нет. Подумайте, потолкуйте меж собою, да и скажите мне, кто идет и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли в сторону и начали вполголоса советоваться. Чрез несколько времени они вернулись к Серебряному.

— Идем с тобой, коли атаман идет!

— Нет, ребятушки,— сказал Перстень,— меня не просите. Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам дорога не одна. Довольно я погулял здесь, пора на родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную веревку как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем, ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайтесь моего совета, идите с князем; не верится мне после нашего дела, чтобы царь и его и вас не простил!

Разбойники опять потолковали и после краткого совещания разделились на две части. Бо́льшая подошла к Серебряному.

— Веди нас! — сказали они,— пусть будет с нами, что и с тобой!..

— А другие-то что ж? — спросил Серебряный
— Другие выбрали в атаманы Хлопко, мы с ним не хотим!
— Там все, что похуже, остались,— шепнул Перстень князю,— они и дрались-то вчера не так, как эти!
— А ты,— сказал Серебряный,— ни за что не пойдешь со мной?
— Нет, князь, я не то, что другие Меня царь не простит, не таковы мои винности. Да признаться, и соскучился по Ермаке Тимофеиче; вот уж который год не видал его. Прости, князь, не поминай лихом!
Серебряный сжал руку Перстня и обнял его крепко.
— Прости, атаман,— сказал он,— жаль мне тебя, жаль, что идешь на Волгу; не таким бы тебе делом заниматься.
— Кто знает, князь,— ответил Перстень, и отважный взор его принял странное выражение,— бог не без милости, авось и не всегда буду тем, что теперь!
Разбойники стали приготовляться к походу.
Когда взошло солнце, на берегу речки уже не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Федор Алексеевич поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю известие об одержанной победе.
Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле себя Митьку.
— Прости ж и ты, губошлеп! — сказал он весело,— послужил ты вчера царю за четверых, не оставит он тебя своей милостью!
Но Митька, как бы в недоумении, почесал затылок.
— Ну что? — спросил Перстень.
— Ничаво! — отвечал лениво Митька, почесывая одною рукой затылок, другою поясницу
— Ну, ничего так ничего! — И Перстень уже было отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал протяжно:
— Атаман, а атаман!
— Что?
— Я в Слободу не хочу!
— Куда ж ты хочешь?
— А с тобой!
— Нельзя со мной; я на Волгу иду.
— Ну и я на Волгу!

— Зачем же не с князем?

Митька подвинул одну ногу вперед и уставился, как бы в замешательстве, на свой лапоть.

— Опричников, что ли, боишься? — спросил насмешливо Перстень.

Митька стал почесывать то затылок, то бока, то поясницу, но не отвечал ничего

— Мало ты их видел? — продолжал Перстень,— съели они тебя, что ли?

— Нявесту взяли! — проговорил нехотя Митька.

Перстень засмеялся.

— Вишь, злопамятный! Не хочет с ними хлеба-соли вести! Ну, примкнись к Хлопку

— Не хочу,— сказал решительно Митька,— хочу с тобой на Волгу!

— Да я не прямо на Волгу!

— Ну и я не прямо!

— Куда ж ты?

— А куда ты, туда и я!

— Эх, пристал, как банный лист! Так знай же, что мне сперва надо в Слободе побывать!

— Зачем? — спросил Митька и выпучил глаза на атамана.

— Зачем! Зачем! — повторил Перстень, начиная терять терпение,— затем, что я там прошлого года орехи грыз, скорлупу забыл!

Митька посмотрел было на него с удивлением, но тотчас же усмехнулся и растянул рот до самых ушей, а от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать: меня, брат, надуть не так-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь в Слободу не за ореховою скорлупою, а за чем-нибудь другим!

Однако он этого не сказал, а только повторил, усмехаясь:

— Ну и я с тобой!

— Что с ним будешь делать! — сказал Перстень, пожимая плечами.— Видно, уж не отвязаться от него, так и быть, иди со мной, дурень, только после не пеняй на меня, коли тебя повесят!

— А хоча и повесят! — отвечал Митька равнодушно.

— Ладно, парень. Вот за это люблю! Прощайся же скорей с товарищами, да и в путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось, но он тотчас же начал неуклюже подходить к товарищам и каждого, хотевшего и не хотевшего, чмокнул по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухватив за голову.

— Атаман,— сказал Серебряный,— стало, мы с тобой по одной дороге?

— Нет, боярин. Где я пройду, там тебе не проехать. Я в Слободе буду прежде тебя, и если бы мы встретились, ты меня не узнавай; а впрочем, мы и не встретимся; я до твоего приезда уйду; надо только кое-какие дела покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто в окрестностях Слободы, и не настаивал.

Вскоре два отряда потянулись по двум разным направлениям.

Больший шел за Серебряным вдоль речки по зеленому лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за ним, повеся голову и хвост, тащился Буян. Он часто подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом оборачивался на свежий могильный холм, пока наконец не скрыли его из виду высокие камыши.

Другой, меньший отряд пошел за Хлопко.

Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не спеша и переваливаясь с боку на бок, последовал Митька.

Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как будто бранный гул и не возмущал ее накануне. Только кой-где паслись разбежавшиеся татарские кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи. Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве, лыски перекликались в густых камышах, а мелкие птички перепархивали, чирикая, с тростника на тростник или, заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу, меж болотных цветов, как будто б и они были цветы и росли там уже бог знает сколько времени.

ГЛАВА 29

ОЧНАЯ СТАВКА

С неделю после поражения татар царь принимал в своей опочивальне Басманова, только что прибывшего из Рязани. Царь знал уже о подробностях битвы, но Басманов думал, что объявит о ней первый. Он надеялся приписать себе одному всю честь победы и рассчитывал на действие своего рассказа, чтобы войти у царя в прежнюю милость.

Иван Васильевич слушал его со вниманием, перебирая четки и опустив взор на алмазное кольцо, которым был украшен указательный перст его; но когда Басманов, окончив рассказ и тряхнув кудрями, сказал с самодовольным видом:

— Что ж, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Иоанн поднял глаза и усмехнулся.

— Не пожалели себя,— продолжал вкрадчиво Басманов,— так уж и ты, государь, не пожалей наградить слугу твоего!

— А чего бы тебе хотелось, Федя?—спросил Иоанн, принимая вид добродушия.

— Да пожалуй меня хоть окольничим, чтобы люди-то не корили.

Иоанн посмотрел на него пристально.

— А чем мне Серебряного пожаловать? — спросил он неожиданно.

— Опальника-то твоего?—сказал Басманов, скрывая свое смущение под свойственным ему бесстыдством,— да чем же, коли не виселицей? Ведь он ушел из тюрьмы да с своими станичниками чуть дела не испортил. Кабы не переполошил он татар, мы бы их всех, как перепелов, накрыли.

— Полно, так ли? А я так думаю, что татары тебя в торока ввязали б, как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уже не впервой, дело знакомое!

— Знакомое дело за тебя горе терпеть,— продолжал Басманов дерзко,— а вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось тебе и Годунов, и Малюта, и Вязем-

ский не по-моему служат, а наград ты для них не жалеешь.

— И подлинно не по-твоему. Где им плясать супротив тебя!

— Надежа-государь,— ответил Басманов, теряя терпение,— коли не люб я тебе, отпусти меня совсем!

Басманов надеялся, что Иоанн удержит его; но отсутствие из Слободы, вместо того чтоб оживить к нему любовь Иоанна, охладило ее еще более; он успел от него отвыкнуть, а другие любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомерием Басманова, воспользовались этим временем, чтоб отвратить от него сердце Иоанна.

Расчет Басманова оказался неверен. Заметно было, что царь забавляется его досадой.

— Так и быть,—сказал он с притворною горестью,— хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому, и дела-то государские, пожалуй, замутятся, да уж нечего делать, промаюсь как-нибудь моим слабым разумом Ступай себе, Федя, на все четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басманов не мог долее скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношениями к Иоанну, он дал ей полную волю.

— Спасибо тебе, государь,— сказал он,— спасибо за твою хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как негодного пса! Буду,— прибавил он неосторожно,— буду хвалиться на Руси твоею лаской! Пусть же другие послужат тебе, как служила Федора! Много грехов взял я на́ душу на службе твоей, одного греха не взял, колдовства не взял на душу!

Иван Васильевич продолжал усмехаться, но при последних словах выражение его изменилось.

— Колдовства? — спросил он с удивлением, готовым обратиться в гнев,— да кто ж здесь колдует?

— А хоть бы твой Вяземский! — отвечал Басманов, не опуская очей перед царским взором.— Да,— продолжал он, не смущаясь грозным выражением Иоанна,— тебе, видно, одному неведомо, что когда он бывает на Москве, то по ночам ездит в лес, на мельницу, колдовать; а зачем ему колдовать, коли не для того, чтоб извести твою царскую милость?

— Да тебе-то отчего оно ведомо? — спросил царь, пронзая Басманова испытующим оком

На этот раз Басманов несколько струсил.

— Ведь я, государь, вчера только услышал от его же холопей,— сказал он поспешно — Кабы услышал прежде, так тогда и доложил бы твоей милости

Царь задумался.

— Ступай,— сказал он после краткого молчания,— я это дело разберу; а из Слободы погоди уезжать до моего приказа.

Басманов ушел, довольный, что успел заронить во мнительном сердце царя подозрение на одного из своих соперников, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскоре царь вышел из опочивальни в приемную палату, сел на кресло и, окруженный опричниками, стал выслушивать поочередно земских бояр, приехавших от Москвы и от других городов с докладами Отдав каждому приказания, поговорив со многими обстоятельно о нуждах государства, о сношениях с иностранными державами и о мерах к предупреждению дальнейшего вторжения татар, Иоанн спросил, нет ли еще кого просящего приема?

— Боярин Дружина Андреевич Морозов,— отвечал один стольник,— бьет челом твоей царской милости, просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи.

— Морозов? — сказал Иоанн,— да разве он не сгорел на пожаре? Живуч старый пес! Что ж? Я снял с него опалу, пусть войдет!

Стольник вышел; вскоре толпа царедворцев раздвинулась, и Дружина Андреевич, поддерживаемый двумя знакомцами, подошел к царю и опустился перед ним на колени.

Внимание всех обратилось на старого боярина.

Лицо его было бледно, дородства много поубавилось, на лбу виден был шрам, нанесенный саблею Вяземского, но впалые очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутых бровях лежал по-прежнему отпечаток непреклонного упрямства.

Вопреки обычаю двора, одежда его была *смирная*.

Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем те-

перь скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным; но поверхностному наблюдателю выражение Иоанна могло показаться благосклонным.

— Дружина Андреевич,— сказал он важно, но ласково,— я снял с тебя опалу; зачем ты в смирной одежде?

— Государь,— отвечал Морозов, продолжая стоять на коленях,— непригоже тому рядиться в парчу, у кого дом сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь,— продолжал он твердым голосом,— бью тебе челом в обиде моей на оружничего твоего, Афоньку Вяземского!

— Встань,— сказал царь,— и расскажи дело пó ряду. Коли кто из моих обидел тебя, не спущу я ему, будь он хотя самый близкий ко мне человек.

— Государь,— продолжал Морозов, не вставая,— вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей милости!

— Что ж,— сказал царь, как бы немного подумав,— просьба твоя дельная. Ответчик должен ведать, что́ говорит истец. Позвать Вяземского. А вы,— продолжал он, обращаясь к знакомцам, отошедшим на почтительное расстояние,— подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождет ответчика!

Со времени нападения на дом Морозова прошло более двух месяцев. Вяземский успел оправиться от ран. Он жил по-прежнему в Слободе, но, не ведая ничего об участи Елены, которую ни один из его рассыльных не мог отыскать, он был еще пасмурнее, чем прежде, редко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовал в пирах, и многим казалось, что в приемах его есть признаки помешательства. Иоанну не нравилось удаление его от общих молитв и общего веселья; но он, зная о неудачном похищении боярыни, приписывал поведение Вяземского мучениям любви и был к нему снисходителен. Лишь после разговора с Басмановым поведение это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова представляла удобный случай выведать многое через очную ставку, и вот почему он принял Морозова лучше, чем ожидали царедворцы.

Вскоре явился Вяземский. Наружность его также значительно изменилась. Он как будто постарел несколькими годами, черты лица сделались резче, и жизнь, каза-

лось, сосредоточилась в огненных и беспокойных глазах его.

— Подойди сюда, Афоня,— сказал царь.— Подойди и ты, Дружина. Говори, в чем твое челобитье. Говори прямо, рассказывай все как было.

Дружина Андреевич приблизился к царю. Стоя рядом с Вяземским, но не удостоивая его взгляда, он подробно изложил все обстоятельства нападения.

— Так ли было дело? — спросил царь, обращаясь к Вяземскому.

— Так! — сказал Вяземский, удивленный вопросом Иоанна, которому давно все было известно.

Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

— Как отчаялся ты на это? — сказал он, устремив на Вяземского строгий взор,— разве я дозволяю разбойничать моим опричникам?

— Ты знаешь, государь,— ответил Вяземский, еще более удивленный,— что дом разграблен не по моему указу, а что я увез боярыню, на то было у меня твое дозволение!

— Мое дозволение? — произнес царь, медленно выговаривая каждое слово.— Когда я дозволял тебе?

Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереться на намек Ивана Васильевича, сделанный ему иносказательно во время пира, намек, вследствие которого он почел себя вправе увезти Елену силою. Не отгадывая еще цели, с какою царь отказывался от своих поощрений, он понял, однако, что надобно изменить образ своей защиты. Не из трусости и не для сохранения своей жизни, которая, при переменчивом нраве царя, могла быть в опасности, решился Вяземский оправдаться. Он не потерял еще надежды добыть Елену, и все средства казались ему годными.

— Государь,— сказал он,— я виноват перед тобой, ты не дозволял мне увезти боярыню. Вот как было дело. Послал ты меня к Москве, снять опалу с боярина Морозова, а он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду за то, что еще до свадьбы спознался я с женою его. Как прибыл я к нему в дом, он и порешил вместе с Никитой Серебряным извести меня. После стола они с холопями напали на нас предательским обычаем; мы

же дали отпор, а боярыня-то Морозова, ведая мужнину злобу, побоялась остаться у него в доме и упросила меня взять ее с собою. Уехала она от него вольною волею, а когда я в лесу обеспамятовал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь взаперти, а может быть, и со свету сжил ее! Не ему,— продолжал Вяземский, бросив ревнивый взор на Морозова,— не ему искать на мне бесчестия. Я сам, государь, бью челом твоей милости на Морозова, что напал он на меня в доме своем вместе с Никитой Серебряным!

Царь не ожидал такого оборота. Клевета Вяземского была очевидна, но в расчет Иоанна не вошло ее обнаружить. Морозов в первый раз взглянул на врага своего.

— Лжешь ты, окаянный пес! — сказал он, окидывая его презрительно с ног до головы,— каждое твое слово есть негодная ложь; а я в своей правде готов крест целовать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мне жену мою, с которою повенчан я по закону христианскому!

Иоанн посмотрел на Вяземского.

— Что скажешь ты на это? — спросил он, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

— Я уже говорил тебе, государь, что увез боярыню по ее же упросу; а когда я на дороге истек кровью, холопи мои нашли меня в лесу без памяти. Не было при мне ни коня моего, ни боярыни, перенесли меня на мельницу, к знахарю; он-то и зашептал кровь. Боле ничего не знаю.

Вяземский не думал, что, упоминая о мельнице, он усилит в Иоанне зародившееся подозрение и придаст вероятие наговору Басманова; но Иоанн не показал вида, что обращает внимание на это обстоятельство, а только записал его в памяти, чтобы воспользоваться им при случае; до поры же до времени затаил свои мысли под личиною беспристрастия.

— Ты слышал? — сказал он Вяземскому,— боярин Дружина готов в своих речах крест целовать? Как очистишься перед ним?

— Боярин волен говорить,— ответил Вяземский, решившийся во что бы ни стало вести свою защиту до

конца,— он волен клепать на меня, а я ищу на нем моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать.

По собранию пробежал ропот. Все опричники знали, как совершилось нападение, и сколь ни закоренели они в злодействе, но не всякий из них решился бы присягнуть ложно.

Сам Иоанн изумился дерзости Вяземского; но в тот же миг он понял, что может через нее погубить ненавистного Морозова и сохранить при том вид строгого правосудия.

— Братия! — сказал он, обращаясь к собранию,— свидетельствуюсь вами, что я хотел узнать истину. Не в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в одном и том же деле две стороны не могут крест целовать. Один из противников солживит свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящий овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом божиим. От сего числа через десять ден назначаю им поле, здесь в Слободе, на Красной площади. Пусть явятся с своими стряпчими и поручниками. Кому бог даст одоление, тот будет чист и передо мною, а кто не вынесет боя, тот, хотя бы и жив остался, тут же приимет казнь от рук палача!

Решение Иоанна произвело в собрании сильное впечатление. Во мнении многих оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарелый боярин устоял против молодого и сильного Вяземского. Все ожидали, что он откажется от поединка или, по крайней мере, попросит позволения поставить вместо себя наемного бойца. Но Морозов поклонился царю и сказал спокойным голосом:

— Государь, пусть будет по-твоему! Я стар и хвор, давно не надевал служилой брони; но в божьем суде не сила берет, а правое дело! Уповаю на помощь господа, что не оставит он меня в правом деле моем, покажет пред твоею милостью и пред всеми людьми неправду врага моего!

Услыша царский приговор, Вяземский было обрадовался, и очи его уже запылали надеждой; но уверенность Морозова немного смутила его. Он вспомнил, что по общепринятому понятию, в судном поединке бог неминуемо

дарует победу правой стороне, и невольно усумнился в своем успехе.

Однако, подавив минутное смущение, он также поклонился царю и произнес:

— Да будет по-твоему, государь!

— Ступайте,— сказал Иоанн,— ищите себе поручников, а через десять ден, с восходом солнца, будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержит боя!

Бросив на обоих глубокий необъяснимый взор, царь встал и удалился во внутренние покои, а Морозов вышел из палаты, полный достоинства, в сопровождении своих знакомцев, не глядя на окружающих его опричников.

ГЛАВА 30

ЗАГОВОР НА ЖЕЛЕЗО

На следующий день Вяземский уехал к Москве.

Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость; но дело шло об Елене. Поединок был не простой; исход его зависел от суда божия, а князь знал свою неправость, и сколь ни показался бы ему Морозов презрителен в обыкновенной схватке, но в настоящем случае он опасался небесного гнева, страшился, что во время боя у него онемеют или отымутся руки. Опасение это было тем сильнее, что недавно зажившие раны еще причиняли ему боль и что по временам он чувствовал слабость и изнеможение. Князь не хотел ничем пренебрегать, чтоб упрочить за собою победу, и решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сделать чрез колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волнений, ехал он по́ лесу шагом, наклоняясь время от времени на седле и разбирая тропинки, заросшие папоротником. После многих поворотов попал он на более торную дорогу, осмотрелся, узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Вскоре послышался шум колеса. Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он

остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике, подошел к мельнице пешком. У самого сруба стоял чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною, готовясь сесть в седло.

— Будешь доволен, боярин,— говорил ему мельник, утвердительно кивая головою,— будешь доволен, батюшка! Войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский, и все твои вороги! Будь спокоен, уж противу тирлича-травы ни один не устоит!

— Добро,— отвечал посетитель, взлезая на коня,— а ты, старый черт, помни наш уговор: коли не будет мне удачи, повешу тебя как собаку!

Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шумело так сильно, что он остался в недоумении кто именно был говоривший.

— Как не быть удаче, как не быть, батюшка,— продолжал мельник, низко кланяясь,— только не сымай с себя тирлича-то; а когда будешь с царем говорить, гляди ему прямо и весело в очи; смело гляди ему в очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, как прежде говаривал, так будь я анафема, коли опять в честь не войдешь!

Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского, проехал мимо его рысью.

Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его закипело. Занятый одною мыслью об Елене, он не обратил внимания на речи мельника, но, услышав свое имя, подумал, что видит в Басманове нового неожиданного соперника.

Мельник между тем, проводив глазами Басманова, присел на завалинку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как вдруг почувствовал на плече своем тяжелую руку.

Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встретились с черными глазами Вяземского.

— О чем ты, колдун, с Басмановым толковал? — спросил Вяземский.

— Ба... ба... батюшка! — произнес мельник, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются,— батюшка, князь Афанасий Иваныч, как изволишь здравствовать?

— Говори! — закричал Вяземский, схватив мельника за горло и таща его к колесу,— говори, что вы про меня толковали?

И он перегнул старика над самым шумом.

— Родимый! — простонал мельник,— все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяние.

— Зачем приезжал к тебе Басманов?

— За корнем, батюшка, за корнем! А я ведь знал, что ты тут, я знал, что ты все слышишь, батюшка; затем-то я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что Басманов хочет погубить твою милость!

Вяземский отшвырнул мельника от става.

Старик понял, что миновался первый порыв его гнева.

— Какой же ты, родимый, сердитый! — сказал он, поднимаясь на ноги.— Говорю тебе, я знал, что твоя милость близко; я с утра еще ожидал тебя, батюшка!

— Ну, что же хочет Басманов? — спросил князь смягченным голосом.

Мельник между тем успел совершенно оправиться.

— Да, вишь ты,— сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение,— говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит и что тебе, да Годунову Борису Федорычу, да Малюте Скурлатову только и идет от него ласка. Ну, и пристал ко мне, чтобы дал ему тирлича. Дай, говорит, тирлича, чтобы мне в царскую милость войти, а их чтобы разлюбил царь и опалу чтобы на них положил! Что ты будешь с ним делать! Пристал с ножом к горлу, вынь да положь; не спорить мне с ним! Ну и дал я ему корешок, да и корешок-то, батюшка, дрянной. Так, завалящий корешишка дал ему, чтобы только жива оставил. Стану я ему тирлича давать, чтобы супротив тебя его царь полюбил!

— Черт с ним! — сказал равнодушно Вяземский.— Какое мне дело, любит ли царь его или нет! Не за тем я сюда приехал. Узнал ли ты что, старик, про боярыню?

— Нет, родимый, ничего не узнал. Я и гонцам твоим говорил, что нельзя узнать. А уж как старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядел под колесо.

Вижу, едет боярыня по лесу, сам-друг со старым человеком; сама такая печальная, а стар человек ее утешает, а боле ничего и не видно; вода замутится, и ничего боле не видно!

— Со старым человеком? Стало быть, с Морозовым? С мужем своим?

— Нет, не должно быть: Морозов будет подороднее, да и одежа-то его другая. На этом простой кафтан, не боярский; должно быть, простой человек!

Вяземский задумался.

— Старик! — сказал он вдруг,— умеешь ты сабли заговаривать?

— Как не уметь, умею. Да тебе на что, батюшка? Чтобы рубила сабля али чтоб тупилась от удара?

— Вестимо, чтобы рубила, леший!

— А то, бывает, заговаривают вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

— Мне не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду биться на́ поле, так надо мне во что бы ни стало супротивника убить, слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу! Как не слышать! — И старик начал про себя думать: «С кем же это он будет биться? Кто его враги? Уж не с Басмановым ли? Навряд ли! Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь не такой человек, чтоб умел скрывать свои мысли. Разве с Серебряным?» Но мельник знал через Михеича, что Серебряный вкинут в тюрьму, а от посланных Вяземского, да и от некоторых товарищей Перстня слышал, что станичники освободили Никиту Романыча и увели с собой; стало быть, не с Серебряным. Остается один боярин Морозов. Он за похищение жены мог вызвать Вяземского. Правда, он больно стар, да и в судном поединке дозволяется поставить вместо себя другого бойца. «Стало быть, расчел мельник, князь будет биться или с Морозовым, или с наймитом его».— Дозволь, батюшка,— сказал он,— воды зачерпнуть, твоего супостата посмотреть!

— Делай как знаешь,— возразил Вяземский и сел, в раздумье, на сваленный пень.

Мельник вынес из каморы бадью, опустил ее под самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя.

— Эх, эх! — сказал он, нагнувшись над бадьей и гля-

дя в нее пристально,— видится мне твой супротивник, батюшка, только в толк не возьму! Больно он стар. А вот и тебя вижу, батюшка, как ты сходишься с ним...

— Что ж? — спросил Вяземский, тщетно стараясь увидеть что-нибудь в бадье.

— Ангелы стоят за старика,— продолжал мельник таинственно и как бы сам удивленный тем, что он видит,— небесные силы стоят за него; трудно будет заговорить твою саблю!

— А за меня никто не стоит? — спросил князь с невольною дрожью.

Мельник смотрел все пристальнее, глаза его сделались совершенно неподвижны; казалось, он, начав морочить Вяземского, был поражен действительным видением и ему представилось что-то страшное.

— И у твоей милости,— сказал он шепотом,— есть защитники... А вот теперь уж ничего не вижу, вода потемнела!

Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный пот катился со лба его.

— Есть и у тебя защитники, батюшка,— прошептал он боязливо.— Можно будет заговорить твое оружие.

— На,— сказал князь, вынимая из ножен тяжелую саблю,— на, заговаривай!

Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил в нее рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил лезвеё острием вверх и начал ходить кругом, причитывая вполголоса:

— «Выкатило солнышко из-за́ моря Хвалынского, восходил месяц над градом каменным, а в том граде каменном породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитятко, цел-невредим — от стрел и мечей, от бойцов и борцов. Опоясывала меня матушка мечом-кладенцом. Ты, мой меч-кладенец, вертись и крутись, ты вертись и крутись, как у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь, и уклад, и железо, и медь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а вражьи удары чтобы прядали от тебя, как камни от воды, и чтобы не было тебе от них ни царапины, ни зазубрины! Заговариваю раба Афанасья, опоясываю мечом-кладенцом. Чур слову конец, моему делу венец!»

Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с рукояти землю и бережно обтерев ее полою.

— Возьми, батюшка, князь Афанасий Иваныч. Будет она тебе служить, лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул!

— А если окунет?

— Что ж делать, батюшка! Против святой воды наговорное железо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного, ты его в мешочке на шею повесь, так у ворога у своего глаза отведешь.

— Подавай голубец! — сказал Вяземский.

— Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалею.

Старик сходил опять в камору и принес князю что-то зашитое в тряпице.

— Дорого оно мне досталось,— сказал он, как бы жалея выпустить из рук тряпицу,— трудно его добывать. Как полезешь за ним не в урочный час в болото, такие на тебя нападут страхи, что господи упаси!

Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику мошну с золотыми.

— Награди господь твою княжескую милость! — сказал старик, низко кланяясь.— Только, батюшка, дозволь еще словцо тебе молвить: теперь уже до поединка-то в церковь не ходи, обедни не слушай; не то, чего доброго! и наговор-то мой с лезвея́ соскочит.

Вяземский ничего не отвечал и направился было к месту, где привязал коня, но вдруг остановился.

— А можешь ты,— сказал он,— наверно узнать, кто из нас жив останется?

— Мельник замялся.

— Да, должно быть, ты, батюшка! Как тебе живу не остаться! Я тебе и прежде говаривал: не от меча твоей милости смерть написана!

— Посмотри еще раз в бадью!

— Что ж еще смотреть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то уж помутилась.

— Зачерпни свежей воды! — сказал Вяземский повелительно.

Мельник повиновался нехотя.

— Ну, что там видно? — спросил князь нетерпеливо.

Старик с приметным отвращением нагнулся над бадьею.

— Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего! — сказал он, бледнея,— видна площадь, народу полна; много голов на кольях торчит; а в стороне костер догорает и человеческие кости к столбу прикованы!

— Чьи головы на кольях торчат? — спросил Вяземский, пересиливая невольный страх.

— Не вижу, батюшка, все опять помутилось; один костер еще светится, да кости чьи-то висят у столба!

Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с трудом отвел взор от бадьи Его дергали судороги, пот катился с лица его; он, стоная и охая, дотащился до завалины и упал на нее в изнеможении

Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и, полный раздумья, поехал к Москве.

ГЛАВА 31

БОЖИЙ СУД

В отсутствие Вяземского Малюте было поручено важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших слуг князя Афанасья Ивановича и пытать их накрепко, ездил ли господин их на мельницу колдовать, и сколько раз он был на мельнице, и что именно замышляет противу его государского, здравия?

Бо́льшая часть слуг не созналась ни в чем, но некоторые не выдержали пытки и показали все то, что Малюта вложил им в уста Показали они, что князь ездил на мельницу с тем, чтоб испортить государя, что он вымал царские следы и жег их на огне; а некоторые показали даже, что Вяземский мыслит ко князю Владимиру Андреевичу и хочет посадить его на царский престол Сколь ни были нелепы эти показания, они тщательно записывались дьяками со слов истязаемых и прочитывались царю. Верил ли им Иван Васильевич или нет — бог весть! Но он строго приказал Малюте, по возвращении Вяземского, скрыть от него причину, по которой

захвачены его слуги, а сказать, что взяты-де они по подозрению в воровстве из царских кладовых.

В показаниях их, однако, было много противоречий, и Иоанн послал за Басмановым, чтобы заставить его повторить все, что он, по доносу своему, слышал от холопей Вяземского.

Басманова не нашли в Слободе. Он накануне уехал к Москве, и царь опалился, что осмелился он отлучиться вопреки его приказанию. Малюта воспользовался этим, чтобы взвести подозрение на самого Басманова.

— Кто знает, государь,— сказал Скуратов,— зачем он ослушался твоей милости? Быть может, он заодно с Вяземским и только для виду донес на него, чтобы вернее погубить тебя!

Царь велел Малюте пока молчать обо всем и, когда воротится Басманов, не показывать ему вида, что его отсутствие было замечено.

Между тем настал день, назначенный для судного поединка. Еще до восхода солнца народ столпился на Красной площади; все окна были заняты зрителями, все крыши ими усыпаны. Весть о предстоящем бое давно разнеслась по окрестностям. Знаменитые имена сторон привлекли толпы из разных сел и городов, и даже от самой Москвы приехали люди всех сословий посмотреть, кому господь дарует одоление в этом деле.

— Ну-ка, брат,— говорил один щегольски одетый гусляр своему товарищу, дюжему молодому парню с добродушным, но глуповатым лицом,— ступай вперед, авось тебе удастся продраться до цепи. Эх, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и нам, владимирцам, на суд божий посмотреть!

Но увещания его оставались безуспешны. Толпа была так густа, что и при добром желании не было бы возможности посторониться.

— Да ступай же, тюлень ты этакий! — повторил гусляр, толкая товарища в спину,— аль не сумеешь продраться?

— А для ча! — отвечал вялым голосом детина.

И, выставив вперед дюжее плечо свое, он принялся раздвигать толпу, словно железным клином. Раздались крики и ругательства, но оба товарища подвигались вперед, не обращая на них внимания.

— Правей, правей! — говорил старший,— чего стал влево забирать, дурень? Сверли туда, где копья торчат!

Место, на которое указывал гусляр, было приготовлено для самого царя. Оно состояло из дощатого помоста, покрытого червленым сукном. На нем были поставлены царские кресла, а торчавшие там копья и рогатины принадлежали опричникам, окружавшим помост. Другие опричники стояли у цепи, протянутой вокруг *поля*, то есть просторного места, приготовленного для конного или пешего боя, смотря по уговору бойцов. Они отгоняли народ бердышами и не давали ему напирать на́ цепь.

Подвигаясь вперед шаг за шагом, гусляр и дюжий парень добрались наконец до самого поля.

— Куда лезете! — закричал один опричник, замахнувшись на них бердышем.

Парень разинул рот и в недоуменье обернулся на своего товарища, но тот снял обеими руками свой поярковый грешневик, обвитый золотою лентой с павлиным пером, и, кланяясь раз за разом в пояс, сказал опричнику:

— Дозвольте, господа честные, владимирским гуслярам суд божий посмотреть! От самого от города Володимира пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво заискивающею улыбкой он выказывал изпод черной бороды свои белые зубы.

— Ну, так и быть! — сказал опричник,— назад уж не пролезете; стойте здесь; только чур вперед не подаваться, башку раскрою!

Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярин и окольничий, приставленные к полю, и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Один из дьяков держал развернутый судебник Владимира Гусева, изданный еще при великом князе Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим о предвиденных случаях поединка.

— «А досудятся до́ поля,—читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике,— а у поля не стояв, помирятся...» — как дьяка прервали восклицания толпы.

— Царь едет! Царь едет! — говорили все, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множеством опричников, Иван Василье-

вич подъехал верхом к месту поединка, слез с коня, взошел по ступеням помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла с видом человека, готовящегося смотреть на занимательное зрелище.

Позади и около него разместились стоя царедворцы.

В то же время на всех слободских церквах зазвонили колокола, и с двух противоположных концов въехали во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в боевых нарядах. На Морозове был дощатый доспех, то есть стальные бахтерцы из наборных блях, наведенных через ряд серебром. На́ручи, рукавицы и поно́жи блестели серебряными разводами. Голову покрывал высокий шишак с серебром и чернью, а из-под венца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрепленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висел на узорном поясе, застегнутом крюком, широкий прямой тесак, которого крыж, ножновые обоймицы и наконечник были также серебряные. К правой стороне седла привешен был концом вниз золоченый шестопер, оружие и знак достоинства, в былые годы неразлучный с боярином в его славных битвах, но ныне, по тяжести своей, вряд ли кому по руке.

Под Морозовым был грудастый черно-пегий конь с подпалинами. Его покрывал бархатный малиновый чалдар, весь в серебряных бляхах. От кованого налобника падали по сторонам малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а из-под шеи до самой груди висела такая же кисть, больше и гуще первых, называвшаяся наузом. Узда и поводья состояли из серебряных цепей с плоскими вырезными звеньями неравной величины.

Мерно шел конь, подымая косматые ноги в серебряных наколенниках, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевич остановил его саженях в пяти от своего противника, он стал трясти густою волнистою гривой, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпеливо рыть песок сильным копытом, выказывая при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь был подобран под стать дородного всадника, и даже белый цвет его гривы согласовался с седою бородой боярина.

Вооружение Вяземского было гораздо легче. Еще страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни зерцала, ни бахтерцов, хотя они и считались самою надежною броней, но предпочел им легкую кольчугу. Ее ожерелье, подол и зарукавья горели дорогими каменьями. Вместо шишака на князе была ерихонка, то есть низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвесно железная золоченая стрела, предохранявшая лицо от поперечных ударов; но Вяземский, из удальства, не спустил стрелы, а напротив, поднял ее посредством щурепца до высоты яхонтового снопа, так что бледное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрела походила на золотое перо, щегольски воткнутое в полку ерихонки. На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги и украшенном разными привесками, звенцами и бряцальцами, висела кривая сабля, вся в дорогих каменьях, та самая, которую заговорил мельник и на которую теперь твердо надеялся Вяземский. У бархатного седла фиолетового цвета с горощатыми серебряными гвоздями и с такими же коваными скобами прикреплен был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках. Из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шелковая рубаха с золотым шитьем, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета, всунутые в зеленые сафьянные сапоги, которых узорные голенищи, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток жемчужною тесьмою.

Конь Афанасья Ивановича, золотисто-буланый аргамак, был весь увешан, от головы до хвоста, гремячими цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненом налобнике горели в золотых гнездах крупные яхонты. Сухие черные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой из них, под бабкой, звенело по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржание аргамака. Теперь, подняв голову, раздув огненные ноздри и держа черный хвост на отлете, он сперва лег-

кою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстречу коню Морозова; но когда князь, не съезжаясь с противником, натянул гремучие поводья, аргамак прыгнул в сторону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким поворотом не заставил его вернуться на прежнее место. Тогда он взвился на дыбы и, крутясь на задних ногах, норовил опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые кизилбашские стремена. Аргамак сделал скачок и остановился как вкопанный. Ни один волос его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонам, и по золотистой шерсти разбегались надутые жилы узорною сеткой.

При появлении Вяземского, когда он въехал, гремя и блестя и словно обрызганный золотым и алмазным дождем, владимирский гусляр не мог удержаться от восторга; но удивление его относилось еще более к коню, чем ко всаднику.

— Эх, конь! — говорил он, топая ногами и хватаясь в восхищении за голову,— экий конь! подумаешь. И не видывал такого коня! Ведь всякие перебывали, а небось такого бог не послал! Что бы,— прибавил он про себя,— что бы было в ту пору этому седоку, как он есть, на Поганую Лужу выехать! Слышь ты,— продолжал он весело, толкая локтем товарища,— слышь ты, дурень, который конь тебе боле по́ сердцу?

— А тот! — отвечал парень, указывая пальцем на морозовского коня.

— Тот! А зачем же тот?

— А затем, что поплотняе! — ответил парень лениво.

Гусляр залился смехом, но в это время раздался голос бирючей:

— Православные люди! — кричали они в разные концы площади,— зачинается судный бой промеж оружничего царского, князь Афанасья Иваныча Вяземского и боярина Дружины Андреича Морозова. Тягаются они в бесчестии своем, в бою и увечье, и в увозе боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь пресвятой троице, дабы даровала она одоление правой стороне!

Площадь затихла. Все зрители стали креститься, а боярин, приставленный ведать поединок, подошел к царю и проговорил с низким поклоном:

— Прикажешь ли, государь, зачинаться полю?

— Зачинайте! — сказал Иоанн.

Боярин, окольничий, поручники, стряпчие и оба дьяка отошли в сторону.

Боярин подал знак.

Противники вынули оружие.

По другому знаку надлежало им скакать друг на друга, но, к изумлению всех, Вяземский закачался на седле и выпустил из рук поводья. Он свалился бы на землю, если б поручник и стряпчий не подбежали и не помогли ему сойти с коня. Подоспевшие конюхи успели схватить аргамака под уздцы.

— Возьмите его! — сказал Вяземский, озираясь померкшими очами,— я буду биться пешой!

Видя, что князь сошел с коня, Морозов также слез с своего черно-пегого и отдал его конюхам.

Стряпчий Морозова подал ему большой кожаный щит с медными бляхами, приготовленный на случай пешего боя.

Стряпчий Вяземского поднес ему также щит, вороненый, с золотою насечкой и золотою бахромой.

Но Афанасий Иванович не имел силы вздеть его на руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично, если б его не подхватили.

— Что с тобой, князь? — сказали в один голос стряпчий и поручник, с удивлением глядя ему в очи,— оправься, князь! У поля не стоять, все равно, что побиту быть!

— Сымите с меня бронь! — проговорил Вяземский, задыхаясь,— сымите бронь! Корень душит меня!

Он сбросил с себя ерихонку, разорвал ожерелье кольчуги и сдернул с шеи гайтан, на котором висела шелковая ладанка с болотным голубцом.

— Анафема тебе, колдун! — вскричал он, бросая гайтан далеко от себя,— анафема, что обманул меня!

Дружина Андреевич подошел к Вяземскому с голым тесаком.

— Сдавайся, пес,— сказал он, замахнувшись,— сознайся в своем окаянстве!

Поручники и стряпчие бросились между князя и Морозова.

— Нет! — сказал Вяземский, и отуманенный взор его вспыхнул прежнею злобою,— рано мне сдаваться! Ты,

старый ворон, испортил меня! Ты свой тесак в святую воду окунул! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидим, чья будет правда!

Между стряпчими обеих сторон зачался спор. Один утверждал, что суд окончен в пользу Морозова, другой, что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь между тем заметил движение Вяземского и велел подать себе брошенную им ладанку. Осмотрев ее с любопытством и недоверчивостью, он подозвал Малюту.

— Схорони это! — шепнул он,— пока не спрошу! А теперь,— произнес он громко,— подвести ко мне Вяземского!

— Что, Афоня? — сказал он, усмехаясь двусмысленно, когда подошел к нему Вяземский,— видно, Морозов тебе не под силу?

— Государь,— ответил князь, которого лицо было покрыто смертельною бледностью,— ворог мой испортил меня! Да к тому ж я с тех пор, как оправился, ни разу брони не надевал. Раны мои открылись; видишь, как кровь из-под кольчуги бежит! Дозволь, государь, бирюч кликнуть, охотника вызвать, чтобы заместо меня у поля стал!

Домогательство Вяземского было противно правилам. Кто не хотел биться сам, должен был объявить о том заране. Вышедши раз на поединок, нельзя было поставить вместо себя другого. Но царь имел в виду погибель Морозова и согласился.

— Вели кричать бирюч,— сказал он,— авось кто поудалее тебя найдется! А не выйдет никто, Морозов будет чист, а тебя отдадут палачам!

Вяземского отвели под руки, и вскоре, по приказанию его, глашатаи стали ходить вдоль цепи и кричать громким голосом:

— Кто хочет из слободских, или московских, или иных людей выйти на боярина Морозова? Кто хочет биться за князя Вяземского? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземского!

Но площадь оставалась безмолвна, и ни один охотник не являлся.

— Выходите, охотники, добрые бойцы! — кричали бирючи,— выходите! Кто побьет Морозова, тому князь

все свои вотчины отдаст, а будет побьет простой человек, тому князь пожалует всю казну, какая есть у него!

Никто не откликался; все знали, что дело Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою к Дружине Андреевичу, уже готовился объявить его правым, как вдруг послышались крики:

— Идет охотник! Идет! — И внутри оцепленного места явился Матвей Хомяк.

— Гойда! — сказал он, свистнув саблею по воздуху.— Подходи, боярин, я за Вяземского!

При виде Хомяка Морозов, дожидавшийся доселе с голым тесаком, обратился с негодованием к приставам поединка.

— Не стану биться с наймитом! — произнес он гордо.— Невместно боярину Морозову меряться со стремянным Гришки Скуратова.

И, опустив тесак в ножны, он подошел к месту, где сидел царь.

— Государь,— сказал он,— ты дозволил ворогу моему поставить бойца вместо себя; дозволь же и мне найти наймита против наймита, не то вели отставить поле до другого раза.

Как ни желал Иван Васильевич погубить Морозова, но просьба его была слишком справедлива. Царю не захотелось в божьем суде прослыть пристрастным.

— Кричи бирюч! — сказал он гневно,— а если не найдешь охотника, бейся сам или сознайся в своей кривде и ступай на плаху!

Между тем Хомяк прохаживался вдоль цепи, махая саблей и посмеиваясь над зрителями.

— Вишь,—говорил он,—много вас, ворон, собралось, а нет ни одного ясного сокола промеж вас! Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потешить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи лежа, бока отлежали!

— Ах ты черт! — проговорил вполголоса гусляр,— уж я б тебе дал, кабы была при мне моя сабля! Смотри! — продолжал он, толкая под бок товарища,— узнаешь ты его?

Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и, казалось, впился глазами в Хомяка.

— Что ж? — продолжал Хомяк,— видно, нет между вами охотников? Эй вы, аршинники, калашники, пряхи, ткачихи? Кто хочет со мной померяться?

— А я! — раздался неожиданно голос парня, и, ухватясь обеими руками за́ цепь, он перекинул ее через голову и чуть не вырвал дубовых кольев, к которым она была приделана.

Он очутился внутри ограды и, казалось, сам был удивлен своею смелостью.

Выпучив глаза и разиня рот, он смотрел то на Хомяка, то на опричников, то на самого царя, но не говорил ни слова.

— Кто ты? — спросил его боярин, приставленный к полю.

— Я-то?—сказал он и, подумав немного, усмехнулся.

— Кто ты? — повторил боярин.

— А Митька! — ответил он добродушно и как бы удивляясь вопросу.

— Спасибо тебе, молодец! — сказал Морозов парню,— спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолеешь ворога моего, не пожалею для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря божьей милости, есть еще чем бойца моего наградить!

Хомяк видел Митьку на Поганой Луже, где парень убил под ним коня ударом дубины и, думая навалиться на всадника, притиснул под собою своего же товарища. Но в общей свалке Хомяк не разглядел его лица, да, впрочем, в Митькиной наружности и не было ничего примечательного. Хомяк не узнал его.

— Чем хочешь ты драться? — спросил приставленный к полю боярин, глядя с любопытством на парня, у которого не было ни брони, ни оружия.

— Чем драться? — повторил Митька и обернулся назад, отыскивая глазами гусляра, чтобы с ним посоветоваться.

Но гусляр, видно, отошел на другое место, и сколько ни глядел Митька, он не мог найти его.

— Что ж,— сказал боярин,— бери себе саблю да бронь, становись к полю!

Митька стал озираться в замешательстве.

Царю показались приемы его забавными.

— Дать ему оружие! — сказал он.— Посмотрим, как он умеет биться!

Митьке подали полное вооружение; но он, сколько ни старался, никак не мог пролезть в рукава кольчуги, а шлем был так мал для головы его, что держался на одной макушке.

В этом наряде Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налево, все еще надеясь найти гусляра и спросить его, что ему делать?

Глядя на него, царь начал громко смеяться. Примеру его последовали сперва опричники, а потом и все зрители.

— Чаво вы горла дярете-то? — сказал Митька с неудовольствием,— я и без вашего колпака и без железной рубахи-то на энтова пойду!

Он указал пальцем на Хомяка и начал стаскивать с себя кольчугу.

Раздался новый хохот.

— С чем же ты пойдешь? — спросил боярин.

Митька почесал затылок.

— А нет у вас дубины? — спросил он протяжно, обращаясь к опричникам.

— Да что это за дурень? — вскричали они,— откуда он взялся? Кто его втолкнул сюда? Или ты, болван, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иван Васильевич забавлялся наружностью Митьки и не позволил прогнать его.

— Дать ему ослоп,— сказал он,— пусть бьется как знает!

Хомяк обиделся.

— Государь, не вели мужику на холопа твоего поруки класть! — воскликнул он.— Я твоей царской милости честно в опричниках служу и сроду еще на ослопах не бился!

Но царь был в веселом расположении духа.

— Ты бейся саблей,— сказал он,— а парень пусть бьется по-своему.— Дай ему ослоп. Посмотрим, как мужик за Морозова постоит!

Принесли несколько дубин.

Митька взял медленно в руки одну за другой, осмотрел каждую и, перебрав все дубины, повернулся прямо к царю.

— А нет ли покрепчае? — произнес он вялым голосом, глядя вопросительно в очи Ивану Васильевичу.

— Принести ему оглоблю,— сказал царь, заранее потешаясь ожидающим его зрелищем.

Вскоре в самом деле явилась в руках Митьки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули насмех из стоявшего на базаре воза.

— Что, эта годится? — спросил царь.

— А для ча! — отвечал Митька,— пожалуй, годится.

И, схватив оглоблю за один конец, он для пробы махнул ею по воздуху так сильно, что ветер пронесся кругом и пыль закружилась, как от налетевшего вихря.

— Вишь, черт! — промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился к Хомяку.

— Становись! — сказал он повелительно и прибавил с усмешкой: — Погляжу я, как ты увернешься от мужицкого ослопа!

Митька между тем засучил рукава, плюнув в обе руки и сжавши ими оглоблю, потряхивал ею, глядя на Хомяка. Застенчивость его исчезла.

— Ну, ты! становись, што ли! — произнес он с решимостью.— Я те научу нявест красть!

Положение Хомяка, ввиду непривычного оружия и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а зрители очевидно принимали сторону парня и уже начинали посмеиваться над Хомяком.

Замешательство стремянного веселило царя. Он уже смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытством, какое возбуждали в нем представления скоморохов или медвежья травля.

— Зачинайте бой! — сказал он, видя, что Хомяк колеблется.

Тогда Митька поднял над головою оглоблю и начал кружить ее, подступая к Хомяку скоком.

Тщетно Хомяк старался улучить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспешно сторониться или увертываться от оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и делала его недосягаемым.

К великой радости зрителей и к немалой потехе царя, Хомяк стал отступать, думая только о своем спасении; но Митька с медвежьею ловкостью продолжал к нему подскакивать, и оглобля, как буря, гудела над его головою.

— Я те научу нявест красть! — говорил он, входя постепенно в ярость и стараясь задеть Хомяка по голове, по ногам и по чем ни попало.

Участие зрителей к Митьке проявлялось одобрительными восклицаниями и наконец дошло до восторга.

— Так! Так! — кричал народ, забывая присутствие царя,— хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дело!

Но Митька думал не о Морозове.

— Я те научу нявест красть! — приговаривал он, кружа над собою оглоблю и преследуя Хомяка, который увивался от него во все стороны.

Несколько раз опричникам, стоявшим вдоль цепи, пришлось присесть к земле, чтоб избегнуть неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась над их головами.

Вдруг раздался глухой удар, и Хомяк, пораженный в бок, отлетел на несколько сажен и грянулся оземь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостным криком.

Митька тотчас навалился на Хомяка и стал душить его.

— Полно! Полно! — закричали опричники, а Малюта поспешно нагнулся к Ивану Васильевичу и сказал ему с озабоченным видом:

— Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомяк у нас лучший человек во всей опричнине!

— Тащить дурака зá ноги! — закричал царь,— окатить его водой, только чур жива оставить!

С трудом удалось опричникам оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертвого, и когда внимание всех обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой очутился владимирский гусляр и, дернув его зá полу, сказал ему шепотом:

— Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!

И оба исчезли в толпе народа.

ГЛАВА 32

ЛАДАНКА ВЯЗЕМСКОГО

Иван Васильевич велел подозвать Морозова.

Площадь снова затихла. Все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание.

— Боярин Дружина! — сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места,— ты божьим судом очистился предо мною.— Господь бог, чрез одоление врага твоего, показал твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уезжай из Слободы до моего приказа. Но это,— продолжал мрачно Иоанн,— только половина дела. Еще самый суд впереди. Привести сюда Вяземского!

Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом.

— Афоня,— сказал он наконец,— тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из вас, кто сам собой или чрез бойца своего не устоит у поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня!

— Что ж,— ответил Вяземский с решимостью,— вели мне голову рубить, государь!

Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна.

— Только голову рубить? — произнес он злобно.— Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал, но на тебе еще другая кривда и другое окаянство.— Малюта, подай сюда его ладанку!

И, приняв из рук Малюты гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его за кончик.

— Это что? — спросил он, страшно глядя в очи Вяземского.

Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени.

— Раб лукавый! — произнес он грозно, и по жилам присутствующих пробежал холод,— раб лукавый! Я приблизил тебя ко престолу моему; я возвеличил тебя и осыпал милостями; а ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем, аки аспид, задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижием хотел извести меня, и затем, должно быть, ты в опричнину просился? Что есть опричнина? — продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая

голос, дабы весь народ мог услышать его.— Я, аки господин винограда, поставлен господом богом над народом моим возделывати виноград мой. Бояре же мои, и Дума, и советники, не захотели помогать мне и замыслили погубить меня; тогда взял я от них виноград мой и отдал другим делателям. И се есть опричнина! Званные мною на пир не пришли, и я послал на торжища и на исходища путей и повелел призывать елицех, какие обретутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всех: что заслужил себе гость, пришедший на пир, но не облекшийся в одеяние брачное? Как сказано о нем в Писании? «Связавше ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную: ту будет плач и скрежет зубов!»

Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым падением сильного любимца.

Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слова в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений, да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя он и старался скрыть его под личиною равнодушия.

Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решился перенесть терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин.

— Отведите его! — сказал царь.— Я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колдуна, с которым спознался он, отыскать и привести в Слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания. Велика злоба князя мира сего,— продолжал Иоанн, подняв очи к небу,— он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрати мя, и даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость божию и, с помощию господа, не дам укорениться измене на Руси!

Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричников.

Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках.

— Не взыщи, князь! — сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад,— наше дело холопское!

И, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму.

Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно многолюдная площадь.

ГЛАВА 33

ЛАДАНКА БАСМАНОВА

Вяземский был подвергнут допросу, но никакие мучения не заставили его выговорить ни одного слова. С необыкновенною силою воли переносил он молча бесчеловечные истязания, которыми Малюта старался вынудить у него сознание в замысле на государя. Из гордости, из презрения или потому, что жизнь ему опротивела, он даже не попытался ослабить клевету Басманова, показав, что его и самого он встретил на мельнице.

По приказанию царя мельника схватили и тайно привезли в Слободу, но к пытке его не приступали.

Басманов приписал успех своего доноса действию тирлича, который он всегда носил на себе, и тем более убедился в его чародейной силе, что Иоанн не показывал ни малейшего подозрения и что хотя по-прежнему посмеивался над Басмановым, но был к нему довольно ласков.

Погубив одного из своих соперников, видя рождающееся вновь расположение к себе Ивана Васильевича и не зная, что мельник уже сидит в слободской тюрьме. Басманов сделался еще высокомернее. Он, следуя данным ему наставлениям, смело глядел в очи царя, шутил с ним свободно и дерзко отвечал на его насмешки.

Иван Васильевич все сносил терпеливо.

Однажды, в один из своих обычных объездов, он с ближайшими любимцами, в том числе и с обоими Басмановыми, отслушав в соседнем монастыре раннюю обедню, зашел к настоятелю в келью и удостоил его принять угощение.

Царь сидел на скамье под образами, любимцы, исключая Скуратова, которого не было в объезде, стояли у стен, а игумен, низко кланяясь, ставил на стол медовые соты, разное варенье, чаши с молоком и свежие яйца.

Царь был в добром расположении духа; он отведывал от каждого блюда, милостиво шутил и вел душеспасительные речи. С Басмановым он был ласковее обыкновенного, и Басманов еще более убедился в неотразимой силе тирлича.

В это время послышался за оградою конский топот.

— Федя,— сказал Иоанн,— посмотри, кто там приехал?

Басманов не успел подойти к двери, как она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратов.

Выражение его было таинственно, и в нем проглядывала злобная радость.

— Войди, Лукьяныч! — сказал приветливо царь.— С какою тебя вестью бог принес?

Малюта переступил через порог и, переглянувшись с царем, стал креститься на образа.

— Откуда ты? — спросил Иоанн, как будто он вовсе не ожидал его.

Но Малюта, не спеша ответом, сперва отвесил ему поклон, а потом подошел к игумену.

— Благослови, отче! — сказал он, нагибаясь, а между тем покосился на Федора Басманова, которого вдруг обдало недобрым предчувствием.

— Откуда ты? — повторил Иоанн, подмигнув неприметно Скуратову.

— Из тюрьмы, государь, колдуна пытал.

— Ну, что же? — спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова.

— Да все бормочет; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземский, дескать, не один ко мне езживал; езживал и Федор Алексеевич Басманов, и корень-де взял у меня, и носит тот корень теперь на шее!»

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басманов изменился в лице. Вся наглость его исчезла.

— Государь,— сказал он, делая необыкновенное усилие, чтобы казаться спокойным,— должно быть, он за

то облыгает меня, что выдал я его твоей царской милости!

— А как стали мы,— продолжал Малюта,— прижигать ему подошвы, так он и показал, что был-де тот корень нужен Басманову, чтоб твое государское здоровье испортить.

Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который зашатался под этим взглядом.

— Батюшка-царь! — сказал он,— охота тебе слушать, что мельник говорит! Кабы я знался с ним, стал ли бы я на него показывать?

— А вот увидим. Расстегни-ка свой кафтан, посмотрим, что у тебя на шее?

— Да что же, кроме креста да образов, государь? — произнес Басманов голосом, уже потерявшим всю свою уверенность.

— Расстегни кафтан! — повторил Иван Васильевич.

Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы своей одежды.

— Изволь,— сказал он, подавая Иоанну цепь с образками.

Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый гайтан на шее Басманова.

— А это что? — спросил он, отстегивая сам яхонтовую запонку его ворота и вытаскивая из-за его рубахи гайтан с ладанкой.

— Это,— проговорил Басманов, делая над собою последнее отчаянное усилие,— это, государь... материнское благословение.

— Посмотрим благословение! — Иоанн передал ладанку Грязному.— На, распори ее, Васюк.

Грязной распорол ножом оболочку и, развернув зашитый в нее кусок холстины, высыпал что-то на стол.

— Ну, что это? — спросил царь, и все с любопытством нагнулись к столу и увидели какие-то корешки, перемешанные с лягушечьими костями.

Игумен перекрестился.

— Этим благословила тебя мать? — спросил насмешливо Иван Васильевич.

Басманов упал на колени.

— Прости, государь, холопа твоего! — вскричал он в испуге.— Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я

сердцем и, чтоб войти к тебе в милость, выпросил у мельника этого корня. Это тирлич, государь! Мельник дал мне его, чтоб полюбил ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видит бог, никакого не было!

— А жабьи кости? — спросил Иоанн, наслаждаясь отчаянием Басманова, коего наглость ему давно наскучила.

— Про кости я ничего не ведал, государь, видит бог, ничего не ведал!

Иван Васильевич обратился к Малюте.

— Ты говоришь,— сказал он,— что колдун показывает на Федьку; Федька-де затем к нему ездил, чтоб испортить меня?

— Так, государь! — И Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего.

— Ну что ж, Федюша,— продолжал с усмешкою царь,— надо тебя с колдуном оком к оку поставить. Ему допрос уж чинили; отведай же и ты пытки, а то скажут: царь одних земских пытает, а опричников своих бережет.

Басманов повалился Иоанну в ноги.

— Солнышко мое красное! — вскричал он, хватаясь зá полы царского охабня,— светик мой, государь, не губи меня, солнышко мое, месяц ты мой, соколик мой, горностаек! Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чем не отказывался!

Иоанн отвернулся.

Басманов в отчаянье бросился к своему отцу.

— Батюшка! — завопил он,— упроси государя, чтобы даровал живот холопу своему! Пусть наденут на меня уж не сарафан, а дурацкое платье! Я рад его царской милости шутом служить!

Но Алексею Басманову были равно чужды и родственное чувство, и сострадание. Он боялся участием к сыну навлечь опалу на самого себя.

— Прочь,— сказал он, отталкивая Федора,— прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын! Иди, куда шлет тебя его царская милость!

— Святой игумен,— зарыдал Басманов, тащась на коленях от отца своего к игумну,— святой игумен, умоли за меня государя!

Но игумен стоял сам не свой, потупя очи в землю, и дрожал всем телом.

— Оставь отца игумна! — сказал холодно Иоанн.— Коли будет в том нужда, он после по тебе панихиду отслужит.

Басманов обвел кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или устрашенные лица.

Тогда в сердце его произошла перемена.

Он понял, что не может избежать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно ею же оканчивалась; понял, что терять ему более нечего, и с этим убеждением возвратилась к нему его решимость.

Он встал, выпрямил стан и, заложив руку за кушак, посмотрел с наглою усмешкой на Иоанна.

— Надёжа-государь! — сказал он дерзко, тряхнув головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри,— надёжа-государь. Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за все твои ласки! Не умышлял я на тебя ничего, а грехи-то у меня с тобою одни! Как поведут казнить меня, я все до одного расскажу перед народом! А ты, батька игумен, слушай теперь мою исповедь!..

Опричники и сам Алексей Басманов не дали ему продолжать. Они увлекли его из кельи на двор, и Малюта, посадив его, связанного, нà конь, тотчас повез к Слободе.

— Ты зришь, отче,— сказал Иоанн игумну,— коликими я окружен и явными и скрытыми врагами! Моли бога за меня, недостойного, дабы даровал он добрый конец моим начинаниям, благословил бы меня, многогрешного, извести корень измены!

Царь встал и, перекрестившись на образа, подошел к игумну под благословение.

Игумен и вся братия с трепетом проводили его за ограду, где царские конюха дожидались с богато убранными конями; и долго еще, после того как царь с своими полчанами скрылся в облаке пыли и не стало более слышно звука конских подков, монахи стояли, потупя очи и не смея поднять головы.

ГЛАВА 34

ШУТОВСКОЙ КАФТАН

В это самое утро к Морозову, который по воле царя остался в Слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу.

Когда Дружина Андреевич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску.

Боярин, осмотревшись, увидел, что, кроме его, нет ни одного земского, и понял, что царь оказывает ему особенную честь.

Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклонным, приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита Левкия, Василия Грязного, Алексея Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.

Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились по чинам. Осталось одно пустое место, ниже Годунова.

— Садись, боярин Дружина! — сказал ласково царь, указывая на пустое место.

Лицо Морозова побагровело.

— Государь,— ответил он,— как Морозов во всю жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня, прогони от очей твоих — а ниже Годунова не сяду!

Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойно.

— Борис,— сказал он Годунову,— тому скоро два года, я боярина Дружину за такой же ответ выдал тебе головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай. Должно быть, уж не мы земским, а земские нам будут указывать! Должно быть, уж я и в домишке моем не хозяин! Придется мне, убогому, забрать свою рухлядишку и бежать с людишками моими куда-нибудь подале! Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы прогнали!

— Государь,— сказал смиренно Годунов, желая выручить Морозова,— не нам, а тебе о местах судить. Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина, что помнит он разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоим столом все места хороши!

Он сделал движение, как бы готовясь встать, но Иоанн удержал его взглядом.

— Боярин подлинно стар! — сказал он хладнокровно, и умеренность его в виду явного непокорства исполнила всех ожиданием. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, коего приближение выказывала лишь легкая судорога на лице, напоминающая дрожание отдаленной зарницы.

Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей.

— Да,— продолжал спокойно Иоанн,— боярин подлинно стар, но разум его молод не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить и в свободное от дела и молитвы время я не прочь от веселья. Но с того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать меня. Дружине, я вижу, это ремесло по́ сердцу; я же обещал не оставить его моею милостию, а потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан Ногтева и надеть на боярина!

Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по-прежнему спокоен.

Морозов стоял как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело, кровь отхлынула к сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потом сдвинулись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выражение его показалось страшным. Он еще не верил ушам своим; он сомневался, точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны?

Он стоял молча, вперив в Иоанна неподвижный, вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной, по знаку царя, встал из-за стола и подошел к Дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчовый, по-

лусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев.

— Надевай, боярин! — сказал Грязной,— великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выбылого шута своего Ногтева!

— Прочь! — воскликнул Морозов, отталкивая Грязного,— не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твои предки в псарях и в холопях служили!

И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом:

— Государь, возьми назад свое слово! Вели меня смерти предать! В голове моей ты волён, но в чести моей не волён никто!

Иван Васильевич посмотрел на опричников.

— Правду я говорил, что Дружина любит шутить? Вы слышали? Я не волён жаловать его кафтаном!

— Государь! — продолжал Морозов,— именем господа бога молю тебя, возьми свое слово назад! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловал меня! Когда я вместе с Хабаром Симским разбил чуваш и черемис на Свияге, когда с князьями Одоевским и Мстиславским прогнал от Оки крымского царевича и татарский набег от Москвы отвратил! Много ран получил я, много крови пролил на службе батюшки твоего и на твоей, государь! Не берег я головы ни в ратном деле, ни в Думе боярской, спорил, в малолетство твое, за тебя и за матушку твою с Шуйскими и с Бельскими! Одною только честью дорожил я и никому в целую жизнь мою не́ дал запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои седые волосы? Ты ли наругаешься над слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду на мученья, как прежде на битвы хаживал!

Все молчали, потрясенные сильною речью Морозова; но среди общей тишины раздался голос Иоанна.

— Довольно болтать! — сказал он грозно, переходя от насмешливости к явному гневу,— твои глупые речи, старик, показали, что ты добрым будешь шутом. Надевай дурацкое платье! Вы! — продолжал царь, повернувшись к опричникам,— помогите ему; он привык, чтоб ему прислуживали!

Если бы Морозов покорился или, упав к ногам царя, стал бы униженно просить о пощаде, быть может, и смягчился бы Иван Васильевич. Но вид Морозова был слишком горд, голос слишком решителен; в самой просьбе его слышалась непреклонность, и этого не мог снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть, и одна из причин, по коим он еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце свое от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя.

В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами.

После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом поправляли и обдергивали на нем кафтан. Мысли его ушли в глубь сердца; он сосредоточился в самом себе.

— А шапку-то позабыли? — сказал Грязной, надевая на голову Морозова пестрый колпак, и, отступив назад, он поклонился ему до́ полу.

— Дружина Андреич! — сказал он,— бьем тебе челом на новой должности! Потешай нас, как покойный Ногтев потешал!

Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собрание.

— Добро! — сказал он громко и твердо,— принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову невместно было сидеть рядом с Годуновым; но царскому шуту пристойно быть за царским столом с Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! место новому скомороху! Пропустите шута и слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильича!

Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились.

Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и опустился на скамью, напротив Иоанна, с такою величественною осанкой, как будто на нем вместо шутовского кафтана была царская риза.

— Как же мне потешать тебя, государь? — спросил он, положив локти на стол и глядя прямо в очи Ивану Васильевичу.— Мудрен ты стал на потехи, ничем не удивишь тебя! Каких шуток не перешучено на Руси, с тех

пор как ты государишь! Потешался ты, когда был еще отроком и конем давил народ на улицах; потешался ты, когда на охоте велел псарям князя Шуйского зарезать; потешался, когда выборные люди из Пскова пришли плакаться тебе на твоего наместника, а ты приказал им горячею смолою бороды палить!

Опричники хотели вскочить с своих мест и броситься на Морозова; царь удержал их знаком.

— Но,— продолжал Морозов,— то все было ребяческое веселье; оно скоро тебе надоело. Ты начал знаменитых людей в монахи постригать, а жен и дочерей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило. Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго. Не все же ругаться над народом да над боярами. Давай и над церковью Христовою поглумимся! Вот и набрал ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи, нарядил ее в рясы монашеские и сам монахом нарядился, и стали вы днем людей резать, а ночью акафисты петь. Сам ты, кровью обрызган, и пел, и звонил, и чуть ли обедню не служил. Эта потеха вышла изо всех веселейшая, такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

Что же сказать тебе, государь? Как еще распотешить тебя? А разве вот что скажу: пока ты с своею опричниной в машкерах пляшешь, к заутрени звонишь да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жигимонт, напрут с полуночи немцы да чудь, а с полудня и с восхода подымется хан. Нахлынет орда на Москву, и не будет воевод отстаивать святыни господней! Запылают храмы божии с мощами святителей, настанут опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, в ноги кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать!

Морозов замолк.

Никто не прерывал его речи; всем она захватила дыханье. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с пылающими очами, с пеною у рта. Судорожно сжимал он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова и каждое врезывал в памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой.

Все опричники были бледны; никто не решался взглянуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать,

чтобы не привлечь на себя внимание. Самому Малюте было неловко.

Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к Иоанну и сказал, указывая на Морозова:

— Дозволь, государь, ему глотку заткнуть!

— Не смей! — проговорил царь почти шепотом и задыхаясь от волнения,— дай его милости до конца договорить!

Морозов гордо повел очами.

— Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя потешу! Оставался у тебя из верных слуг твоих еще один, древнего, боярского рода; его ты откладывал казнить, потому ли, что страшился божьего гнева или что не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко от тебя, под опалою, и мог бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послал ты к нему своего окаянного Вяземского, сжечь его дом и жену увезти. Когда ж он пришел к тебе просить суда на Вяземского, ты заставил их биться себе на потеху, чая, что Вяземский убьет старого слугу твоего. Но бог не захотел его погибели, показал его правду.

Что же ты сделал тогда, государь? Тогда,— продолжал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы затряслись на одежде,— тогда тебе показалось мало бесчестия на слуге твоем, и ты порешил опозорить его еще неслыханным, небывалым позором!

Тогда,— воскликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места,— тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской кафтан и велел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вместе со скаредными твоими кромешниками!

Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных опричников. Значение шутовской его одежды исчезло. Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода величественно падала на грудь, приявшую некогда много вражьих ударов, но испещренную ныне яркими заплатами; а в негодующем взоре было столько достоинства, столько благородства, что в сравнении с ним Иван Васильевич показался мелок.

— Государь,— продолжал, возвышая голос, Морозов,— новый шут твой перед тобою. Слушай его последнюю шутку! Пока ты жив, уста народа русского запеча-

таны страхом; но минует твое зверское царенье, и останется на земле лишь память дел твоих, и перейдет твое имя от потомков к потомкам на вечное проклятие, доколе не настанет Страшный суд господень! И тогда все сотни и тысячи избиенных тобою, все сонмы мужей и жен, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и измучил, все предстанут пред господом, вопия на тебя, мучителя своего! И в оный страшный день предстану и я перед вечным судьею, предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на земле! И не будет с тобою кромешников твоих заградить уста вопиющих, и услышит их судия, и будешь ты ввергнут в пламень вечный, уготованный диаволу и аггелом его!

Морозов замолчал и, бросив презрительный взор на царских любимцев, повернулся к ним спиною и медленно удалился.

Никто не подумал остановить его. Важно прошел он между рядами столов, и только когда замер звон его колокольцев, опричники очнулись от оцепенения; а Малюта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу:

— Прикажешь сейчас порешить его, государь, или пока в тюрьму посадить?

— В тюрьму! — произнес Иоанн, переводя дыханье.— Беречь его! Кормить его! Не пытать, чтобы не издох до времени; ты отвечаешь за него головой!

Вечером у царя было особенное совещание с Малютой.

Колычевы, давно уже сидевшие в тюрьме и пытаемые Малютой, частью сознались во взводимой на них измене, частью были, по мнению Иоанна, достаточно уличены друзьями их и холопами, которые, не выдержав пытки, на них показывали.

Много и других лиц было замешано в это дело. Схваченные по приказанию царя и жестоко истязуемые, кто в Москве, кто в Слободе, они, в свою очередь, называли много имен, и число пытаемых росло с каждым днем и выросло наконец до трехсот человек.

Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных держав, положил подождать отъезда бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осужденным в один день общую казнь; а дабы действие ее было поразительнее и устрашило бы мятежников на будущее время, казни

сей надлежало совершиться в Москве, в виду всего народа.

В тот же самый день царь назначил казнить Вяземского и Басманова. Мельник как чародей осужден был к сожжению на костре, а Коршуну, дерзнувшему забраться в царскую опочивальню и которого берегли доселе на торжественный случай, Иоанн готовил исключительные, еще небывалые муки. Той же участи он обрек и Морозова.

О подробностях этой общей казни царь разговаривал до поздней ночи, и петухи уже два раза пропели, когда он отпустил Малюту и удалился в свою образную.

ГЛАВА 35

КАЗНЬ

По отъезде литовских послов, накануне дня, назначенного для торжественной казни, московские люди с ужасом увидели ее приготовления.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество виселиц. Среди их стояло несколько срубов с плахами. Немного подале висел на перекладине между столбов огромный железный котел. С другой стороны срубов торчал одинокий столб с приделанными к нему цепями, а вокруг столба работники наваливали костер. Разные неизвестные орудия виднелись между виселицами и возбуждали в толпе боязливые догадки, от которых сердце заране сжималось.

Мало-помалу все пришедшие торговать на базар разошлись в испуге. Опустела не только площадь, но и окрестные улицы. Жители заперлись в домах и шепотом говорили о предстоящем событии. Слух о страшных приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицах, и лишь время от времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от Арбата, где Иоанн остановился в любимом своем тереме. В Китай-городе не слышно было другого шума, кроме стука

плотничьих топоров да говора опричников, распоряжавшихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Китай-города, осветил безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни одного огонька не светилось в окнах; все ставни были закрыты: лишь кой-где тускло теплились лампады перед наружными образами церквей. Но никто не спал в эту ночь; все молились, ожидая рассвета.

Наконец роковое утро настало, и в небе послышалось усиленное карканье ворон и галок, которые, чуя близкую кровь, слетались отовсюду в Китай-город, кружились стаями над площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и самые виселицы.

Тишину прервал отдаленный звон бубен и тулумбасов, который медленно приближался к площади. Показалась толпа конных опричников, по пяти в ряд. Впереди ехали бубенщики, чтобы разгонять народ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били вощагами в тулумбасы: нигде не видно было живой души.

За опричниками ехал сам царь Иван Васильевич, верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с золоченым луком за спиною. Венец его шишака был украшен деисусом, то есть изображением на финифти спасителя, а по сторонам богородицы, Иоанна Предтечи и разных святых. Чепрак под ним блистал дорогими каменьями, а на шее у вороного коня вместо науза болталась собачья голова.

Рядом с царем был виден царевич Иоанн, а позади ехала толпа ближайших царедворцев, по три в ряд. За ними шло с лишком триста человек осужденных на смерть. Скованные цепями, изнуренные пыткой, они с трудом передвигали ноги, повинуясь понуждающим их опричникам.

Шествие заключал многочисленный отряд конницы.

Когда поезд въехал в Китай-город и все войско, спешившись, разместилось у виселиц, Иоанн, не сходя с коня, посмотрел кругом и с удивлением увидел, что на площади не было ни одного зрителя.

— Сгонять народ! — сказал он опричникам.— Да никто не убоится! Поведайте людям московским, что царь казнит своих злодеев, безвинным же обещает милость.

Вскоре площадь стала наполняться народом, ставни отворились, и у окон показались бледные, боязливые лица.

Между тем костер, разложенный под котлом, запылал, и на срубы взошли палачи.

Иоанн велел вывести из числа осужденных некоторых, менее виновных.

— Человеки! — сказал он им громко и внятно, дабы все на площади могли его слышать,— вы дружбой вашею и хлебом-солью с изменщиками моими заслужили себе равную с ними казнь; но я, в умилении сердца, скорбя о погублении душ ваших, милую вас и дарую вам живот, дабы вы покаянием искупили вины ваши и молились за меня, недостойного!

По знаку царя прощенных отвели в сторону.

— Люди московские! — сказал тогда Иоанн,— вы узрите ныне казни и мучения; но караю злодеев, которые хотели предать врагам государство! Плачуще, предаю телеса их терзанию, яко аз есмь судия, поставленный господом судити народы мои! И несть лицеприятия в суде моем, яко, подобно Аврааму, подъявшему нож на сына, я самых ближних моих на жертву приношу! Да падет же кровь сия на главу врагов моих!

Тогда из среды оставшихся осужденных вывели прежде всех боярина Дружину Андреевича Морозова.

Иоанн, в первом порыве раздражения, обрек было его на самые страшные муки; но, по непонятной изменчивости нрава, а может быть, и вследствие общей любви москвитян к боярину, он накануне казни отменил свои распоряжения и осудил его на менее жестокую смерть.

Думный дьяк государев, стоя у сруба, развернул длинный свиток и прочел громогласно:

— Бывший боярин Дружина! Ты хвалился замутить государство, призвать крымского хана и литовского короля Жигимонта и многие другие беды и тесноты на Руси учинить. Ты же дерзнул злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великого князя всея Руси, и добрых слуг его на непокорство подымать. За-

служил ты себе истязания паче смерти; но великий государь, помня прежние доблести твои, от жалости сердца, повелел тебя, особно от других и минуя прочие муки, скорою смертью казнить, голову тебе отсечь, остатков же твоих на его государский обиход не отписывать!

Морозов, уже взошедший на сруб, перекрестился.

— Ведаю себя чистым пред богом и пред государем,— ответствовал он спокойно,— предаю душу мою господу Иисусу Христу, у государя же прошу единой милости: что́ останется после меня добра моего, то все пусть разделится на три части: первую часть — на церкви божии и на помин души моей; другую — нищей братии; а третью — верным слугам и холопям моим; а кабальных людей и рабов отпускаю вечно на волю! Вдове же моей прощаю, и вольно ей выйти за кого похочет!

С сими словами Морозов еще раз перекрестился и опустил голову на плаху.

Раздался глухой удар, голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За ним опричники, к удивлению народа, вывели оружничего государева князя Вяземского, кравчего Федора Басманова и отца его Алексея, на которого Федор показал на пытке.

— Люди московские! — сказал Иоанн, указывая на осужденных,— се зрите моих и ваших злодеев! Они, забыв крестное свое целование, теснили вас от имени моего и, не страшася суда божия, грабили животы ваши и губили народ, который я же их поставил боронити. И се ныне приимут, по делам своим, достойную мзду!

Вяземский и оба Басмановы, как обманувшие царское доверие, были осуждены на жестокие муки.

Дьяк прочел им обвинение в намерении извести царя чарами, в преступных сношениях с врагами государства и в притеснении народа именем Иоанновым.

Когда палачи, схватив Федора Басманова, взвели его на помост, он обернулся к толпе зрителей и закричал громким голосом:

— Народ православный! хочу перед смертью покаяться в грехах моих! Хочу, чтобы все люди ведали мою исповедь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать. Он ловким ударом сабли снес ему голову в тот самый миг, как он готовился начать свою исповедь.

Окровавленный труп его упал на помост, а отлетевшая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганным оком. Басманов последнею наглостью избавился от ожидавших его мучений.

Отец его Алексей и Вяземский не были столько счастливы. Их, вместе с разбойником Коршуном, взвели на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же время старого мельника потащили на костер и приковали к столбу.

Вяземский, измученный пыткой, не имея силы стоять на ногах, поддерживаемый под руки палачами, бросал дикие взгляды по сторонам. В глазах его не было заметно ни страха, ни раскаянья. Увидев прикованного к столбу мельника и вокруг него уже вьющиеся струи дыма, князь вспомнил его последние слова, когда старик, заговорив его саблю, смотрел на бадью с водою; вспомнил также князь и свое видение на мельнице, когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо, старался увидеть свою будущность, но увидел только, как вода почервонела, подобно крови, и как заходили в ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться железные клещи...

Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в самого себя, он бормотал что-то себе под нос и с видом помешательства приплясывал на костре, гремя цепями.

— Шикалу! Ликалу! — говорил он,— слетелися вóроны на богатый пир! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадам! Подымися, ветер, от мельницы, налети на вóрогов моих! Кулла! Кулла! Разметай костер, загаси огонь!

И в самом деле, как будто повинуясь заклинаниям, ветер поднялся на площади, но, вместо того, чтобы загасить костер, он раздул подложенный под него хворост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей.

— Шагадам! Кулла! Кулла! — послышалось еще за облаком дыма, и голос замер в треске пылающего костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не изменилась ни

от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная природа его устояла против приготовительного допроса, но в выражении лица произошла перемена. Оно сделалось мягче: глаза глядели спокойнее.

С той самой ночи, как он был схвачен в царской опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершенных им некогда злодейств, и, лежа на гнилой соломе, он в первый раз после долгого времени заснул спокойно

Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршун, взошедши на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу, на четыре стороны площади.

— Прости, народ православный! — сказал он,— прости меня в грехах моих, в разбое, и в воровстве, и в смертном убойстве! Прости во всем, что я согрешил перед тобою. Заслужил я себе смертную муку, отпусти мне вины мои, народ православный!

И, повернувшись к палачам, он сам продел руки в приготовленные для них петли.

— Привязывайте, что ли! — сказал он, тряхнув седою, кудрявою головой, и не прибавил боле ни слова.

Тогда, по знаку Иоанна, дьяк обратился к прочим осужденным и прочел им обвинение в заговоре против государя, в намерении отдать Новгород и Псков литовскому королю и в преступных сношениях с турским султаном.

Их готовились повести, кого к виселицам, кого к котлу, кого к другим орудиям казни.

Народ стал громко молиться.

— Господи, господи! — раздавалось на площади,— помилуй их, господи! Приими скорее их души!

— Молитесь за нас, праведные! — кричали некоторые из толпы,— помяните нас, когда приидете во царствие божие!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:

— Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!

Но в эту минуту толпа заколебалась, все головы

обратились в одну сторону, и послышались восклицания:

— Блаженный идет! Смотрите, смотрите! Блаженный идет!

В конце площади показался человек лет сорока, с реденькою бородой, бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка.

Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших ужас, страх или зверство, резко от них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни приостановились.

Все знали блаженного, но никто еще не видывал на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как будто с кротостию боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо на Иоанна.

— Ивашко! Ивашко! — кричал он издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться,— Ивашко! Меня-то забыл!

Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону, но юродивый стоял уже возле него.

— Посмотри на блаженного! — сказал он, хватаясь за узду царского коня.— Что ж не велишь казнить и блаженного? Чем Вася хуже других?

— Бог с тобой! — сказал царь, доставая горсть золотых из узорного мешка, висевшего на золотой цепочке у его пояса,— на, Вася, ступай, помолись за меня!

Блаженный подставил обе руки, но тотчас же отдернул их, и деньги посыпались на землю.

— Ай, ай! Жжется! — закричал он, дуя на пальцы и потряхивая их на воздухе.— Зачем ты деньги в огне раскалил? Зачем в адовом огне раскалил?

— Ступай, Вася! — повторил нетерпеливо Иоанн,— оставь нас, тебе здесь не место!

— Нет, нет! Мое место здесь, с мучениками! Дай и мне мученический венчик! За что меня обходишь? За

что обижаешь? Дай и мне такой венчик, какие другим раздаешь!

— Ступай, ступай! — сказал Иоанн с зарождающимся гневом.

— Не уйду! — произнес упорно юродивый, уцепясь за конскую сбрую, но вдруг засмеялся и стал пальцем показывать на Иоанна.— Смотрите, смотрите! — заговорил он,— что это у него на лбу? Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И голова-то твоя стала песья!

Глаза Иоанна вспыхнули.

— Прочь, сумасшедший! — закричал он, и, выхватив копье из рук ближайшего опричника, он замахнулся им на юродивого.

Крик негодования раздался в народе.

— Не тронь его! — послышалось в толпе,— не тронь блаженного! В наших головах ты волен, а блаженного не тронь!

Но юродивый продолжал улыбаться полудетски, полубезумно.

— Пробори меня, царь Саул! — говорил он, отбирая в сторону висевшие на груди его кресты,— пробори сюда, в самое сердце! Чем я хуже тех праведных? Пошли и меня в царствие небесное! Аль завидно тебе, что не будешь с нами, царь Саул, царь Ирод, царь кромешный?

Копье задрожало в руке Иоанна. Еще единый миг, оно вонзилось бы в грудь юродивого, но новый крик народа удержал его на воздухе. Царь сделал усилие над собой и переломил свою волю, но буря должна была разразиться.

С пеной у рта, с сверкающими очами, с подъятым копьем, он стиснул коня ногами, налетел вскачь на толпу осужденных, так что искры брызнули из-под конских подков, и пронзил первого попавшегося ему под руку.

Когда он вернулся шагом на свое место, опустив окровавленный конец копья, опричники уже успели оттереть блаженного.

Иоанн махнул рукой, и палачи приступили к работе.

На бледном лице Иоанна показался румянец; очи

его сделались больше, на лбу надулись синие жилы, и ноздри расширились...

. . . .
. . . .

Когда наконец, сытый душегубством, он повернул коня и, объехав вокруг площади, удалился, сам обрызганный кровью и окруженный окровавленным полком своим, вороны, сидевшие на церковных крестах и на гребнях кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанных членов и на трупы, висящие на виселицах...

Бориса Годунова в этот день не было между приехавшими с Иоанном. Он еще накануне вызвался провожать из Москвы литовских послов.

На другой день после казни площадь была очищена и мертвые тела свезены и свалены в кремлевский ров.

Там граждане московские впоследствии соорудили несколько деревянных церквей, *на костях и на крови*, как выражаются древние летописи.

Прошли многие годы; впечатление страшной казни изгладилось из памяти народной, но долго еще стояли вдоль кремлевского рва те скромные церкви, и приходившие в них молиться могли слышать панихиды за упокой измученных и избиенных по указу царя и великого князя Иоанна Васильевича Четвертого.

ГЛАВА 36

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЛОБОДУ

Поразив ужасом Москву, царь захотел явиться милостивым и великодушным. По приказанию его темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшие себе прощения, все освобождены. Некоторым Иоанн послал подарки. Казалось, давно кипевшая в нем и долго разгоравшаяся злоба разразилась последнею казнью и вылетела из души его, как пламенный сноп из горы огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал держать

подозрение на ближних, перестал везде отыскивать измену.

Не всякий раз, после безвинной крови, Иоанн предавался угрызениям совести. Они зависели также от других обстоятельств. Небесные знамения, внезапно ударивший гром, проявление народных бедствий устрашали его чуткое воображение и подвигали его иногда на всенародное покаяние; но когда не случалось ни знамений, ни голода, ни пожаров, внутренний голос его молчал и совесть дремала. Так и в настоящее время состояние души Иоанна было безмятежно. Он чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей. Более из привычки и принятого правила, чем от потребности сердца, он, возвращаясь в Слободу, остановился на несколько дней молиться в Троицкой лавре.

Во всю дорогу пристава, ехавшие перед ним, бросали горстями серебряные деньги нищим, а уезжая из Лавры, он оставил архимандриту богатый вклад на молебны за свое здравие.

В Слободе между тем готовилось никем не ожиданное событие.

Годунов, посланный вперед приготовить государю торжественный прием, исполнив свое поручение, сидел у себя в брусяной избе, облокотясь на дубовый стол, подперши рукою голову. Он размышлял о случившемся в эти последние дни, о казни, от которой удалось ему уклониться, о загадочном нраве грозного царя и о способах сохранить его милость, не участвуя в делах опричнины, как вошедший слуга доложил, что у крыльца дожидается князь Никита Романович Серебряный.

Годунов при этом имени в удивлении встал со скамьи.

Серебряный был опальник государев, осужденный на̀ смерть. Он ушел из тюрьмы, и всякое сношение с ним могло стоить головы Борису Федоровичу. Но отказать князю в гостеприимстве или выдать его царю было бы делом недостойным, на которое Годунов не мог решиться, не потеряв народного доверия, коим он более всего дорожил. В то же время он вспомнил, что царь находится теперь в милостивом расположении духа, и в один миг сообразил, как действовать в этом случае.

Не выходя на крыльцо встречать Серебряного, он велел немедленно ввести его в избу. Посторонних свидетелей не было, и, положив раз принять князя, Годунов не захотел показать ему неполное радушие.

— Здравствуй, князь,— сказал он, обнимая Никиту Романовича,— милости просим, садись; как же ты решился вернуться в Слободу, Никита Романыч? Но дай сперва угостить тебя, ты, я чаю, с дороги устал.

По приказанию Годунова поставили на стол закуску и несколько кубков вина.

— Скажи, князь,— спросил Годунов заботливо,— видели тебя, как ты взошел на крыльцо?

— Не знаю,— отвечал простодушно Серебряный,— может быть, и видели; я не хоронился, прямо к твоему терему подъехал. Мне ведомо, что ты не тянешь к опричнине!

Годунов поморщился.

— Борис Федорыч,— прибавил Серебряный доверчиво,— я ведь не один; со мной пришло сотни две станичников из-под Рязани.

— Что ты, князь? — воскликнул Годунов.

— Они,— продолжал Серебряный,— за заставой остались. Мы вместе несем наши головы государю; пусть казнит нас или милует, как ему угодно!

— Слышал я, князь, слышал, как ты с ними татар разбил; но ведомо ли тебе, что с тех пор на Москве было?

— Ведомо,— отвечал Серебряный и нахмурился.— Я шел сюда и думал, что опричнине конец, а у вас дела хуже прежнего. Да простит бог государю! А тебе грех, Борис Федорыч, что ты только молчишь да глядишь на все это!

— Эх, Никита Романыч, ты, я вижу, все тот же остался! Что ж бы я сказал царю? Послушался бы он меня, что ли?

— А хотя бы и не послушался,— возразил упрямо Серебряный,— все ж тебе говорить следует. От кого ж ему правду знать, коли не от тебя?

— А ты думаешь, он правды не знает? Ты думаешь, он и в самом деле всем тем изветам верит, по которым столько людей казнено?

И, сказав это, Годунов закусил было язык, но вспомнил, что говорит с Серебряным, которого открытое лицо исключало всякое подозрение в предательстве.

— Нет,— продолжал он вполголоса,— напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево в руце божией, говорит Писание. Вот Морозов попытался было прямить ему; что ж вышло? Морозова казнили, а другим не стало от того легче. Но ты, Никита Романыч, видно, сам не дорожишь головою, что, ведая московскую казнь, не убоялся прийти в Слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнул. Он любил Дружину Андреича, хотя боярин и похитил его счастье.

— Что ж, Борис Федорыч,— ответил он Годунову,— чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мне надоело; не красно теперь житье на Руси!

— Послушай, князь, ты сам себя не бережешь; такой, видно, уж нрав у тебя; но бог тебя бережет. Как ты до сих пор ни лез в петлю, а все цел оставался. Должно быть, не написано тебе пропасть ни за̀ что ни про́ что. Кабы ты с неделю тому вернулся, не знаю, что бы с тобой было, а теперь, пожалуй, есть тебе надежда; только не спеши на глаза Ивану Васильевичу; дай мне сперва увидеть его.

— Спасибо тебе, Борис Федорыч; да ты обо мне-то больно не хлопочи; а вот станичников, коли можно, вызволи из беды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили!

Годунов взглянул с удивлением на Никиту Романовича. Он не мог привыкнуть к простоте князя, и равнодушие его к собственной жизни показалось Годунову неестественным.

— Что ж ты, князь,— спросил он,— с горя, что ли, жить не хочешь?

— Пожалуй, что и с горя. К чему еще жить теперь? Веришь ли, Борис Федорыч, иной раз поневоле Курбский на ум приходит; подумаю про него, и самому страшно станет: так, кажется, и бросил бы родину и ушел бы к ляхам, кабы не были они враги наши.

— Вот то-то, князь! В теперешнее время нам только и

есть, что две дороги: или делать, как Курбский,— бежать навсегда из родины, или так, как я,— оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то, ни другое; от царя не уходишь, а с царем не мыслишь; этак нельзя, князь; надо одно из двух. Уж коли хочешь оставаться на Руси, так исполняй волю цареву. А если полюбит он тебя, так, пожалуй, и сам от опричнины отвратится. Вот, примерно, кабы нас было двое около него, один бы другого поддерживал; сегодня бы я заронил словечко, завтра ты; что-нибудь и осталось бы у него в памяти; ведь и капля, говорят, когда все на одно место капает, так камень насквозь долбит. А нахрапом, князь, ничего не возьмешь!

— Кабы не был он царь,— сказал мрачно Серебряный,— я знал бы, что мне делать; а теперь ничего в толк не возьму; на него идти бог не велит, а с ним мыслить мне невмочь; хоть он меня на клочья разорви, с опричниной хлеба-соли не поведу!

— Погоди, князь, не отчаивайся. Вспомни, что я тебе тогда говорил? Оставим опричников; не будем перечить царю; они сами перегубят друг друга! Вот уж троих главных не стало: ни обоих Басмановых, ни Вяземского. Дай срок, князь, и вся опричнина до смерти перегрызется!

— А до того что будет? — сказал Серебряный.

— А до того,— ответил Годунов, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотел заронить в Серебряном,— до того, коли царь тебя помилует, ты можешь снова на татар идти; за этими дело не станет!

В мыслях Серебряного нелегко укладывалось два впечатления разом, и надежда идти на татар вытеснила на время овладевшее им уныние.

— Да,— сказал он,— только нам одно и осталось, что татар колотить! Кабы не ждать их в гости, а ударить бы на Крым всеми полками разом, да вместе с казаками, так, пожалуй, что и Крым взяли бы!

Он даже усмехнулся от удовольствия при этой мысли.

Годунов вступил с ним в разговор о его насильственном освобождении и о рязанском побоище. Уже начинало темнеть, а они всё еще сидели, беседуя за кубками.

Наконец Серебряный встал.

— Прости, боярин,— сказал он,— уже скоро ночь на дворе!

— Куда ты, Никита Романыч? Останься у меня, переночуй, завтра приедет царь, я доложу о тебе!

— Нельзя, Борис Федорыч, пора мне к своим! Боюсь, чтоб они с кем не повздорили. Кабы царь был в Слободе, мы прямо б к нему с повинною пришли, и пусть бы случилось, что богу угодно; а с здешними душегубцами не убережешься. Хоть мы и в сторонке, под самым лесом остановились, а все же может какой-нибудь объезд наехать!

— Ну, прости, Никита Романыч! Смотри ж ты, не суйся царю на глаза, погоди, чтоб я прислал за тобой.

— Да постой, не туда ты идешь, князь,— прибавил Годунов, видя, что Серебряный направляется к красным сеням; и, взяв его за руку, он проводил его на заднее крыльцо.

— Прости, Никита Романыч,— повторил он, обнимая Серебряного,— бог не без милости, авось и уладится твое дело!

И, подождав, чтобы князь сел на коня и выехал заднею околицею, Годунов вернулся в избу, весьма довольный, что Серебряный не принял предложения переночевать у него в доме.

На другое утро царь с торжеством въехал в Слободу, как после одержанной победы. Опричники провожали его с криками «Гойда! Гойда!» от заставы до самого дворца.

Одна старая мамка Онуфревна приняла его с бранью.

— Зверь ты этакий! — сказала она, встречая его на крыльце,— как тебя еще земля держит, зверя плотоядного? Кровью от тебя пахнет, душегубец! Как смел ты к святому угоднику Сергию явиться после твоего московского дела? Гром господень убьет тебя, окаянного, вместе с дьявольским полком твоим!

Но в этот раз увещания мамки не произвели никакого действия. На дворе не было ни грома, ни бури. Солнце великолепно сияло в безоблачном небе, и ярко играли краски и позолота на пестрых теремках и затейливых гла-

вах дворца. Иоанн не ответил ни слова и прошел мимо старухи во внутренние свои покои.

— Погоди, погоди! — продолжала она, глядя ему вослед и стуча о́ пол клюкою,— разразится гром божий над теремом твоим, выжжет он всю твою нечестивую Слободу!

И старуха удалилась в свою светлицу, медленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцев, которые сторонились от нее с суеверным страхом.

В этот день, после обеда, Годунов, видя, что царь весел и доволен и, против обыкновения, готовится отдохнуть, последовал за ним в опочивальню. Расположение к нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно когда ему было о чем доложить, что́ не всякому следовало слышать.

В царской опочивальне стояли две кровати: одна, из голых досок, на которой Иван Васильевич ложился для наказания плоти, в минуты душевных тревог и сердечного раскаянья; другая, более широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховиком и шелковыми подушками. На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось редко, и последняя кровать большею частью оставалась нетронутою.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться в действительном расположении его духа. Не всегда во время мучений совести он был склонен на милосердие. Он часто приписывал угрызения свои наваждению сатаны, старающегося отвлечь его от преследования измены, и тогда, вместо того чтобы смягчить свое сердце, он, назло дьяволу, творя молитвы и крестные знаменья, предавался еще большей жестокости. Не всегда также спокойствие, написанное на лице его, могло достоверно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиной, и царь, одаренный редкою проницательностью и способностью угадывать чужие мысли, любил иногда обманывать расчеты того, с кем разговаривал, и поражать его неожиданным проявлением гнева в то самое время, когда он надеялся на милость.

Но Годунов успел изучить малейшие оттенки царского нрава и с необыкновенным чутьем отгадывал и объяснял себе неуловимые для других изменения лица его.

Подождав, чтобы Иоанн лег на пуховую постель, и не видя в его чертах ничего, кроме усталости, Борис Федорович сказал безо всяких приготовлений:

— Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой сыскался?

— Какой? — спросил Иоанн, зевая.

— Никита Серебряный, тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек и в тюрьму был посажен.

— А! — сказал Иоанн,— поймали воробья! Кто же взял его?

— Никто, государь. Он сам пришел и всех станичников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинные головы.

— Опомнились! — сказал Иоанн.— Что ж, видел ты его?

— Видел, государь; он прямо ко мне приехал; думал, твоя милость в Слободе, и просил, чтоб я о нем сказал тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, неравно Григорий Лукьяныч скажет, что я подыскиваюсь под него; а Серебряный не уйдет, коли он сам тебе свою голову принес.

Годунов говорил прямо, с открытым лицом, безо всякого замешательства, как будто в нем не было ни тени хитрости, ни малейшего участия к Серебряному. Когда он накануне проводил его задним крыльцом, он поступил так не с тем, чтобы скрыть от царя его посещение (это было бы слишком опасно), но чтобы кто из слободских не предупредил Иоанна и, как первый известитель, не настроил бы его против самого Годунова. Намек же на Вяземского, выставляющий Серебряного врагом казненного князя, был обдуман и приготовлен Борисом Федоровичем заране.

Царь зевнул еще раз, но не отвечал ничего, и Годунов, улавливая каждую черту лица его, не прочел на нем никакого признака ни явного, ни скрытого гнева. Напротив, он заметил, что царю понравилось намерение Серебряного предаться на его волю.

Иоанн, проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и даже милосердым; душегубства его были всегда облече-

ны в наружность строгого правосудия, и доверие к его великодушию тем более льстило ему, что такое доверие редко проявлялось.

Подождав немного, Годунов решился вызвать Ивана Васильевича на ответ.

— Как прикажешь, государь,— спросил он,— позвать к тебе Григорья Лукьяныча?

Но последние казни уже достаточно насытили Иоанна; несколько лишних голов не могли ничего прибавить к его удовлетворению, ни возбудить в нем уснувшую на время жажду крови.

Он пристально посмотрел на Годунова.

— Разве ты думаешь,— сказал он строго,— что я без убойства жить не могу? Иное злодеи, подрывающие государство, иное Никита, что Афоньку порубил. А из станичников посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть все, и с Никитой, соберутся перед Красным крыльцом на дворе. Когда выйду из опочивальни, увижу, что с ними делать!

Годунов пожелал царю доброго отдыха и удалился с низким поклоном.

Все зависело теперь от того, в каком расположении проснется Иоанн.

ГЛАВА 37

ПРОЩЕНИЕ

Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими станичниками.

Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения.

Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам

лиц, но многих и недоставало. Недоставало всех, которые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в Слободе в день судного поединка, исчез бог весть куда; Митька последовал за ним, песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости.

Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслию, что они теперь стоят между жизнию и смертью и что нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников.

При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы.

Иоанн помолчал несколько времени.

— Здравствуйте, оборванцы! — сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: — Ты зачем в Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?

— Государь,— ответил Серебряный скромно,— из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости, должно быть, уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою

волю; казни или милуй нас, как твоя царская милость знает!

— Так это за ним вы тот раз в Слободу приходили? — спросил Иоанн у разбойников.— Откуда ж вы знаете его?

— Батюшка-царь, — отвечали вполголоса разбойники,— он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!

— В Медведевке? — сказал Иоанн и усмехнулся.— Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему, посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?

Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.

— Да полно тебе вины-то его высчитывать! — сказала она Иоанну сердито.— Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!

— Молчи, старуха! — сказал строго Иоанн,— не твое бабье дело указывать мне!

Но, досадуя на Онуфревну, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях:

— Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед!

Серебряный взялся отвечать за разбойников.

— Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.

— Не захотел! — повторил Иоанн.— Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить!

— Уж самого тебя,— проворчала мамка,— на том свету черти на кол посадят!

Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:

— А вас, за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть, помилую. Выкатить им пять бочек меду на двор! Ну что? Довольна ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

— Да живет царь! — закричали разбойники.— Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!

— Выдать им,— продолжал Иоанн,— по доброму кафтану да по гривне на человека. Я их в опричнину впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?

Некоторые из разбойников замялись, но бо́льшая часть закричала:

— Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя царская милость!

— Как думаешь,— сказал Иоанн с довольным видом Серебряному,— пригодны они в ратный строй?

— В ратный-то строй пригодны,— ответил Никита Романович,— только уж, государь, не вели их в опричнину вписывать!

Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести.

— Когда я кого милую,— произнес он торжественно,— я не милую вполовину!

— Да какая ж это милость, государь! — вырвалось у Серебряного.

Иоанн посмотрел на него с удивлением.

— Они,— продолжал Никита Романович, немного запинаясь,— они, государь, ведь доброе дело учинили; без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!

— Так почему ж им в опричнине не быть?— спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.

— А потому, государь,— выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражения поприличнее,— потому, государь, что они, правда, люди худые, а всё же лучше твоих кромешников!

Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на царский

произвол. В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание.

В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкою руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.

— Это что за крыса? — спросил царь, указывая на незнакомца.

Но тот уже успел скрыться в толпе.

— Раздвиньтесь, люди! — сказал Иоанн,— достать мне этого молодца, что там сзади хоронится!

Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.

— Что ты за человек? — спросил Иоанн, глядя на него подозрительно.

— Это мой стремянный, государь! — поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича,— он не видал меня с тех пор...

— Так, так, батюшка-государь! — подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости,— его княжеская милость правду изволит говорить!.. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость! Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть! Господи-светы, Никита Романыч! Я уже думал, не придется мне увидеть тебя!

— Что же ты хотел сказать ему? — спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеича,— зачем ты за станичниками хоронился?

— Поопасывался, батюшка-государь Иван Васильич, опричников твоих поопасывался! Это ведь, сам знаешь, это ведь, государь, всё такой народ...

И Михеич закусил язык.

— Какой народ? — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение.— Говори, старик, без зазора, какой народ мои опричники?

Михеич поглядел на царя и успокоился.

— Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка! — проговорил он вдруг, ободренный

милостивым выражением царского лица,— не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина!

Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

— Ну что ты на него глаза таращишь? — сказала мамка.— Съесть его, что ли, хочешь? Разве он не правду говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?

Михеич, нашедши себе подмогу, обрадовался.

— Так, бабуся, так! — сказал он.— От них-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не верь им, государь, не верь им! Песьи у них морды на сбруе, песий и брех на языке! Господин мой верно служил тебе, а это Вяземский с Хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцев и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а теперь не съедите!

Когда царь вышел на крыльцо, он уже решился простить разбойников. Ему хотелось только продержать их некоторое время в недоумении. Замечания мамки пришлись некстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтоб предаться гневу, он вздумал посмеяться над Онуфревной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного.

— Так тебе не люба опричнина? — спросил он Михеича с видом добродушия.

— Да кому ж она люба, батюшка-государь? С того часу, как вернулися мы из Литвы, всё от нее пошли сыпаться беды на боярина моего Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.

И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего!»

— Добрый у тебя стремянный! — сказал царь Серебряному.— Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили! А давно он у тебя?

— Да я, батюшка Иван Васильевич,— подхватил Михеич, совершенно ободренный царскою похвалою,— я князю с самого с его сыздетства служу. И батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям служили!

— А нет у тебя разве детушек, старичок? — спросил Иоанн еще милостивее.

— Было двое сыновей, батюшка, да обоих господь прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романычем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью, вражий лях, налетев, саблей голову раскроил, а меньшему-то, Степану, из пищали грудь прострелили, сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска!

И Михеич пальцем показал на груди своей место, где в Степана попала пуля.

— Вишь! — проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича.— Ну, что ж делать, старичок, этих бог прибрал, других наживешь!

— Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусишь!

— Что ж,— сказал царь, как бы желая утешить стремянного,— еще, даст бог, другую хозяйку найдешь!

Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем.

— Да этого добра как не найти,— ответил он, ухмыляясь,— только не охоч я до баб, батюшка-государь, да уж и стар становлюсь этаким делом заниматься!

— Баба бабе рознь! — заметил Иоанн и, схватив Онуфревну за душегрейку,— вот тебе хозяйка! — сказал он и выдвинул мамку вперед.— Возьми ее, старина, живи с ней в любви и в совете, да детей приживай!

Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали, а Михеич, в изумлении, посмотрел на царя, не смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

— Срамник ты! — закричала она на Иоанна,— без-

божник! Я тебе дам ругаться надо мной! Срамник ты, тьфу! Еретик бессовестный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее зажевали, а нос посинел.

— Полно ломаться, бабушка,— сказал царь,— я тебе доброго мужа сватаю; он будет тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

— Умилосердись, батюшка-государь! — проговорил Михеич в совершенном испуге.

— Что ж? Разве она тебе не по́ сердцу?

— Какое по сердцу, батюшка! — простонал Михеич, отступая назад.

— Стерпится — слюбится! — сказал Иоанн.— А я дам за ней доброе приданое!

Михеич с ужасом посмотрел на Онуфревну, которую царь все еще держал за душегрейку.

— Батюшка Иван Васильевич! — воскликнул он вдруг, падая на колени,— вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорей на плаху пойду, чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!

Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом.

— Ну,— сказал он, выпуская наконец Онуфревну, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь,— честь приложена, убытку бог избавил! Я хотел вашего счастья, а насильно венчать вас не буду! Служи по-прежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников в опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторожевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же,— продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебряного,— ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары; есть и хуже их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепал Серебряного по плечу.

— Никита,— прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя,— у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства; таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину; я дам тебе место выбылого Вяземского! Тебе я верю, ты меня не продашь.

Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного; они уже видели в нем новое возникающее светило, и стоявшие подале от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода.

Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых.

— Государь,— сказал он, сделав усилие над собою,— благодарствую тебе за твою милость; но дозволь уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит!

— Вот как! — сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного,— это значит, мы не угодны его княжеской милости! Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничим! Ну что ж,— продолжал он насмешливо,— я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе! Доброго пути, разбойничий воевода!

И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец.

ГЛАВА 38

ВЫЕЗД ИЗ СЛОБОДЫ

Годунов предложил Серебряному остаться у него в доме до выступления в поход. Этот раз предложение было сделано от души, ибо Борис Федорович, наблюдавший за каждым словом и за каждым движением царя, заключил, что грозы более не будет и что Иоанн ограничится одною холодностью к Никите Романовичу.

Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный прямо с царского двора отправился к матери своего названого брата и отдал ей крест Максимов. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебряного как родного; но, когда он, окончив свое поручение, простился с нею, она не посмела его удерживать, боясь возвращения мужа, и только проводила до крыльца с благословениями.

Вечером, когда Годунов оставил Серебряного в опочивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна, Михеич дал полную волю своей радости.

— Ну, боярин,— сказал он,— выпал же мне наконец красный денек после долгого горя! Ведь с той поры, как схватили тебя, Никита Романыч, я словно света божьего не вижу! То и дело по Москве да по Слободе слоняюсь, не проведаю ль чего про тебя? Как услышал сегодня, что ты с станичниками вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор; ан царь-то уж на крыльце! Я давай меж станичников до тебя пробираться, да и не вытерпел, стал ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидел. Ну, набрался же я страху! Ввек не забуду! Два молебна завтра отслужу, один за твое здоровье, а другой — что соблюл меня господь от этой ведьмы, не дал надо мною такому скверному делу совершиться!

И Михеич начал рассказывать все, что с ним было после разорения морозовского дома, и как он, известив Перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену Дмитриевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпеливо слушал многократные отступления Михеича.

— Ведь я, Никита Романыч,—говорил старик,—ведь я не слеп; хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к Дружине Андреичу-то ездил. Не выйдет добра из этого, думал я, да и совестно, правду сказать, за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел, из одного ковша пил. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положим, и не виноват в этом; кто его знает, как оно к человеку приходит! Да против него-то грешно было. Ну, а теперь, конечно, дело

другое; теперь ей некому ответа держать, царствие ему небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться!

— Не кори меня, Михеич,— сказал Серебряный с неудовольствием,— а скажи, где она теперь и что ты про нее знаешь?

— Позволь, батюшка, погоди; дай мне все по порядку тебе доложить. Вот, изволишь ли видеть, как я от станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне и говорит: залетела, говорит, жар-птица ко мне; отвези ее, говорит, к царю Далмату! Я сначала не понял, что за птица и что за Далмат такой; только уже после, когда показал он мне боярыню-то, тогда уж смекнул, что он про нее говорил. Вот и поехали мы с нею в вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и очей не подымает; потом стала потихоньку про мужа спрашивать; а потом, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила, только, вишь, не прямо, а так, как бы нехотя, отворотимшись. Известно, женское дело. Я ей все рассказал, что было мне ведомо, а она, сердечная, еще кручиннее прежнего стала, повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприщ этак будет зà десять, она, вижу, зачинает беспокоиться. «Что ты, говорю, сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, в слезы. Я ее утешать. «Не кручинься, говорю, боярыня, Дружина Андреич здравствует!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этак посмотрел на нее, да уж не знаю, что и говорить ей. «И князь Никита Романыч, говорю, хоча и в тюрьме, а должно быть, также здравствует!» Уж не знал, батюшка, что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня. «Нет, говорит, дядюшка, не могу ехать в вотчину!» — «Что ты, боярыня, куда ж тебе ехать?»—«Дядюшка, говорит, видишь, золоченые кресты из-за лесу виднеются?» — «Вижу, сударыня».— «То, говорит, девичий монастырь; я узнаю те кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отговариваться, только она стоит на своем: проводи да проводи! — «Я, говорит, там с недельку обожду, богу помолюсь, а потом повещу Дружине Андреичу; он пришлет за мной!» Нечего было

делать, проводил ее, батюшка; там и оставил на руках у игуменьи.

— Сколько будет до того монастыря? — спросил Серебряный.

— От мельницы было поприщ сорок, батюшка; от Москвы, пожалуй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли мы на Жиздру пойдем.

— Михеич! — сказал Серебряный,— сослужи мне службу. Я прежде утра выступить не властен; надо моим людям царю крест целовать. Но ты сею же ночью поезжай в тот монастырь; поезжай одвуконь, не жалей ни себя, ни коней; попросись к боярыне, расскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною!

— Слушаю, батюшка, слушаю, да ты уж не опасаешься ли, чтоб она постриглась? Этого не будет, батюшка. Пройдет годок, поплачет она, конечно; без этого нельзя; как по Дружине Андреиче не поплакать, царствие ему небесное! А там, посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам, батюшка, горе отбывать!

Михеич в эту же ночь отправился в монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошел проститься с Годуновым.

Борис Федорович уже вернулся от заутрени, которую, по обычаю своему, слушал вместе с царем.

— Что ты так рано поднялся, князь? — спросил он Никиту Романовича.— Это хорошо нам, слободским, а ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или тебе неспокойно у меня было?

Но тонкий взгляд Годунова показывал, что он знал причину бессонницы князя.

Приветливость Бориса Федоровича, его неподдельное участие к Серебряному, услуги, им столько раз оказанные, а главное, его совершенное несходство с другими царедворцами привлекали к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене.

— Все это мне давно уже ведомо! — сказал, улыбаясь, Годунов.— Я догадался об этом еще в первый твой приезд в Слободу из того, как ты смотрел на Вяземского. А когда я нарочно завел с тобою речь о Морозове, ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним

в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чем ни подумаешь, все у тебя на лице так и напишется. Да и говоришь-то ты уж чересчур правдиво, Никита Романыч, позволь тебе сказать. Я за тебя вчера испугался, да и подосадовал-таки на тебя, когда ты напрямик отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину.

— А что же мне было отвечать ему, Борис Федорыч?

— Тебе было поблагодарить царя и принять его милость.

— Да ты шутишь, Борис Федорыч, али вправду говоришь? Как же мне за это благодарить царя? Да ты сам разве вписан в опричнину?

— Я дело другое, князь. Я знаю, что́ делаю. Я царю не перечу; он меня сам не захочет вписать; так уж я поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вяземского да сделался бы оружничим царским и был бы в приближении у Ивана Васильевича, ты бы этим всей земле послужил. Мы бы с тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подсекли бы!

— Нет, Борис Федорыч, не сумел бы я этого. Сам же ты говоришь, что у меня все на лице видно́.

— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вот кабы ты решился перемочь свою прямоту да хотя бы для виду вступил в опричнину, чего мы бы с тобой не сделали! А то, посмотри на меня; я один, бьюсь как щука об лед; всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругом идет! А было бы нас двое около царя, и силы б удвоилось. Таких людей, как ты, немного, князь. Скажу тебе прямо: я с нашей первой встречи рассчитывал на тебя!

— Не гожусь я на это дело, Борис Федорыч. Сколько раз я ни пытался подладиться под чужой обычай, ничего не выходит. Вот ты, дай бог тебе здоровья, ты на этом собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по́ сердцу было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему делать лучше. А я б и хотел, да не умею; не сподобил меня бог такому искусству. Впрочем, что́ теперь и говорить об этом? Сам знаешь, царь меня, по моему же упросу, в сторожевой полк посылает.

— Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе, конечно, уже не бывать, но если попросишься в опричнину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар побить, все же ты приедешь на Москву, когда Елене Дмитриевне вдовий срок минет. Того не опасайся, чтоб она постриглась; этого не будет, Никита Романыч; я лучше тебя человеческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла, незачем ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезам; я же буду, коли хочешь, твоим дружкой.

— Спасибо тебе, Борис Федорыч, спасибо. Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем тебе отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А в опричнину меня не зови, и около царя быть мне также не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое уменье иметь. А я бы только даром душой кривил. Каждому, Борис Федорыч, господь свое указал: у сокола свой лет, у лебедя свой; лишь бы в каждом правда была.

— Так ты меня уж боле не винишь, князь, что я не прямою, а окольною дорогой иду?

— Грех было бы мне винить тебя, Борис Федорыч. Не говорю уже о себе; а сколько ты другим добра сделал! И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на тебя надежду полагают; вся земля начинает смотреть на тебя!

Легкий румянец пробежал по смуглому лицу Годунова, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него немалым торжеством и служило ему мерилом его обаятельной силы.

— В мою очередь, спасибо тебе, князь,— сказал он.— Об одном прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим все, что про меня знаешь!

— Уж об этом не заботься, Борис Федорыч! Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся

о твоем здравии, а если вернутся на родину, то и всем своим ближним закажут. Дай только бог уцелеть тебе!

— Господь хранит ходящих в незлобии! — сказал Годунов, скромно опуская глаза.— А впрочем, всё в его святой воле! Прости же, князь; до скорого свидания; не забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселело на сердце. Он привык к мысли, что Годунов нелегко ошибается в своих предположениях, и недавние опасения его насчет Елены рассеялись.

Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда; но еще прежде, чем они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашним понятиям, принадлежало к недобрым предзнаменованиям.

Близ одной церкви отряд был остановлен столплением нищих, которые теснились у паперти во всю ширину улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от какого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви.

Подвигаясь медленно вперед, чтобы дать время толпе раздвинуться, Серебряный услышал панихидное пение и спросил, по ком идет служба? Ему отвечали, что то Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский справляет поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку, лишенную чувств; исхудалое лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, в смирной одежде, показался на крыльце, и глаза его встретились с глазами Серебряного; но в чертах Малюты не было на этот раз обычного зверства, а только какая-то тупая одурелость, без всякого выражения. Приказав положить старушку на паперти, он воротился в церковь дослушивать панихиду, а станичники с Серебряным, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как в церкви торжественно и протяжно раздавалось: «Со святыми упокой!»

Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело подействовали на Серебряного, но ему вспомнились успокоительные слова Годунова и скоро изгладили грустное впечатление панихиды. На изгибе дороги, входящей в темный лес, он оглянулся на Александрову слободу, и

когда скрылись от него золоченые главы дворца Иоаннова, он почувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца.

Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники, хорошо одетые и вооруженные, шли дружным шагом за Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Серебряного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимоходом листья с нависших ветвей, а Буян, не оставлявший князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал иногда, нюхая ветер, косматую морду или нагибал ее на сторону и чутко навастривал ухо, если какой-нибудь отдаленный шум раздавался в лесу.

ГЛАВА 39

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Несколько дней шел Серебряный с своим отрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеичу, обещавшему привезти ему ответ от боярыни.

Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные.

Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги.

— Батюшка, князь Никита Романыч! — вскричал он, узнавая князя,— не езди дале, батюшка! Вернись назад, нечего там тебе делать!

— Что случилось? — спросил Серебряный, и сердце его замерло.

— Все кончено, батюшка! Не судил нам господь счастия!

Серебряный спрянул на землю.

— Говори! — сказал он,— что случилось с боярыней?

Старик молчал.

— Что случилось с Еленой Дмитриевной? — повторил в испуге Серебряный.

— Нет боле Елены Дмитриевны, батюшка! — сказал мрачно Михеич.— Есть только сестра Евдокия!

Серебряный зашатался и прислонился к дереву.

Михеич смотрел на него горестно.

— Что ж делать, Никита Романыч! Видно, на то была божья воля. Не в счастливый мы, видно, век родились!

— Рассказывай все! — сказал Серебряный, оправившись.— Не жалей меня. Когда постриглась боярыня?

— Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили в монастыре синодик от царя, с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой; накануне того самого дня, как я к ней приехал.

— Видел ты ее?

— Видел, батюшка.

Серебряный хотел что-то сказать и не мог.

— На самый краткий миг видел,— прибавил Михеич,— не хотела она меня допустить сперва.

— Что она велела сказать мне? — проговорил с трудом Серебряный.

— Чтобы ты за нее молился, батюшка.

— И боле ничего?

— Ничего, батюшка.

— Михеич,— произнес князь после краткого молчания,— проводи меня в монастырь; я хочу проститься с ней...

Старик покачал головой.

— Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боле; она теперь все равно, что святая. Вернемся лучше к отряду и пойдем прямо к Жиздре!

— Не могу! — сказал Серебряный.

Михеич опять покачал головою и подвел к нему одного из своих коней.

— Садись же на этого,— сказал он, вздыхая,— твой больно заморился!

Они молча поехали к монастырю.

Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось журчанье воды, и ручей, пробиравшийся меж камышами, сверкнул сквозь густую зелень.

— Узнаешь ты это место, князь? — спросил грустно Михеич.

Серебряный поднял голову и увидел свежее пожарище. Кой-где земля была недавно изрыта, а остатки строения и сломанное водяное колесо показывали, что тут была мельница.

— Это когда они колдуна схватили,— заметил Михеич,— то и жилье его разорили; думали тут клад найти, тетка их подкурятина!

Серебряный бросил рассеянный взгляд на пожарище. и они молча поехали далее.

Через несколько часов лес начал редеть. Меж деревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно иным обителям, на возвышенном месте. Из узких решетчатых окон не видно было обширных монастырских угодий, и взор везде упирался лишь в голые стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших тесным кругом ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных.

Всадники сошли с коней и постучались в калитку.

Прошло несколько минут; послышалось бряцание ключей.

— Слава господу Иисусу Христу! — сказал тихо Михеич.

— Во веки веков, аминь! — отвечала сестра-вратница, отворяя калитку.— Кого вам надобно, государи?

— Сестру Евдокию,— произнес вполголоса Михеич, боясь этим названием растравить душевную рану своего господина.— Ты меня знаешь, матушка; я недавно был здесь.

— Нет, государь, не знаю; я только сегодня ко вратам приставлена, а до меня была сестра Агния...

И монахиня посмотрела опасливо на приезжих.

— Нужды нет, матушка,— продолжал Михеич,— пусти нас. Доложи игуменье, что князь Никита Романыч Серебряный приехал.

Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, как она поспешно удалялась, приговаривая: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»

«Что бы это значило? — подумал стремянный,— зачем она боится моего боярина?»

Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и встревоженное выражение испугали вратницу. В самом деле, черты Никиты Романовича так изменились, что сам Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним вместе.

Через несколько времени послышались опять шаги вратницы.

— Не взыщите, государи,— сказала она неверным языком сквозь калитку,— теперь игуменье нельзя принять вас; приходите лучше завтра, после заутрени!

— Я не могу ждать! — вскричал Серебряный, и, ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в ограду.

Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная, как и он сам.

— Во имя Христа-спасителя,— сказала она дрожащим голосом,— остановись! Я знаю, зачем ты пришел... но господь карает душегубство, и безвинная кровь падет на главу твою!

— Честная мать! — отвечал Серебряный, не понимая ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться,— честная мать, пусти меня к сестре Евдокии! Дай на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с ней!

— Проститься? — повторила игуменья.— ты в самом деле хочешь только проститься?

— Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам!

Игуменья взглянула на него недоверчиво.

— Ты вломился насильно,— сказала она,— ты называешься князем, а бог весть кто ты таков, бог весть зачем приехал . Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти жен и дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили!.. Сестра Евдокия была женою казненного боярина...

— Я не опричник! — вскричал Серебряный,— я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова! Пусти меня к боярыне, честная мать, пусти меня к ней!

Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмотрела на него с участием.

— Погрешила же я перед тобою! — сказала она.— Но, слава Христу и пречистой его матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, пресущественной троице и всем святым угодникам, что ты не опричник! Напугала меня вратница; я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию схоронить! Трудные у нас годы настали, государь! И в божьих обителях опальным укрыться нельзя. Слава же господу, что я ошиблась! Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии. Ступай за мною, боярин, сюда, мимо усыпальницы; ее келья в самом саду.

Игуменья повела князя через сад к одинокой келье, густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на скамье, перед входом, сидела Елена в черной одежде и в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали над нею их увядающие ветви. Лето приходило к концу; последние цветы шиповника облетали; черная одежда инокини была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила Елена за медленным и однообразным падением желтых кленовых листьев, и только шорох приближающихся шагов прервал ее размышления. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтоб идти к ней навстречу, но, увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схватилась за сердце и в изнеможении опустилась на скамью.

— Не пугайся, дитятко! — сказала ей ласково игуменья,— это знакомый тебе боярин, друг твоего покойного мужа, приехал нарочно проститься с тобой!

Елена не могла отвечать. Она только дрожала и, будто в испуге, смотрела на князя. Долго оба молчали.

— Вот,— проговорил наконец Серебряный,— вот как нам пришлось свидеться!

— Нам нельзя было свидеться иначе!..— сказала едва внятно Елена.

— Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриевна? — сказал Серебряный.

— Если б я подождала тебя,— прошептала она,— у меня недостало бы силы... ты не пустил бы меня... довольно и так греха на мне, Никита Романыч...

Настало опять молчание. Сердце Серебряного сильно билось.

— Елена Дмитриевна! — сказал он прерывающимся от волнения голосом,— я навсегда прощаюсь с тобой, навсегда, Елена Дмитриевна... Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя... дай на твои очи в последний раз посмотреть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ее лица, и князь увидел ее тихие глаза, красные от слез, и встретил знакомый кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и душевным страданием.

— Прости, Елена! — вскричал он, падая ниц и кланяясь ей в ноги,— прости навсегда! Дай господь забыть мне, что могли мы быть счастливы!

— Нет, Никита Романыч,— сказала грустно Елена,— счастья нам не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьем и нами. За меня он пошел под опалу, я же погрешила против него, я виновница его смерти! Нет, Никита Романыч, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастлив?

— Да,— повторил Серебряный,— кто теперь счастлив! Не милостив господь ко святой Руси; а все же не думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки!

— Не навеки, Никита Романыч,— улыбнулась грустно Елена,— а только здесь, в этой жизни. Так должно было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую!

— Зачем,— сказал с мрачным видом Серебряный,— зачем не сложил я голову на татарскую саблю! Зачем не казнил меня царь, когда я ему повинную принес! Что мне теперь осталось на свете?

— Неси крест свой, Никита Романыч, как я мой крест несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться за тебя и оплакивать грех мой!

— Какая родина! Где наша родина! — вскричал Серебряный.— От кого нам ее отстаивать? Не татары, а царь губит родину! Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна... Ты одна еще поддерживала мой разум; теперь

все передо мной потемнело; не вижу боле, где ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолевает! Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курбский на память, и я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила; но нет у меня боле цели, а сила дошла до конца... рассудок мой путается...

— Просвети тебя боже, Никита Романыч! Ужели оттого, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым, пойдешь наперекор всей земле, которая держит пред ним поклонную голову? Вспомни, что бог посылает нам испытание, чтобы могли мы свидеться на том свете! Вспомни всю жизнь свою и не солги против самого себя, Никита Романыч!

Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нем негодование уступило место строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своем сердце, хотя и не всегда был в силах им покоряться.

— Неси крест свой, Никита Романыч! — повторила Елена.— Иди, куда посылает тебя царь. Ты отказался вступить в опричнину, и совесть твоя чиста. Иди же на врагов земли Русской; а я не перестану молиться за нас обоих до последнего моего часа!

— Прости же, Елена, прости, сестра моя! — воскликнул Серебряный, бросаясь к ней.

Она встретила спокойным взглядом его сокрушенный взгляд, обняла его, как брата, и поцеловала три раза, без страха и замешательства, ибо в этом прощальном лобзании уже не было того чувства, которое за два месяца, у ограды морозовского сада, кинуло ее в объятия князя невольно и бессознательно.

— Прости! — повторила она и, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью.

Стали звонить к вечерне. Серебряный долго глядел вослед Елене. Он не слыхал, что́ говорила ему игуменья, не почувствовал, как она взяла его за руку и проводила к ограде. Молча сел он на коня; молча поехал с Михеичем обратным путем по сосновому лесу. Звон монастырского колокола вызвал его наконец из оцепенения. Он только теперь понял всю тяжесть своего несчастия.

Сердце его разрывалось от этого звона, но он стал прислушиваться к нему с любовью, как будто в нем звучало последнее прощание Елены, и когда мерные удары, сливаясь в дальний гул, замерли наконец в вечернем воздухе, ему показалось, что все родное оторвалось от его жизни и со всех сторон охватило его холодное, безнадежное одиночество...

На другой день отряд Никиты Романовича продолжал свой путь, углубляясь все далее в темные леса, которые, с небольшими прогулами, соединялись с Брянским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его молчание.

Ехал Серебряный, понуря голову, и среди его мрачных дум, среди самой безнадежности светило ему, как дальняя заря, одно утешительное чувство. То было сознание, что он в жизни исполнил долг свой, насколько позволило ему умение, что он шел прямою дорогой и ни разу не уклонился от нее умышленно. Драгоценное чувство, которое, среди скорби и бед, как неотъемлемое сокровище, живет в сердце честного человека и пред которым все блага мира, все, что составляет цель людских стремлений,— есть прах и ничто!

Одно это сознание давало Серебряному возможность переносить жизнь, и он, проходя все обстоятельства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое ее слово, находил грустную отраду в мысли, что в самом деле было бы совестно радоваться в теперешнее время и что он не отчуждает себя от братий, но несет вместе с ними свою долю общего бедствия.

Слова Годунова также пришли ему на память, и он горько усмехнулся, вспомнив, с какою уверенностью Годунов говорил о своем знании человеческого сердца. «Видно,— подумал он,— не все умеет угадывать Борис Федорыч! Государственное дело и сердце Ивана Васильевича ему ведомы; он знает наперед, что́ скажет Малюта, что сделает тот или другой опричник; но как чувствуют те, которые не ищут своих выгод, это для него потемки!»

И невольно вспомнил Серебряный о Максиме и подумал, что не так посудил бы названый брат его. Он не

сказал бы ему: «Она не по любви вышла за Морозова, она будет ждать тебя!» Он сказал бы: «Спеши, брат мой! Не теряй ни мгновения; замори коня и останови ее, пока еще время!»

И при мысли о Максиме одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднее, ибо он ведал, что никто уже не сойдется с ним так близко, никто не пополнит своею душою его души, не поможет ему выяснить себе многое, что в честном сердце своем он сознавал смутно, но чего, в тревоге событий, он не успел облечь в ясные очертания...

И будет его жизнь идти своим чередом, не спрашивая, укладываются или нет его лучшие стремления в ее тяжелые требования, и долго, может быть, она будет плести свой пестрый узор, где каждая подробность, взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все явления держатся меж собою неразрывною цепью, истекая одно из другого со строгою последовательностью.

Понурил Серебряный голову, и бросил поводья, и ехал шагом в глухом бору, столь же мрачном, как и его думы. Мерные шаги разбойников прерывали тишину пустыни. Дикие жители ее, белки и верхолазы, не привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека, не прятались при виде ратников, а только взбирались на верхние сучья и любопытно глядели оттуда на проходивших. Пестрые дятлы продолжали цепляться за мшистую кору древесных стволов, повертывали свои красные головы на пришельцев и опять принимались стучать в сухое дерево.

Один из ратников, возбужденный торжественностью природы, затянул вполголоса протяжную песню; другие стали ему подтягивать, и вскоре все голоса слились в один хор, который звучными переливами далеко раздавался под дремучим навесом дерев...

Здесь можно бы кончить эту грустную повесть, но остается сказать, что́ было с другими лицами, которые, быть может, разделяли с Серебряным участие читателя. О самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в конце нашего рассказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелых лет и перенестись в Москву в славный год завоевания Сибири.

ГЛАВА 40

ПОСОЛЬСТВО ЕРМАКА

Много времени протекло с того дня, как Серебряный выехал из Слободы во главе прощенных станичников. Разные перемены произошли с тех пор на Руси. Но Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям и казнил самых лучших, самых знаменитых граждан, то приходил в себя, каялся всенародно и посылал в монастыри богатые вклады и длинные синодики с именами убиенных, приказывая молиться за их упокой. Из прежних его любимцев не уцелело ни одного. Последний и главный из них, Малюта Скуратов, не испытав ни разу опалы, был убит при осаде Пайды, или Вейсенштейна, в Ливонии, и в честь ему Иоанн сжег на костре всех пленных немцев и шведов.

Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву и Польшу.

Одно только счастливое событие произошло в течение этих лет: Иоанн постиг всю бесполезность разделения земли на две половины, из которых меньшая терзала бо́льшую, и по внушению Годунова уничтожил ненавистную опричнину. Он возвратился на жительство в Москву, а страшный дворец в Александровой слободе запустел навсегда.

Между тем много бедствий обрушилось на нашу родину. Голод и мор опустошали города и селения. Несколько раз хан вторгался в наши пределы, и в один из своих набегов он сжег все посады под Москвою и бо́льшую часть самого города. Шведы нападали на нас с севера; Стефан Баторий, избранный сеймом после Жигимонта, возобновил литовскую войну и, несмотря на мужество наших войск, одолел нас своим умением и отнял все наши западные владения.

Царевич Иоанн, хотя разделял с отцом его злодейства, но почувствовал этот раз унижение государства и попросился у царя с войском против Батория. Иоанн увидел в этом замысел свергнуть его с престола, и царевич, спасенный когда-то Серебряным на Поганой

Луже, не избежал теперь лютой смерти. В припадке бешенства отец убил его ударом острого посоха. Рассказывают, что Годунов, бросившийся между них, был жестоко изранен царем и сохранил жизнь только благодаря врачебному искусству пермского гостя Строгонова.

После этого убийства Иоанн, в мрачном отчаянье, созвал Думу, объявил, что хочет идти в монастырь, и приказал приступить к выбору другого царя. Снисходя, однако, на усиленные просьбы бояр, он согласился остаться на престоле и ограничился одним покаянием и богатыми вкладами; а вскоре потом снова начались казни. Так, по свидетельству Одерборна, он осудил на смерть две тысячи триста человек за то, что они сдали врагам разные крепости, хотя сам Баторий удивлялся их мужеству.

Теряя свои владения одно за другим, теснимый со всех сторон врагами, видя внутреннее расстройство государства, Иоанн был жестоко поражен в своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его приемах и наружности. Он стал небрежен в одежде, высокий стан его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, как у старика, и только в присутствии других он делал усилие над собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрел на окольных, не замечает ли кто в нем упадка духа. В эти минуты он был еще страшнее, чем во дни своего величия. Никогда еще Москва не находилась под таким давлением уныния и боязни.

В это скорбное время неожиданная весть пришла от крайнего востока, и ободрила все сердца, и обратила общее горе в радость.

От отдаленных берегов Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самого гостя, который излечил Годунова. Они имели от царя жалованные грамоты на пустые места земли Пермской и жили на них владетельными князьями, независимо от пермских наместников, с своею управой и с своею дружиной, при единственном условии охранять границы от диких сибирских народов, наших недавних и сомнительных данников. Тревожимые в своих деревянных крепостях ханом Кучумом, они решились двинуться за Ка-

менный Пояс и сами напасть на неприятельскую землю. Для успешнейшего исполнения этого замысла они обратились к нескольким разбойничьим, или, как они себя называли, казачьим атаманам, опустошавшим в то время с шайками своими берега Волги и Дона. Главнейшими из них были Ермак Тимофеев и Иван Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшийся чудесным образом от царских стрельцов и долгое время пропадавший без вести. Получив от Строгоновых дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дело, Ермак и Кольцо с тремя другими атаманами подняли знамя на Волге, собрали из удалой вольницы дружину и явились на зов Строгоновых. Сорок стругов были тотчас нагружены запасами и оружием, и небольшая дружина под воеводством Ермака, отслушав молебен, поплыла с веселыми песнями вверх по реке Чусовой к диким горам Уральским. Разбивая везде враждебные племена, перетаскивая суда из реки в реку, они добрались до берегов Иртыша, где разбили и взяли в плен главного воеводу сибирского, Маметкула, и овладели городом Сибирью на высоком и крутом обрыве Иртыша. Не довольствуясь этим завоеванием, Ермак пошел далее, покорил весь край до Оби и заставил побежденные народы целовать свою кровавую *саблю во имя царя* Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только он дал знать о своем успехе Строгоновым и в то же время послал любимого своего атамана Ивана Кольцо к Москве бить челом великому государю и кланяться ему новым царством.

С этою-то радостною вестью Строгоновы приехали к Иоанну, и вскоре после них прибыло Ермаково посольство.

Ликованье в городе было неслыханное. Во всех церквах служили молебны, все колокола звонили, как в светлое Христово воскресенье. Царь, обласкав Строгоновых, назначил торжественный прием Ивану Кольцу.

В большой кремлевской палате, окруженный всем блеском царского величия, Иван Васильевич сидел на престоле в Мономаховой шапке, в золотой рясе, украшенной образами и дорогими каменьями. По правую его руку стоял царевич Федор, по левую Борис Годунов. Вокруг престола и дверей размещены были рынды, в белых атласных кафтанах, шитых серебром, с узорными топора-

ми на плечах. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянув духом после известия, привезенного Строгоновыми, Иоанн смотрел не так уже мрачно, и на устах его даже появлялась улыбка, когда он обращался к Годунову с каким-нибудь замечанием. Но лицо его сильно постарело, морщины сделались глубже, на голове осталось мало волос, а из бороды они вылезли вовсе.

Борис Федорович в последние годы пошел быстро в гору. Он сделался шурином царевича Федора, за которого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важный сан конюшего боярина. Рассказывали даже, что царь Иван Васильевич, желая показать, сколь Годунов и невестка близки его сердцу, поднял однажды три перста кверху и сказал, дотрогиваясь до них другою рукой:

«Се Феодор, се Ирина, се Борис; и как руке моей было бы одинаково больно, который из сих перстов от нее бы ни отсекли, так равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного из трех возлюбленных чад моих».

Такая необыкновенная милость не родила в Годунове ни надменности, ни высокомерия. Он был по-прежнему скромен, приветлив к каждому, воздержан в речах, и только осанка его получила еще более степенности и ту спокойную важность, которая была прилична его высокому положению.

Не без ущерба своему нравственному достоинству достиг, однако, Годунов такого влияния и таких почестей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя от дел, не одобряемых его совестью. Так, он, видя в Малюте слишком сильного соперника и потеряв надежду уронить его в глазах Иоанна, вошел с ним в тесную дружбу и, чтобы связать сильнее их обоюдные выгоды, женился на его дочери. Двадцать лет, проведенных у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борису Федоровичу, и в нем уже совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, одаренного самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Феодора, нельзя было удержаться от мысли, что слабы те руки, которым по смерти Иоанна надлежало поддерживать государство. Ни малейшей

черты ни умственной, ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Он был уже два года женат, но выражение его осталось детское. Ростом он был мал, сложением дрябл, лицом бледен и опухловат. Притом он постоянно улыбался и смотрел робко и запуганно. Недаром ходили слухи, что царь, жалея о старшем сыне, говаривал иногда Феодору: «Пономарем бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»

«Но бог милостив,— думали многие,— пусть царевич слаб; благо, что не пошел он ни в батюшку, ни в старшего брата! А помогать ему будет шурин его, Борис Федорович. Этот не попустит упасть государству!»

Шепот, раздавшийся во дворце между придворными, был внезапно прерван звуками труб и звоном колоколов. В палату вошли, предшествуемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максим и Никита Строгоновы с дядею их Семеном. Позади несли дорогие меха, разные странные утвари и множество необыкновенного, еще не виданного оружия.

Иван Кольцо, шедший во главе посольства, был человек лет под пятьдесят, среднего роста, крепкого сложения, с быстрыми проницательными глазами, с черною, густою, но короткою бородой, подернутою легкою проседью.

— Великий государь! — сказал он, приблизившись к ступеням престола,— казацкий твой атаман Ермак Тимофеев, вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осужденными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе челом новым царством. Прибавь, великий государь, к завоеванным тобою царствам Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколе всевышний благоволит стоять миру!

И, проговорив свою краткую речь, Кольцо вместе с товарищами опустился на колени и преклонил голову дó земли.

— Встаньте, добрые слуги мои! — сказал Иоанн.— Кто старое помянет, тому глаз вон, и быть той прежней опале не в опалу, а в милость. Подойди сюда, Иван!

И царь протянул к нему руку, а Кольцо поднялся с земли и, чтобы не стать прямо на червленое подножие престола, бросил на него сперва свою баранью шапку,

наступил на нее одною ногою и, низко наклонившись, приложил уста свои к руке Иоанна, который обнял его и поцеловал в голову.

— Благодарю преблагую и пресущественную троицу,— сказал царь, подымая очи к небу,— зрю надо мною всемогущий промысел божий, яко в то самое время, когда теснят меня враги мои, и даже ближние слуги с лютостью умышляют погубить меня, всемилостивый бог дарует мне верх и одоление над погаными и славное приращение моих государств!

И, обведя торжествующим взором бояр, он прибавил с видом угрозы:

— Аще господь бог за нас, никто же на ны! Имеющие уши слышати да слышат!

Но в то же время он почувствовал, что напрасно омрачает общую радость, и обратился к Кольцу, милостиво смягчая выражение очей:

— Как нравится тебе на Москве? Видывал ли ты где такие палаты и церкви? Али, может, ты уже прежде бывал здесь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и белизна зубов его как будто осветила его смуглое загорелое лицо.

— Где нам, малым людям, такие чудеса видеть! — сказал он, смиренно пожимая плечами.— Нам и во сне такой лепоты не снилось, великий государь! Живем на Волге по-мужицки, про Москву только слухом слышим, а в этом краю отродясь не бывывали!

— Поживи здесь,— сказал Иоанн благоволительно,— я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумели и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцов идти помогать вам.

— Премного благодарствуем,— отвечал Кольцо, низко кланяясь,— только не мало ли будет, великий государь?

Иоанн удивился смелости Кольца.

— Вишь ты, какой прыткий! — сказал он, глядя на него строго.— Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охотни-

ков. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут селиться на те новые земли! И архиерею вологодскому написали мы, чтоб отрядил десять попов обедни вам служить и всякие требы исполнять.

— И на этом благодарим твою царскую милость,— ответил Кольцо, вторично кланяясь.— Это дело доброе; только не пожалей уж, великий государь, поверх попов, и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрельного поболе!

— Не будет вам и в этом оскудения. Есть Болховскому про то указ от меня.

— Да уж и пообносились мы больно,— заметил Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая плечами.

— Небось некого в Сибири по дорогам грабить? — сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана.— Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же положил мое царское жалованье начальным и рядовым людям. А чтоб и ты, господин советчик, не остался без одежи, жалую тебе шубу с моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотою парчой, и надели ее на Ивана Кольцо.

— Язык-то у тебя, я вижу, остер,— сказал Иоанн,— а есть ли острая сабля?

— Да была недурна, великий государь, только поиступилась маленько о сибирские головы!

— Возьми из моей оружейной саблю, какая тебе боле приглянется, да смотри, выбирай по сердцу, которая покраше. А впрочем, ты, я думаю, чиниться не будешь!

Глаза атамана загорелись от радости.

— Великий государь! — воскликнул он,— изо всех твоих милостей эта самая большая! Грех было бы мне чиниться на твоем подарке! Уж выберу в твоей оружейной что ни на есть лучшее! Только,— прибавил он, немного подумав,— коли ты, государь, не жалеешь своей сабли, то дозволь лучше отвезти ее от твоего царского имени Ермолаю Тимофеичу!

— Об нем не хлопочи, мы и его не забудем. А коли ты боишься, что я не сумею угодить на его милость, то возьми две сабли, одну себе, другую Ермаку.

— Исполать же тебе, государь! — воскликнул Кольцо в восхищении.— Уж мы этими двумя саблями послужим твоему царскому здоровью!

— Но сабель не довольно,— продолжал Иоанн.— Нужны вам еще добрые брони. На тебя-то мы, примеривши, найдем, а на Ермака как бы за глаза не ошибиться. Какого он будет роста?

— Да, пожалуй, будет с меня, только в плечах пошире. Вот хоть бы с этого молодца,— сказал Кольцо, оборачиваясь на одного из своих товарищей, здорового детину, который, принесши огромную охапку оружия и свалив ее на землю, стоял позади его с разинутым ртом и не переставал дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рынд, окружавших престол. Он даже попытался вступить потихоньку с одним из них в разговор, чтоб узнать, не все ли они царевичи? Но рында посмотрел на него так сурово, что тот не возобновлял более вопроса.

— Принести сюда,— сказал царь,— большую броню с орлом, что висит в оружейной на первом месте. Мы примерим ее на этого пучеглазого!

Вскоре принесли тяжелую железную кольчугу, с медною каймой вокруг рукавов и подола и с золотыми двуглавыми орлами на груди и спине.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всех одобрительный шепот.

— Надевай ее, тюлень! — сказал царь.

Детина повиновался, но, сколько ни силился, он не мог в нее пролезть и допихнул руки только до половины рукавов.

Какое-то давно забытое воспоминание мелькнуло при этом виде в памяти Иоанна.

— Будет! — сказал Кольцо, следивший заботливо за детиной,— довольно пялить царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медведь! Государь,— продолжал он,— кольчуга добрая, и будет Ермолаю Тимофеичу в самую пору; а этот потому пролезть не может, что ему кулаки мешают. Этаких кулаков ни у кого нет, окроме его!

— А ну-ка, покажи свой кулак? — сказал Иоанн, с любопытством вглядываясь в детину.

Но детина смотрел на него в недоумении, как будто не понимая приказания.

— Слышь ты, дурень,— повторил Кольцо,— покажи кулак его царской милости!

— А коли он мне за то голову срубит? — сказал детина протяжно, и на глупом лице его изобразилось опасение.

Царь засмеялся, и все присутствующие с трудом удержались от смеха.

— Дурак, дурак! — сказал Кольцо с досадою,— был ты всегда дурак и теперь дураком остался!

И, высвободив детину из кольчуги, он подтащил его к престолу и показал царю его широкую кисть, более похожую на медвежью лапу, чем на человеческую руку.

— Не взыщи, великий государь, за его простоту. Он в речах глуп, а на деле парень добрый. Он своими руками царевича Маметкула полонил.

— Как его зовут? — спросил Иоанн, все пристальнее вглядываясь в детину.

— А Митькою! — отвечал тот добродушно.

— Постой! — сказал Иоанн, узнавая вдруг Митьку,— ты, никак, тот самый, что в Слободе за Морозова бился и Хомяка оглоблей убил?

Митька глупо улыбнулся.

— Я тебя, дурня, сначала не признал, а теперь вспоминаю твою рожу!

— А я тебя сразу признал! — ответил Митька с довольным видом,— ты на высоком ослоне у самого поля сидел!

Этот раз все громко засмеялись.

— Спасибо тебе,— сказал Иоанн,— что не забыл ты меня, малого человека. Как же ты Маметкула-то в полон взял?

— Жовотом навалился! — ответил Митька равнодушно и не понимая, чему опять все захохотали.

— Да,— сказал Иоанн, глядя на Митьку,— когда этакий чурбан навалится, из-под него уйти нелегко. Помню, как он Хомяка раздавил. Зачем же ты ушел тогда с поля? Да и как ты из Слободы в Сибирь попал?

Атаман толкнул Митьку неприметно локтем, чтобы он молчал, но тот принял этот знак в противном смысле.

— А он меня с поля увел! — сказал он, тыкнув пальцем на атамана.

— Он тебя увел? — произнес Иван Васильевич, посматривая с удивлением на Кольцо.— А как же,— продолжал он, вглядываясь в него,— как же ты сказал, что в первый раз в этом краю? Да погоди-ка, брат, мы, кажется, с тобой старые знакомые. Не ты ли мне когда-то про Голубиную книгу рассказывал? Так, так, я тебя узнаю. Да ведь ты и Серебряного-то из тюрьмы увел. Как же это, божий человек, ты прозрел с того времени? Куда на богомолье ходил? К каким мощам прикладывался?

И, наслаждаясь замешательством Кольца, царь устремлял на него свой проницательный, вопрошающий взгляд.

Кольцо опустил глаза в землю.

— Ну,— сказал наконец царь,— что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Поведай мне только, зачем ты, после рязанского дела, не захотел принести мне повинной вместе с другими ворами?

— Великий государь,— ответил Кольцо, собирая все свое присутствие духа,— не заслужил я еще тогда твоей великой милости. Совестно мне было тебе на глаза показаться; а когда князь Никита Романыч повел к тебе товарищей, я вернулся опять на Волгу, к Ермаку Тимофеичу, не приведет ли бог какую новую службу тебе сослужить!

— А пока мою казну с судов воровал да послов моих кизилбашских на пути к Москве грабил?

Вид Ивана Васильевича был более насмешлив, чем грозен. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лет, а злопамятность царя не продолжалась так долго, когда она не была возбуждена прямым оскорблением его личного самолюбия.

Кольцо прочел на лице Иоанна одно желание посмеяться над его замешательством. Соображаясь с этим расположением, он потупил голову и погладил заты-

лок, сдерживая на лукавых устах своих едва заметную улыбку.

— Всякого бывало, великий государь! — проговорил он вполголоса.— Виноваты перед твоею царскою милостью!

— Добро! — сказал Иоанн,— вы с Ермаком свои вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мне в руки, ну, тогда не прогневайся!..

Кольцо не отвечал ничего, но подумал про себя: «Затем-то я тогда и не пошел к тебе с повинною, великий государь!»

— Погоди-ка,— продолжал Иоанн,— здесь должен быть твой приятель!

— Эй! — сказал он, обращаясь к царедворцам,— здесь ли тот разбойничий воевода, как бишь его? Микита Серебряный?

Говор пробежал по толпе, и в рядах сделалось движение, но никто не отвечал.

— Слышите? — повторил Иоанн, возвышая голос,— я спрашиваю, тут ли тот Микита, что отпросился к Жиздре с ворами служить?

На вторичный вопрос царя выступил из рядов один старый боярин, бывший когда-то воеводою в Калуге.

— Государь,— сказал он с низким поклоном,— того, о ком ты спрашиваешь, здесь нет. Он в тот самый год, как пришел на Жиздру, тому будет семнадцать лет, убит татарами, и вся его дружина вместе с ним полегла.

— Право? — сказал Иоанн,— а я и не знал! Ну,— продолжал он, обращаясь к Кольцу,— на нет и суда нет, а я хотел вас свести да посмотреть, как вы поцелуетесь!

На лице атамана выразилась печаль.

— Жаль тебе, что ли, товарища? — спросил Иоанн с усмешкой.

— Жаль, государь! — отвечал Кольцо, не боясь раздражить царя этим признанием.

— Да,— сказал царь презрительно,— так оно и должно быть; свой своему поневоле брат!

Вправду ли Иоанн не ведал о смерти Серебряного или притворился, что не ведает, чтоб этим показать, как мало он дорожит теми, кто не ищет его милости, бог

весть! Если же в самом деле он только теперь узнал о его участи, то пожалел ли о нем или нет, это также трудно решить; только на лице Иоанна не написалось сожаления. Он, по-видимому, остался так же равнодушен, как и до полученного им ответа.

— Поживи здесь,— сказал он Ивану Кольцу,— а когда придет время Болховскому выступать, иди с ним обратно в Югорскую землю... Да я было и забыл, что Болховской свое колено от Рюрика ведет. С этими вельможными князьями управиться нелегко: пожалуй, и со мной захотят в разрядах считаться! Не все они, как тот Микита, в станичники просятся. Так чтобы не показалось ему обидным быть под рукою казацкого атамана, жалую ныне же Ермака князем Сибирским! Щелкалов,— сказал он стоявшему поодаль думному дьяку,— изготовь к Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей Сибирскою, а Маметкула чтобы к Москве за крепким караулом прислал. Да кстати, напиши грамоту и Строгоновым, что жалую-де их за добрую службу и радение: Семену Большую и Малую Соль на Волге, а Никите и Максиму торговать во всех тамошних городах и острожках беспошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

— Кто из вас,— спросил вдруг Иоанн,— излечил Бориса в ту пору, как я его осном поранил?

— То был мой старший брат, Григорий Аникин,— отвечал Семен Строгонов.— Он волею божьею прошлого года умре!

— Не Аникин, а Аникьевич,— сказал царь с ударением на последнем слоге,— я тогда же велел ему быть выше гостя и полным отчеством называться. И вам всем указываю писаться с *вичем* и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся рассмотрением мягкой рухляди и прочих даров, присланных Ермаком, и отпустил Ивана Кольцо, сказав ему еще несколько милостивых насмешек.

За ним разошлось и все собрание.

В этот день Кольцо вместе с Строгоновыми обедал у Бориса Федоровича за многолюдным столом.

После обычного осушения кубков во здравие царя, царевича, всего царского дома и высокопреосвященного митрополита Годунов поднял золотую братину и пред-

ложил здоровье Ермака Тимофеевича и всех его добрых товарищей.

— Да живут они долго на славу Русской земли! — воскликнули все гости, вставая с мест и кланяясь Ивану Кольцу.

— Бьем тебе челом ото всего православного мира,— сказал Годунов с низким поклоном,— а в твоем лице и Ермаку Тимофеевичу, ото всех князей и бояр, ото всех торговых людей, ото всего люда русского! Приими ото всей земли великое челобитие, что сослужили вы ей службу великую!

— Да перейдут,— воскликнули гости,— да перейдут имена ваши к сыновьям, и ко внукам и к поздним потомкам, на вечную славу, на любовь и образец, на молитвы и поучение!

Атаман встал из-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно изменилось от душевного волнения, губы задрожали, а на смелых глазах, быть может первый раз в жизни, навернулись слезы.

— Да живет Русская земля! — проговорил он тихо и, поклонившись на все стороны, сел опять на свое место, не прибавляя ни слова.

Годунов попросил атамана рассказать что-нибудь про свои похождения в Сибири, и Кольцо, умалчивая о себе, стал рассказывать с одушевлением про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про християнскую доброту, с какою он всегда обходился с побежденными.

— На эту-то доброту,— заключил Кольцо,— Ермак Тимофеевич взял, пожалуй, еще более, чем на свою саблю. Какой острог или город ихный, бывало, ни завоюем, он тотчас всех там обласкает, да еще и одарит. А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и честить его; с своих плеч шубу снял и надел на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю, что под его руку сдаваться не тяжело; и много разных князьков тогда же сами к нему пришли и ясак принесли. Веселое нам было житье в Сибири,— продолжал атаман,— об одном только жалел я: что не было с нами князь Никиты Романыча Серебряного; и ему бы пó сердцу пришлось, и нам вместе было бы моготнее. Ты, кажется, Бо-

рис Федорыч, был в дружбе с ним. Дозволь же теперь про его память выпить!

— Царствие ему небесное! — сказал со вздохом Годунов, которому ничего не стоило выказать участие к человеку, столь уважаемому его гостем.— Царствие ему небесное! — повторил он, наливая стопу.— часто я о нем вспоминаю!

— Вечная ему память! — сказал Кольцо, и, осушив свою стопу, он опустил голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столом, а когда кончился обед, Годунов и тут никого не отпустил домой, но пригласил каждого сперва отдохнуть, а потом провести с ним весь день. Угощения следовали одно за другим, беседа сменяла беседу, и только поздним вечером, когда объезжие головы уже несколько раз проехались по улицам, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушием Бориса Федоровича.

Прошло более трех веков после описанных дел, и мало осталось на Руси воспоминаний того времени. Ходят еще в народе предания о славе, роскоши и жестокости грозного царя, поются еще кое-где песни про осуждение на смерть царевича, про нашествия татар на Москву и про покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, которого изображения, вероятно, несходные, можно видеть доселе почти во всех избах сибирских; но в этих преданиях, песнях и рассказах — правда мешается с вымыслом, и они дают действительным событиям колеблющиеся очертания, показывая их как будто сквозь туман и дозволяя воображению восстановлять по произволу эти неясные образы.

Правдивее говорят о наружной стороне того царствования некоторые уцелевшие здания, как церковь Василия Блаженного, коей пестрые главы и узорные теремки могут дать понятие о причудливом зодчестве Иоаннова дворца в Александровой слободе, или церковь Трифона Напрудного, между Бутырскою и Крестовскою заставами, построенная сокольником Трифоном вследствие данного им обета и где доселе видно изображе-

ние святого угодника на белом коне, с кречетом на рукавице [1].

Слобода Александрова, после выезда из нее царя Ивана Васильевича, стояла в забвении, как мрачный памятник его гневной набожности, и оживилась только один раз, но и то на краткое время. В смутные годы самозванцев молодой полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, в союзе с шведским генералом Делагарди, сосредоточил в ее крепких стенах свои воинские силы и заставил оттуда польского воеводу Сапегу снять долговременную осаду с Троицко-Сергиевской лавры.

Впоследствии, рассказывает предание, в одну жестокую зиму, в январе месяце, к ужасу жителей, нашла на Александрову слободу черная туча, спустилась над самым дворцом и разразилась над ним громовым ударом, от которого запылали терема и вся Слобода обратилась в пепел. От жилища роскоши, разврата, убийств и святотатных богослужений не осталось и следа...

Да поможет бог и нам изгладить из сердец наших последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению! Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствованье; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти возмутительные явления были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая так низко, что могла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигул.

Лица, подобные Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нередко как светлые звезды на безотрадном небе нашей русской ночи, но, как и самые звезды, они были бессильны разог-

---

[1] С тех пор как это написано, церковь Трифона Напрудного так переделана, что ее узнать нельзя. Снаружи приделки, а внутренность переписана и перештукатурена в новом вкусе. Все это вследствие пожертвований *доброхотных дателей*, как объясняют причетники.

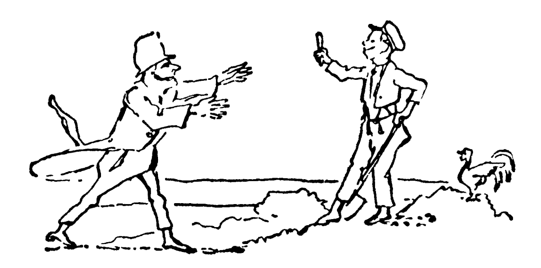
нать ее мрак, ибо светились отдельно и не были сплочены, ни поддерживаемы общественным мнением. Простим же грешной тени Ивана Васильевича, но помянем добром тех, которые, завися от него, устояли в добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга! Мир праху вашему, люди честные! Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли прямою дорогой, не боясь ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего.

Конец 1840-х годов — 1861

Приложение

БАСНЯ О ТОМ, ЧТО, ДИСКАТЬ, КАК ОДИН ФИЛОСОФ ОСТАЛСЯ БЕЗ ОГУРЦОВ

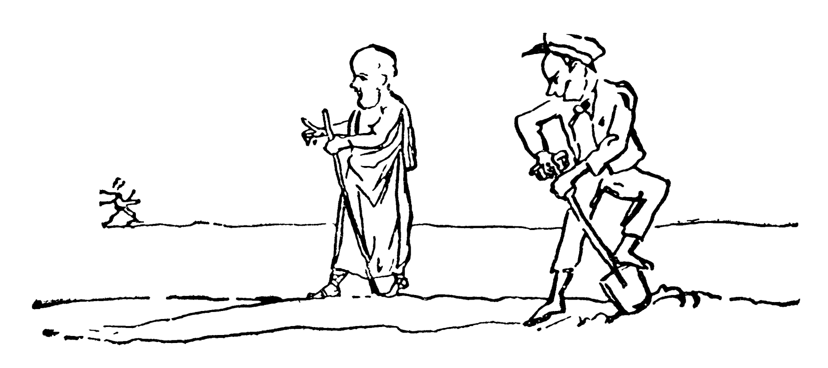
Вот, я вам скажу, был однажды один — — — огородник. А что вы думали, я скажу один философ? нет, не философ; философ будет после, а это только огородник, вот так только огородник, да и полно. Ну вот этот огородник, знаете, когда пришла осень, то есть не осень, а весна, начал сажать разные овощи, там бобы, картофель, стрючки разные и прочее. Вот он, знаете, так землю копает, потеет, а в зубах держит финик. Вот на ту пору проходит его отец, г. Златогор, и говорит ему, что ты, дискать, дурак, ибо финик требует достаточного времени, чтобы вырасти и дать плод. Огородник, знаете, был не промах, он слушал, слушал, плюнул и сказал: «К сластям робята падки, а финики ведь сладки». Вот и выходит, что отец остался в дураках, то есть это еще не самая басня, а так, интермедия, а басня будет после обеда, поевши



Огородник говорит отцу, что, дискать, «к сластям робята падки, а финики ведь сладки», после чего петух говорит, что, дискать, «легче своротить солнце с пути его, нежели Фабриция с пути чести».

мягкого хлеба. Ну вот этот, как бишь его? огородник! хорошо, да, огородник, и копает землю и так, знаете, потеет, так, знаете, и лоснится, даже индо гадко смотреть, точно свинья, переверни страницу, точно свинья, так и кряхтит и копает, даже вонь от него идет, так и пахнет гуммиэластиком, а петух, знаете, подбирает из-под него жемчужные зерна и говорит, что, дискать, легче своротить солнце с пути его, нежели Фабриция с пути чести.

После того проходит мимо философ. Вот видите, дождались же философа! проходит мимо философ.

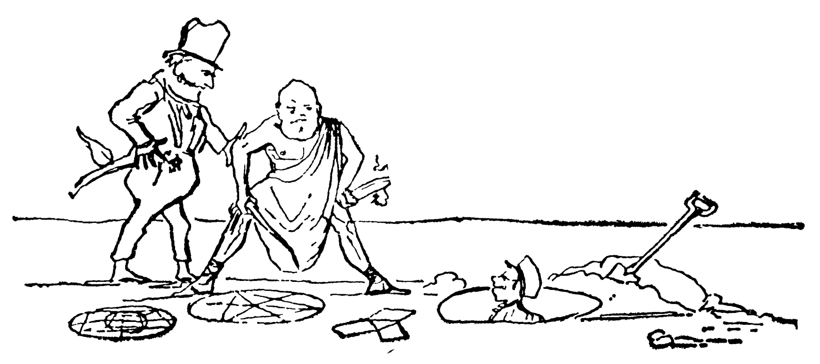


Философ проходит мимо. Вдали уходит г. Златогор.

Вот, увидев философа, огородник и думает: дай-ка я ему сделаю штуку! и начал кричать изо всего горла: философ, а философ! а философ! тот воротился и говорит: чего тебе, а? чего тебе? а? — Огородник. Как ты думаешь, что я теперь делаю? Философ. Ты делаешь яму. Огородник. На что? Философ. Так, на что-нибудь. Огородник. Нет, не так! Философ. А как? Огородник. А вот так. Философ. Как так? Огородник. Я буду сажать. Философ. Что ты будешь сажать? Огородник. Отгадай! Философ. Капусту? Огородник. Больше. Философ. Морковь? Огородник. Больше. Философ. Стрючки? Огородник. Больше. Философ. Ну так говори сам, дурак. Огородник. Я буду сажать — слушай — я буду сажать — огурцы! Философ. Огурцы? Огородник. Огурцы! — Ну тут, знаете, философ и говорит ему этак высокопарно, знаете, этак торжественно, этак тезоименитным слогом — ведь они все, философы, такие, ведь и Вольтер был философ, и Дидерот был философ! Они все этак, знаете, красно говорят, кажется сначала этак все приятно, а посмотришь? и выйдет Пюсель д'Орлеан! Ну так вот я говорил, что, говорю, что философ этак и говорит огороднику, что, говорит, ты напрасно, говорит, трудишься, говорит, огурцы, говорит, можно сажать и не трудясь, говорит.

Философ говорит, что огурцы можно сажать и не трудясь. Г. Златогор подтверждает сие мнение. Происходит разногласие.

Я, говорит, хочу сам сажать огурцы, без всяких трудов, а только помощию геометрических исчислений.

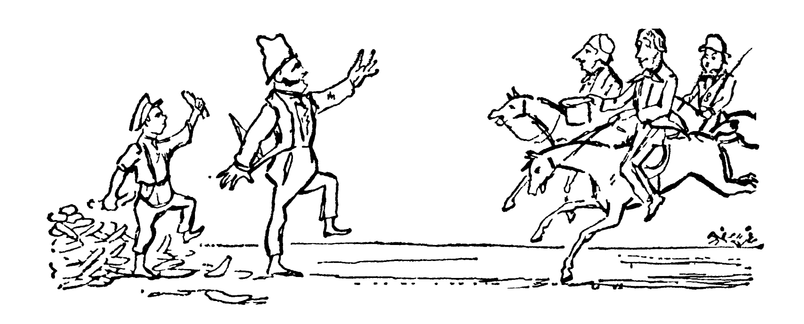


Философ сажает огурцы помощию геометрических вычислений. Г. Златогор одобряет сие действие.

Ну вот, знаете, покамест философ трудится, ломает голову, у огородника огурцы так, знаете, и растут, вот так и растут.

Огурцы растут.

Ну вот тут приезжают к г. Златогору гости, и их всех потчевают огурцами. Г. Златогор этак радуется и целует огородника в лоб.



К Златогору приезжают гости.

Ну а философ — ха, ха, ха! — философ остался — философ остался без — философ остался без — чего вы думаете? — Ну уж сами отгадайте, я не скажу.— Ну уж так и быть, скажу: философ остался — без моркови! А что вы думали? я скажу без огурцов? Так нет же, без моркови! — А мухи-то, высунули свои машинки и говорят: мы пахали!

Нравоучение. Надобно, чтоб каждый почетный гражданин старался быть огородником.

Конец 1830-х годов

О ТОМ, КАК ЮНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВАШИНГТОН В СКОРОМ ВРЕМЕНИ СДЕЛАЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Юный президент Вашингтон.

Ну что вы думаете, ведь Вашингтон не всегда же был президентом! Он, я вам скажу, был прежде вот то есть так просто мальчиком; не то чтобы иным чем, а вот так просто-таки мальчиком в лавочке. Вот, знаете, он и начал собирать: сперва булавки. Вот как увидит на полу булавку, вот он, знаете, так и лезет прямо на булавку; потом ниточки, а там, знаете, вот, например, ореховую скорлупу или там прочее что, знаете, например, ногти и т. д.

Вашингтон собирает разные вещи.

Ну вот, знаете, он эдаким образом все собирал, собирал и наконец собрал сколько вы думаете? Он собрал, я вам скажу, 300 000 000 миллионов. Ну что ему делать с этими 300 000 000 миллионами? Вот он, знаете, и купил себе — кошку! Купил себе кошку и поехал в Америку.

Вашингтон покупает кошку. Вашингтон едет в Америку.

Вот, знаете, он подъезжает к Америке, слышит ужасный шум. «Что там такое?» — спрашивает юный Вашингтон. «Это,— говорят ему,— мыши съедают все кушанье у нашего Касика Инки».— «Это что за такой за Инка?» — спрашивает юный Вашингтон. «Это так, ничего, не будем об этом говорить; детям про это не нужно знать,— отвечают ему жители Америки.— Но, впрочем, что это у вас за зверь?» — «Это так, ничего,— отвечает юный Вашингтон,— но, впрочем, посмотрите». И вот, знаете, он как пустит своего Ваську-то, так тот, знаете, мышей так и уписывает. В скором времени он от мышей очистил всю Америку. Инка был так поражен сим зрелищем и между тем таким проникнут к юному Вашингтону почтением, что он перед ним вытянулся как струнка, не смея произнести ни одного слова. Постояв немного в таком положении, он вскричал: «Великий юный Вашингтон! Ты, верно, умеешь брить! У моего народа, у американцев, очень густые бороды и волосы; плешивых вовсе не видать, а при таком ужасном зное и жаре это

пренесносно. Обрей нас, великий юный Вашингтон!» А надобно вам сказать, что лавочка, в которой юный Вашингтон воспитывался, была лавочка одного цирюльника. Юный Вашингтон там в продолжение четырех лет брил у мужиков колены, а у прохожих шляпы за самую сходную цену. Вот он, знаете, и вынимает из кармана бритву, намазывает сперва Инке голову и выбривает ему плешь наподобие как у капуцинов. Потом, знаете, он принимается и за прочих своих антиподов и всех очень чисто обривает, так, знаете, кому голову, кому бороду, так что все, знаете, очень довольны.

Юный Вашингтон бреет антиподов.

Ну вот, обривши антиподов, он и говорит Инке, что, дискать, еще надобно округлить все шероховатости. Только Инка, знаете, никак на это не согласился.

Юный Вашингтон говорит Инке, что надобно округлить все шероховатости.

Вот, знаете, Инка и говорит юному Вашингтону, что вот, говорит, дискать, ты у меня проси все, чего ни захочешь. «Сделайте меня президентом Соединенных Штатов!» — восклицает юный Вашингтон. «Изволь!» — отвечает Инка. Ну вот он и сделался президентом Соединенных Штатов, поехал в Альгамбру и получил имя: *Вашингтон Ирвинг*. А *Ирвинг* — это сокращенные слова: *И*нке *Р*езал *В*олосы *И*ностранный *Н*егоциант *Г*еоргий (ибо его звали George William Washington).

Ну вот и все.

Конец 1830-х годов

Примечания

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Во второй том вошли прозаические произведения А. К. Толстого. Все они, за исключением «Князя Серебряного», при жизни писателя не перепечатывались, а иные («Семья вурдалака», «Встреча через триста лет») вовсе не были им напечатаны.

В приложении помещены две юношеских шутки: «Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов» и «О том, как юный президент Вашингтон в скором времени сделался человеком» — с собственными рисунками писателя.

УПЫРЬ

Впервые отдельной книгой: Упырь. Сочинение Краснорогского. СПб. 1841.

Цензурное разрешение датировано 15 мая. За месяц до этого, 9 апреля 1841 года, Толстой читал «Упыря» у В. А. Соллогуба; об этом чтении сохранились сведения в письме П. А. Плетнева к Я. К. Гроту (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 1, СПб. 1896, стр. 313).

В повести отразились впечатления Толстого от пребывания в Италии, в Комо; см. его письмо к жене от 2 (14) апреля 1872 года, где упоминаются вилла Ремонди, Пепина и пр. Однако Толстой по ошибке относит пребывание в Комо к 1840 году, между тем как это было в 1838 году.

Весьма сочувственно отозвался об «Упыре» В. Г. Белинский, обнаруживший в повести «все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования». Черты молодости и незрелости он усматривал в чрезмерной пылкости и напряженности фантазии, «которая еще не успела умериться опытом жизни и уравновеситься с другими способностями души». В отличие от произведений высоко ценимого им Э.-Т.-А. Гофмана критик считал фантастику «Упыря» внешней, не таящей в себе глубокой мысли. Но, «несмотря на внешность изобретения,— писал он,—

уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, уменье сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом — во всем отпечаток руки твердой, литературной,— все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» — повторяем — есть решительное дарование» (Полн. собр. соч., т. 5, М., 1954, стр. 473—474).

Фантом, или ревенант (франц. revenant) — выходец с того света, привидение. *Стоим себе на Дунае* и т. д. Речь идет о русско-турецкой войне (конец 60-х — начало 70-х годов XVIII в.). *Граф Петр Александрович* — фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский (1725—1796). *Вейсман О.-А.* (ум. в 1773 г.) — генерал русской армии. *Князь Григорий Александрович* — Потемкин. *Чичероне* — гид, проводник, дающий объяснения туристам при осмотре достопримечательностей. *Палладий* — Палладио А. (1508—1580) — знаменитый итальянский архитектор. *Luini* — Луини Бернардино, итальянский художник (1480-е годы — 1532). *Ариостов «Orlando»* — поэма итальянского поэта Л. Ариосто (1474—1533) «Orlando furioso» («Неистовый Роланд»), написанная по мотивам средневекового рыцарского эпоса, но иронически их трактующая. *Ангелика* (Анжелика) и *Медор* — герои поэмы Ариосто. *Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко.* И здесь и дальше речь идет о греческом мифе, согласно которому на свадебном пире Пелея и морской богини Фетиды богиня раздора Эрида бросила среди гостей яблоко с надписью: «Прекраснейшей». Из-за этого яблока возник спор между богинями Герой (Юноной), Афиной (Минервой) и Афродитой (Венерой). Зевс предоставил решить его Парису, который отдал яблоко богине красоты Афродите. С ее помощью Парис похитил жену спартанского царя Менелая Елену, что послужило причиной Троянской войны. Хотя миф этот греческого происхождения, Толстой наделяет богов римскими именами. *Ветурин* (итал. vetturino) — извозчик. *Ладон* (греч. миф.) — божество одноименной реки в Аркадии, а также дракон, охраняющий волшебные яблоки Гесперид. *Пан* (греч. миф.) — бог лесов и рощ. *Сиринга* (Сиринкс) — наяда, которую преследовал Пан; была превращена им в тростник, из которого Пан вырезал себе пастушескую свирель. *Стикс* (греч. миф.) — река, через которую Харон перевозил умерших в царство мертвых. *Подеста* — глава местного самоуправления в итальянских городах. *Геката* (греч. миф.) — богиня призраков, ночных кошмаров, волшебства и заклинаний, повелительница теней в царстве мертвых (Тартаре). *Карлисты* — реакционная партия в Испании, образовавшаяся после того, как король Фердинанд VII объявил наследницей престола

дочь Изабеллу и устранил от престолонаследия своего младшего брата Дон-Карлоса. После смерти Фердинанда VII в 1833 году Дон-Карлос объявил себя королем, и в течение нескольких лет Испания была охвачена гражданской войной, окончившейся поражением карлистов.

СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА

Рассказ написан на французском языке: La famille du vourdalak. Fragement inédit des mémoires d'un inconnu. Впервые, в переводе Б. М. Маркевича,— «Русский вестник», 1884, № 1, стр. 5—31. Французский текст впервые — «Revue des études slaves», т. 26, 1950, стр. 15—33.

В 1815 году в Вене и т. д.— Венский конгресс (1814—1815) завершил войны коалиции европейских держав с Наполеоном I. На конгрессе державы-победительницы заключили договоры, установившие новую политическую карту Европы на основе укрепления феодальной реакции и власти старых династий. Главную роль на Венском конгрессе играли Россия, Австрия и Англия. *Под сомнительной тройственной эгидой независимости* и т. д.— На Венском конгрессе был произведен новый раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией. Краков, являвшийся яблоком раздора между ними, был превращен в самостоятельную республику под опекой трех государств. *Меттерних К.* (1773—1859) — австрийский министр иностранных дел; *Гарденберг* К.-А. (1750—1822) — прусский канцлер (глава правительства); *Нессельроде* К. В. (1780—1862) — русский дипломат, впоследствии министр иностранных дел. Все трое были активными проводниками реакционной политики Священного союза, организованного для борьбы с революционным и национально-освободительным движением. *Кальме* О. (1672—1757) — французский богослов, автор «Рассуждений о явлении ангелов, демонов и духов и о привидениях и вампирах в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии» (1746). *Диана* (рим. миф.), или Артемида (греч. миф.),— богиня луны и охоты; считалась олицетворением неприступной девственности. *Актеон* (греч. миф.) — охотник, увидевший купающуюся Артемиду; разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, и его растерзали собственные собаки. *Адонис* (греч. миф.) — прекрасный юноша; Афродита, полюбившая Адониса еще ребенком, отдала его на воспитание владычице подземного царства Персефоне, которая не пожелала расстаться с ним. Спор между богинями решил Зевс: треть года Адонис должен был проводить у Персефоны, треть — у Афродиты, а остальным временем мог распоряжаться по своему усмотрению.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ

Рассказ написан на французском языке: Le rendez-vous dans trois cents ans. Впервые — в кн. A. Lirondelle, Le poète Alexis

Tolstoi, Paris, 1912, стр. 579—601; в переводе А. Е. Грузинского — «Русские ведомости», 1913, №№ 14, 16, 17.

Рассказ сюжетно связан с «Семьей вурдалака» (образы д'Юрфе и герцогини де Грамон, упоминание о дипломатическом поручении к молдавскому господарю).

Мальтийские рыцари — духовный рыцарский орден. *За тридцать лет до появления «Севильского цирюльника».* Неточность: комедия Бомарше впервые напечатана и поставлена в 1775 году, то есть не через тридцать, а через шестнадцать лет после времени действия рассказа.

ДВА ДНЯ В КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ

Впервые — «Журнал коннозаводства и охоты», 1842, № 5, стр. 51—75, подпись: гр. А. Т.

Кочевка — стоянка кочевников. *Хивинская экспедиция* — была предпринята в 1839 году с целью подчинения России Хивинского ханства. Во главе экспедиционного корпуса стоял оренбургский военный губернатор генерал В. А. Перовский, брат матери Толстого. Поход окончился неудачно.

ВОЛЧИЙ ПРИЕМЫШ

Впервые — «Журнал коннозаводства и охоты», 1843, № 13, январь, стр. 56—58, подпись: гр. А. Т.

АРТЕМИЙ СЕМЕНОВИЧ БЕРВЕНКОВСКИЙ

Впервые — в кн.: Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный графом В. А. Соллогубом, кн. 1, СПб. 1845, стр. 119—132.

«Артемий Семенович Бервенковский» является данью, отданной Толстым «натуральной школе». В образе центрального героя отчетливо ощущается воздействие Гоголя, и прежде всего «Мертвых душ».

Перпетуум мобиле (лат. perpetuum mobile) — вечное движение, вечный двигатель, который якобы может производить работу, не заимствуя энергии извне. Осуществление такой машины невозможно, но оно было в старину излюбленной мечтой многих изобретателей. *Гордиев узел.*— По преданию, фригийский царь Гордий, пожертвовав в храм Зевса свою колесницу, завязал около ее дышла очень запутанный узел. Тому, кто развяжет Гордиев узел, оракул обещал владычество над Азией. Александр Македонский рассек его мечом. *Гром победы, раздавайся!..* — хор, сочиненный Г. Р. Державиным для празднества у Потемкина в 1791 году и часто исполнявшийся впоследствии в разных торжественных случаях.

АМЕНА

Впервые — в кн.: Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный графом В. А. Соллогубом, кн. 2, СПб. 1846, стр. 127—150.

О романе «Стебеловский», отрывком из которого является «Амена», не сохранилось никаких сведений. Написал ли Толстой еще что-нибудь, кроме этого отрывка, какое место занимал он в общем замысле, нам неизвестно.

На первой странице «Амены» отразились детские впечатления Толстого во время его первого пребывания в Италии. В дневнике 1831 года читаем: «Мы ездили сегодня в Коллосей и видели там странную церемонию, в которой монахи с завешанной головой ходили вокруг арены и пели хором. При входе стоял такой же монах и сбирал милостыню, звоня в колокольчик... В серых мантиях, с суконною маскою на лице, в которой прорезаны были только две дырочки для глаз, медленно двигались они между руинами, и последние лучи заходящего солнца, освещающие их сквозь древние своды, дополняли волшебство сей сцены» (Собр. соч., т. 4, М., 1964, стр. 25—26).

Отрицательно отнесся к «Амене» В. Г. Белинский. В рецензии на сборник «Вчера и сегодня» он заметил: «Довольно скучна статья «Амена»...— нечто вроде неудачного раздражения мысли, взятой в плен из сочинений Шатобриана» (Поли. собр. соч., т. 9, М., 1955, стр. 587).

Имя Ф. Шатобриана названо не случайно. Белинский имел в виду его книгу «Мученики, или Торжество христианской религии» (1809), центральной темой которой является столкновение двух миров, двух мировоззрений, двух нравственных философий — язычества и христианства. Есть некоторые черты сходства между Амвросием и героем «Мучеников» Эвдором (временная измена христианским убеждениям).

Из русских поэтов — современников Толстого — эта историческая коллизия глубоко волновала А. Н. Майкова. Еще в сборнике стихотворений 1842 года были напечатаны отрывки из драматической поэмы «Олинф и Эсфирь», а затем она была более широко и ярко воплощена в его зрелых произведениях — «Смерть Люция» и «Два мира».

В «Амене», как и в произведениях Майкова, обращают на себя внимание два момента. Во-первых, рисуя торжество христианства, Толстой более рельефно изобразил умирающий языческий мир. Во-вторых, сквозь историческую тему у него явственно просвечивает идейная тенденция, связанная с современностью (это отчетливо проявилось и в «Мучениках» Шатобриана). В «Амене» развенчиваются склонность к компромиссу и капитуляция перед силой, неспособность поступиться личными выгодами и материаль-

ными благами и принести себя в жертву ради убеждений. Ориентация на современность подчеркивается композицией отрывка, в котором переплетаются два хронологических плана, разделенных многими веками. Монах, рассказывающий о том, что произошло давным-давно в императорском Риме, отождествляется с одним из главных действующих лиц — Амвросием (см. реплики «ты говоришь об ней, как будто бы сам ее видел» на стр. 160 и «так принимаешь рассказ свой к сердцу, как будто бы сам знал Амвросия» на стр. 171, а главное, концовку «Амены»).

Как и в «Упыре», в «Амене» боги и мифологические герои действуют рядом с людьми. Но если в «Упыре» это мотивировано сном или болезненным бредом Владимира, то в «Амене» (наряду с аналогичным приемом) жители Олимпа, пришедшие в гости к Амвросию, изображены как реально существующие личности.

Максимиан — римский император в конце III — начале IV века. *Тарпейская скала* — утес в Риме, с которого сбрасывали приговоренных к смерти. *Преторияицы* (преторианцы) — в Древнем Риме солдаты императорской гвардии, пользовавшиеся большими привилегиями; в переносном смысле — наемные войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе. *Триклиний* — у древних римлян обеденный стол с тремя кушетками для возлежания. *Анадиомена* — одно из прозвищ Венеры. *Как Улисс поступил с неверным пастырем коз.* Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» (песнь 9) об одноглазом великане, людоеде Полифеме. Напоив его вином, Одиссей (Улисс) выжег ему единственный глаз, благодаря чему спасся. *Песнь, которую в «Одиссее» поет Демодок* и т. д. Демодок — слепой певец. В «Одиссее» (песнь 8) описывается, как ревнивый супруг Афродиты (Венеры), бог огня и кузнечного ремесла Гефест (Вулкан), поймал ее и ее возлюбленного, бога войны Арея (Марса), в хитро расставленные сети. *Человек в золотой короне* — Юпитер (Зевс). *У ног ее ворковали два голубя.* Голубь — один из атрибутов Венеры; она часто изображалась с голубем в руке. *Как Тезей поступил с Прокрустом.* Речь идет об одном из подвигов героя греческой мифологии Тезея, умертвившего разбойника — великана Прокруста. Всех попадавших к нему в руки путников Прокруст подвергал мучительному истязанию: он укладывал их на ложе, и если ноги жертвы были слишком коротки, он вытягивал их до тех пор, пока они не касались края ложа; если слишком длинны,— обрубал их. Тезей расправился с Прокрустом таким же способом. *Тантал* (греч. миф.) — сын Зевса и любимец богов; за оскорбление их был низвергнут в подземное царство и жестоко наказан. Стоя по горло в воде и изнемогая от жажды, он не мог сделать ни одного глотка: как только он наклонялся, вода тотчас же отступала. Не мог он утолить и голод: ветви с плодами, склонявшиеся над его головой, тотчас же отодвигались, как только он протягивал к ним руку. *Золотой пояс не-*

обыкновенной работы. Постоянным атрибутом Венеры (Афродиты) был чудесный пояс, в котором скрывалась тайна ее обаяния. *Как Аполлон с Марсиасом.* Марсиас, один из силенов, спутников бога Вакха (Диониса), нашел флейту, брошенную Афиной, вызвал на состязание Аполлона и был им побежден. Разгневанный дерзостью Марсиаса, Аполлон снял с него кожу и повесил ее на дереве. При звуке флейты кожа Марсиаса трепетала. *Гермес* (греч. миф.) — вестник богов, посланник Зевса, бог торговли и покровитель купцов. В римской мифологии ему соответствует Меркурий. *Высокий мужчина с кудрявой черной бородой* — Зевс (Юпитер). *Запачканного сажей и сильно хромавшего.* Имеется в виду Гефест. *Сципион* П.-К. Африканский Старший (ок. 235—183 до н. э.) — римский полководец. С его именем связана легенда, согласно которой взятую в плен девушку исключительной красоты он не сделал, по варварским обычаям того времени, своей рабой и любовницей, но вернул жениху и отцу. Легенда о «воздержании Сципиона» послужила сюжетом для многих художников. *Сестерций* и *асс* — древнеримские монеты. *Обол* — мелкая древнегреческая монета.

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ

Впервые — «Русский вестник», 1862, № 8, стр. 427—579; № 9, стр. 103—196; № 10, стр. 439—522, с посвящением царице. В журнале роман был разделен на две части: 1 (гл. 1—19) — в № 8 и 2 (гл. 20—40) — в №№ 9 и 10.

Точная дата начала работы над «Князем Серебряным» неизвестна. Уже в 1850 году во время своего пребывания в Калуге, куда Толстой был направлен в числе других чиновников, сопровождавших посланного туда для ревизии сенатора Давыдова, он читал «Князя Серебряного» А. О. Смирновой и Н. В. Гоголю. Именно тогда Гоголь познакомил Толстого с народной песней «Пантелей-государь ходит по двору...», вставленной в главу 5. Трудно сказать с уверенностью, был ли тогда написан вчерне весь роман или только часть его. Н. М. Колмаков, бывший старшим чиновником при Давыдове, утверждает в своих воспоминаниях, что Толстой «написал в это время» (написал, а не писал) свой роман («Русская старина», 1886, № 12, стр. 520—521) [1].

По-видимому, в работе над романом был длительный перерыв, во всяком случае, никаких сведений о ней до 1855 года не сохранилось. Да и в 1855 году Толстой пишет жене: «Я хотел было сесть за «Серебряного», но я еще не могу» (10 мая 1855 г.).

Более конкретные сведения узнаем из письма от 13 декабря 1856 года. К этому времени роман был написан полностью, но не

---

[1] Колмаков по ошибке относит пребывание в Калуге к 1849 году.

удовлетворял Толстого. «Я не дотрогивался до него,— сообщает он жене,— но я его не покинул и очень его люблю... Правда, что надо его переделать, и обделать неровности в стиле, и дать характер Серебряному, у которого никакого нет, и он даже бледнее всякого jeune-premier [1]. Я часто думал о характере, который надо было бы ему дать,— я думал сделать его глупым и храбрым, дать хорошую глупость, но он слишком был бы похож на Митьку. Нельзя ли было бы его сделать очень наивным... то есть сделать человека очень благородного, не понимающего зла, но который не видит дальше своего носа и который видит только одну вещь за раз и никогда не видит отношения между двумя вещами. Если бы сделать это художественно, можно было бы заинтересовать читателя подобным характером». Толстой намеревался, очевидно, вплотную заняться «Князем Серебряным» и подумывал о печатании. «Дружинин меня просит,— пишет он жене,— дать ему несколько глав из «Серебряного», но я их дам «Современнику», если дам» (Дружинин был в это время редактором «Библиотеки для чтения»).

Следующий этап работы относится к 1859—1861 годам. «Серебряным» я занимался, но не кончил его — недоставало душевного спокойствия»,— читаем в письме Толстого к Маркевичу от 4 февраля 1859 года. Через несколько месяцев (30 августа 1859 г.) он писал Погодину: «Мой роман доселе не подчищен и не может выступить на свет в неприличном виде, даже и отрывком. Тысячи мелочей помешали мне им заняться». Весною 1860 года (20 марта) Толстой сообщил Маркевичу: «Я закончил вторую часть моего романа «Серебряный», но, как оказывается, эта вторая часть более отделана, чем первая, а значит, надо заняться его стилем в целом, чтобы сделать более ровным». И, наконец, 21 марта 1861 года: «Я окончил... мой большой роман «Князь Серебряный»».

Толстой предложил «Князя Серебряного» М. Н. Каткову для «Русского вестника» с условием, чтобы в нем «не было ни изменено, ни вычеркнуто цензурой ни единого слова» (письмо от 4 февраля 1862 г.). 14 июля 1862 года роман был отослан в редакцию журнала. При этом Толстой просил Каткова поручить корректуру человеку, знакомому с древним русским языком и с археологией, чтобы не исправляли «богачество» на «богатство», «печаловаться» на «печалиться» и т. д., как это сделал переписчик и как это могут сделать и наборщики: «Это может изменить не только характер речи, но и исказить смысл».

Главным историческим источником «Князя Серебряного», как и драматической трилогии, является «История государства Российского» Н. М. Карамзина, откуда заимствованы многие факты, описательные детали и подробности сюжета. Так, рассказ Морозо-

---

[1] Первого любовника (франц.).

ва Серебряному о том, что случилось в его отсутствие; об изменениях, происшедших с Иваном Грозным, казнях, отъезде в Александровскую слободу, депутации бояр, умолявших его вернуться на престол, учреждении опричнины (гл. 6), описание Александровской слободы (гл. 7), описание казни (гл. 16), страницы о завоевании Сибири (гл. 40),— основан на соответствующих страницах Карамзина (см. т. 9, СПб. 1821, стр. 21—23, 74—80, 87—89, 158—160, 376—377, 380, 381). В главе 7 Толстой приводит, не называя его имени («наш историк»), цитату из Карамзина. В романе имеется немало словесных совпадений с «Историей государства Российского» или несколько видоизмененных выражений. Ср., например: «я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де, куда бог укажет путь мне!» у Толстого с «не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда бог укажет нам путь» у Карамзина (т. 9, стр. 75). Отдельные детали Толстой перенес на других лиц или в другую обстановку. Ср., например, обличения юродивого с рассказом о встрече Грозного в 1570 году с псковским «блаженным» Николой (т. 9, стр. 154, примеч., стр. 103—104).

В главе 31 «Божий суд» упомянут «Судебник» Владимира Гусева (1497); в уста дьяка Толстой вкладывает точную цитату из «Судебника».

Сам Толстой пишет в предисловии к роману, что он позволил себе «некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности», и указывает в качестве примера, что казнь Вяземского и Басмановых, в действительности бывшая в 1570 году, «помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год». К этому можно прибавить, что, по Карамзину, Вяземский и Алексей Басманов не дожили до публичной казни: первый умер в пытках, а второй по приказу Ивана Грозного был убит своим сыном Федором (т. 9, стр. 161). Кроме того, опала на бояр Колычевых, в частности низложение, а затем убийство митрополита Филиппа (гл. 10, 23 и др.), относится не к 1565 году, а к более поздним годам, да и стал он митрополитом только в 1566 году (см. т. 9, стр. 95, 108—109, 147); нашествие крымских татар, о котором говорится в главе 24 и след., произошло в 1564 году, до возникновения опричнины (см. т. 9, стр. 68—70).

В романе наряду с историческими персонажами действуют вымышленные; на вымышленных персонажах и ситуациях основана вся любовная линия сюжета. Эти вымышленные персонажи, во всяком случае, главные из них, наделены, однако, историческими фамилиями (Серебряный, Морозов).

Для воспроизведения нравов, обычаев, верований, суеверий Толстой широко пользовался также этнографическими и фольклорными сборниками. Так, в главе 8 «Пир», кроме Карамзина (см. т. 10. СПб. 1824, стр. 267, 274—275, примеч., стр. 144—

145), широко использована работа А. В. Терещенко «Быт русского народа» (ч. 1. СПб. 1848, стр. 242—264). Не говоря уже об описании посуды, еды, мебели, Толстой мог заимствовать у Терещенко такие сведения: «Слуги во время обедов три раза переменяли свое платье. Обеды Иоанна IV продолжались по шести часов» и пр. (стр. 245). Особенно интересна следующая деталь: «Они подавали за столами ковши или чаши, кому государь приказывал. Поднося знатному боярину ковш с вином, именовали его с прибавлением *ста* или *су*, например, если имя его Василий — «Василий-ста! Великий государь жалует тебя чашею». Тот, приняв ее, выпивал стоя и кланялся, а подносивший докладывал царю: «Василий-ста выпил чашу, челом бьет». Менее знатных именовали «Василий-су» (стр. 244). Толстой не только воспроизвел эту деталь наряду с другими, но построил на ней целый эпизод.

Из той же книги (стр. 438—439) Толстой взял некоторые детали для описания поцелуйного обряда в главе 15.

Толстой хорошо знал известные сборники И. П. Сахарова: «Сказания русского народа» (1836—1837), «Песни русского народа» (1838—1839), «Русские народные сказки» (1841). Отсюда заимствованы песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...» (гл. 5), «Когда зачиналась каменна Москва...» (гл. 14), строки «Как у нашего соседа...» (гл. 20), начало колыбельной песни (гл. 23), (ср. «Песни», т. 4, стр. 70—71, 131, 325—329, 403); заговор крови (гл. 17), бессмысленные слова колдуна-мельника (гл. 35); (ср. «Сказания», т. 1, изд. 3. СПб. 1841, кн. 2, стр. 24, 46—47); сказочный пересказ былины о Добрыне Никитиче (гл. 21); сказка об Акундине (гл. 21) (ср. «Русские народные сказки», стр. 1—5, 95—100) и т. д.

Иногда Толстой точно или с совсем небольшими отклонениями воспроизводит отрывок из фольклорного произведения. В других случаях писатель значительно сжимает его (напр., песню «Когда зачиналась каменна Москва...», сказку об Акундине), приспосабливает к определенному контексту (к началу колыбельной песни, которая является откликом на татарское нашествие, присоединены строки о Малюте Скуратове), берет из фольклора лишь тот или иной мотив.

В отдельных случаях Толстой, исходя из своих художественных заданий, допускал контаминацию разных текстов. Такой контаминацией нескольких заговоров «ратного человека, идущего на войну», «на железо, уклад, сталь, медь», «от ратных орудий» («Сказания», стр. 23—27) является заговор сабли Вяземского в главе 30. В главе 21 значительное место занимает чтение Ивану Грозному Голубиной книги. Это очень сокращенный и контаминированный из разных редакций текст.

Естественно, что, воссоздавая нравственно-религиозные представления русского средневековья, Толстой обращался к еванге-

лию и библии. В частности, цитаты из них вложены в уста Ивана Грозного и других персонажей «Князя Серебряного».

Роман Толстого был многократно инсценирован: Г. Т. Ниманд (К. В. Новосильцевой) — в 1863 году, С. Добровым (С. Е. Поповым) — в 1866 году, К. С. Баранцевичем — в 1873 году («Опричнина». Написана белым стихом), Н. И. Собольщиковым-Самариным — в 1897 году и др. Одни из этих инсценировок были вовсе запрещены, другие были разрешены только для императорских, а не для провинциальных театров; многие разрешены с изъятиями отдельных мест. Не все инсценировки, даже разрешенные, появились на сцене. По-видимому, лишь одна (Баранцевича) была напечатана, текст остальных (кроме инсценировки Ниманд, сведения о которой находим в цензурных делах — Центр. гос. исторический архив СССР. Драматическая цензура. Рапорты за 1863 г., лл. 68—70) сохранился в Театральной библиотеке имени А. В. Луначарского в Ленинграде. Об инсценировке Доброва см. отзыв Толстого в его письме редактору «С.-Петербургских ведомостей» (Собр. соч., т. 4, М., 1964, стр. 189).

«Князь Серебряный» много раз выходил в переработках для народного чтения и лубочных изданиях.

Еще при жизни писателя была создана опера композитора-дилетанта Ф. Б. Граверта на сюжет «Князя Серебряного». Затем оперу «Князь Серебряный» написал М. И. Марков (1884), Г. А. Казаченко (1888), а в советские годы — П. Н. Триодин.

Предисловие. *За низвержением Сильвестра и Адашева.* Священник Сильвестр (ум. ок. 1566 г.) и думный дворянин Адашев А. Ф. (ум. в 1561 г.) в первые годы царствования Ивана Грозного входили в кружок его приближенных, «Избранную раду», и оказывали активное влияние на государственные дела. В 1560 году Сильвестр и Адашев были высланы из Москвы; Сильвестр постригся в монахи, а Адашев был затем посажен в тюрьму, где и умер.

Глава 1. *Жигимонт* — польский король и великий князь литовский Сигизмунд II Август (1520—1572). *Докончальная грамота* — мирный договор. *Бахтерцы* — воинские доспехи из металлических пластинок, соединенных кольцами. *Поприще* — старинная мера длины, около версты. *Станичники* — разбойники. *Посадский* — житель посада. Посад — в Древней Руси торгово-промышленная часть города, расположенная вне городской крепостной стены. *Где имеет пребывание ближний губной староста.* В ведении губных старост, заведовавших судебными делами губы, судебного округа в Московском государстве, были, в частности, дела о разбое, убийствах и т. п.

Глава 2. *Став* (укр.) — пруд. *Отмыкать рогатки.* Свободное передвижение по Москве в ночное время было запрещено,

улицы перекрывались рогатками (брус, укрепленный на крестообразно сколоченных кольях).

Глава 3. *Страдники* — мужики, батраки. Здесь употреблено как бранное слово; Грязной и Басмановы были дворянами. *Больно в составах* — то есть в суставах.

Глава 4. *В три жилья* — в три этажа. *Окольничий* — один из высших придворных чинов в Московском государстве. *Выдал головою.* Выдать головою — старинный правовой термин, обозначающий: отдать виновного (должника, обидчика) в распоряжение того лица, относительно которого он совершил какое-нибудь преступление. *Смирная одежда* — траурная. *Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых,* — слова из псалма. Иже — который.

Глава 5. *Отманивают людей от папортника.* С папоротником было связано много суеверий. Считалось, что он цветет один миг, в ночь под Ивана Купала (23 июня). Сорвать чудесный цветок очень трудно, тем более что этому препятствует нечистая сила; зато тот, кому это удалось, делается могущественным, всеведущим и пр.

Глава 6. *По-насердке* — по злобе, из мести. *Крест накриве целовали* — давали лживую присягу. *Руки в письмах лживили* — писали лживые доносы. *Государево слово* — обвинение в государственном преступлении, государственной измене. *Язычная молвка* — устный донос. *Кравчий* — придворный чин; кравчий услуживал государю в торжественных случаях за обеденным столом; в его ведении находились стольники, подававшие кушанья. *Тут был боярин князь Михайло Репнин* и т д. Этот эпизод послужил темой для баллады Толстого «Князь Михайло Репнин» (см. т. 1). *Паки* — снова, опять. *Остатки* (статки) *и животы* — имущество. *Опасная стража* — охрана. *Студное дело* — постыдное, позорное. *Горько осуждал Курбского.* Бегство Курбского послужило темой для баллады Толстого «Василий Шибанов», см. т. 1. *Как отрок из пещи пламенной.* Имеется в виду библейская легенда о том, как три иудейских мальчика, уведенные вавилонским царем Навуходоносором и воспитанные в халдейских школах, за отказ поклониться идолу были брошены в раскаленную печь и чудесным образом спаслись.

Глава 7. *Сокольник* — придворный охотник, ухаживавший за ловчими птицами и обучавший их. *Корабленник* — старинная монета с изображением корабля.

Глава 8. *Строфокамил* — страус. *Рында* — царский телохранитель, оруженосец. *Саадак* — лук в чехле и колчан со стрелами. *Студеное море* — Белое море.

Глава 9. *Огурство* — своеволие, строптивость. *Приемшие нож, ножем погибнут* — взявшие меч от меча погибнут (слова из

евангелия от Матфея). *Зорник* — озорник, буян, забияка. *Аки* — как. *По пророческому словеси* — по слову пророка. *Се аз и дети, яже дал ми бог* (вот я и дети, которых дал мне бог) — слова из библии, книги пророка Исаии, действительно цитировавшиеся Грозным; см. Карамзин, т. 8, СПб. 1817, стр. 135. *Яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих.* Имеется в виду библейский рассказ о жене патриарха Иакова; один из ее сыновей был продан старшими братьями в рабство. *Шелепуга* — плеть, нагайка. *Несть бо* — ибо нет.

Глава 10. *Не личила* — не к лицу была. *Аще* — если.

Глава 11. *В Верьх* — во дворец. *Глинская Е. В.* (ум. в 1538 г.) — вторая жена Василия III, мать Ивана Грозного; после смерти мужа — правительница государства. *В самое величие князя Телепнева.* Князь И. Ф. Телепнев-Овчина-Оболенский был главным советником Елены Глинской. После ее смерти был заключен в тюрьму, где и умер от голода. *Комуждо воздастся по делам его* — слова из библии. Комуждо — каждому. *Прелести сатанинской* — то есть соблазна, обмана.

Глава 12. *Когда ты при смерти лежал* и т. д. В 1553 году, во время тяжелой болезни, Иван Грозный назначил своим наследником сына Дмитрия, тогда еще младенца, и потребовал, чтобы бояре присягнули ему. Но многие из них, группировавшиеся вокруг двоюродного брата царя — старицкого князя Владимира Андреевича (1533—1569), долго отказывались это сделать. Не захотел присягнуть и Владимир Андреевич, сам претендовавший на престол. *Торговые люди черных сотен и слобод.* См. т. 3, стр. 544

Глава 13. *Кружало* — кабак. *Полкан* — пес-богатырь, герой русских сказок и былин. *Вершники* — всадники.

Глава 14. *Василий Великий* (329—378) и *Григорий Назианзин* (328—390) — богословы.

Глава 15. *Почестный пир* — почетный, праздничный.

Глава 16. *В книгах Левит.* Одна из книг библии.

Глава 17. *Подстава* — сменные лошади, приготовленные впереди. *Сотик мой забрушенный.* Забрушить ячейки в сотах — заделывать их воском наглухо

Глава 19. *Карачун* — конец, смерть. *Кожан* — летучая мышь.

Глава 20. *Одесную* — по правую сторону; *ошую* — по левую сторону. *Поддатень* — приданый кому-нибудь помощник. *Вабило* — пара птичьих крыльев, которыми машут, посвистывая, для призыва ловчей птицы. *Торока* — ремешки сзади седла.

Глава 21. *Пронзил ногу гонцу князя Курбского* — см. стих. «Василий Шибанов» и примечание к нему в т. 1. *Повольница* — ушкуйники, см. т. 1, стр. 637. *Языци* — народы.

Глава 24. *Сакма* — путь, которым прошли пешие или конные; след.

Глава 26. *До скончания живота* — до смерти.

Глава 29. *Поле* — судебный поединок.

Глава 31. *Бармица* — металлическая сетка, прикреплявшаяся к шлему, для прикрытия лица, затылка, плеч, груди. *Крыж* — крестообразная рукоять. *Пардовая кожа* — кожа барса.

Глава 32. *Аспид* — ядовитая змея. *Писание* — так называемое Священное писание, Ветхий и Новый заветы. *Князь мира сего* — здесь: дьявол. *Синклит* — собрание высших сановников.

Глава 33. *Живот* — жизнь.

Глава 34. *Помнит он разряды* — см. т. 3, стр. 544. *Кромешник* — слуга дьявола, опричник. *С заката* — с запада; *с полуночи* — с севера; с *полудня* и с *восхода* — с юга и с востока. *Чудь* — финны. *Запылают храмы божии* и т. д. Ср. с былиной «Змей Тугарин», т. 1, стр. 248. *Сонм* — множество. *Аггел* — злой дух.

Глава 35. *Аз* — я. *Подобно Аврааму* и т. д. Согласно библейской легенде, патриарху Аврааму, чтобы испытать его веру в бога, было велено принести в жертву единственного сына. Авраам, не колеблясь, повиновался, но в последний момент ангел отвел его руку и спас мальчика. *Саул* — по библии, первый еврейский царь; во вторую половину своего царствования, когда бог отступился от него, стал крайне жестоким и не раз покушался убить своего преемника Давида. *Ирод* (I в. до н. э.) — иудейский царь, жестокий и кровожадный деспот. Имя его стало нарицательным для обозначения мучителя и изверга.

Глава 40. *Посольство Ермака* с сообщением о покорении Сибири во главе с казачьим атаманом Иваном Кольцом (прообраз Ванюхи Перстня) прибыло в Москву в 1582 году. *Одерборн* П. (ум. в 1604 г.) — историк и богослов, автор книги об Иване Грозном. *Над погаными* — над язычниками. *Ясак* — дань, уплачивавшаяся обычно пушниной.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов. Впервые (без рисунков Толстого)— «Русский современник», 1924, № 1, стр. 222—223. Как и следующая шутка, относится к начальному периоду творчества Тол-

стого — по-видимому, к концу 30-х годов. В заглавии и в самом сюжете использована басня И. А. Крылова «Огородник и Философ».

Гуммиэластик — резина. *Фабриций* — Кай Фабриций Лусцин (III в. до н. э.), римский государственный деятель, славившийся своей простотой и полным бескорыстием. Имя его стало в литературе символом высокой гражданской честности и неподкупности. *Пюсель д'Орлеан* — «La pucelle d'Orlèans» («Орлеанская девственница»), сатирическая поэма Вольтера.

О том, как юный президент Вашингтон в скором времени сделался человеком. Впервые (без рисунков Толстого) — «Красная газета», вечерний выпуск, 1925, № 270.

Касик Инка. Касик, или кацик,— племенной вождь в Южной и Центральной Америке. Инки — название правителей Перу до испанского завоевания (XVI в.), а также господствующая этническая группа индейского государства на территории Перу. *Вашингтон Ирвинг* (1783—1859) — американский писатель-романтик. Родившийся в год окончания войны за независимость, был назван именем первого президента Соединенных Штатов. Несколько лет провел в Испании в качестве атташе американского посольства, а затем посла Соединенных Штатов. Одна из книг его новелл и очерков — «Альгамбра» (1832). Альгамбра — старинная крепость и дворец мавританских халифов в испанской провинции Гренаде.

И. Ямпольский

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ

Повесть времен Иоанна Грозного

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. К. ТОЛСТОЙ.

Собрание сочинений
в четырех томах.

Том II.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Сдано в набор 7/II 1969 г.
Подписано к печати 19/V 1969 г
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32.
Объем 28,14 усл печ. л. 28,50 уч.-изд. л.
Тираж 645 000 экз. Изд. № 791. Зак. № 501.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

Индекс 70688